

Явдат Ильясов

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

Повесть

Анонс

Повесть о трудной судьбе, удачах и неудачах беспутного шейха, поэта, ученого, несравненного Абуль-Фатха Омара Хайяма Нишапурского, жил такой когда-то на земле...

Пьяный Звездочет

*Хоть я и пьяница, о муфтий городской,
Степенен все же я в сравнении с тобой:
Ты кровь людей сосеешь, я - лоз,
Кто из двоих греховней?
А ну, скажи, не покривив душой?*

- Зачем тебе, отступнику, молеальный коврик?

- Ну, как же! Это - ценность. Хорошо заложить в кабаке. (Чей-то приглушенный смех.) О! - Дерзкий странник провел ладонью по своей кисейной, похожей на снег в морозных блестках, новой чалме.- Прощайте, я пойду. Холодно? Пусть. Отогреюсь в солнечной Мекке.

- Если в пути не околеешь, безродный.

- Э! Будь что будет.

*От страха смерти я,- пусть знают все,- далек:
Страшнее жизни что мне приготовил рок?
Я душу получил на подержанье только
И возвращу ее, когда наступит срок.*

... Стужа, белая косматая старуха, вползает в жилища, влезает в постели и колыбели. На обледенелых звонких дорогах насмерть стыннут усталые путники. Те, кому посчастливилось уцелеть, бредут, скрежеща зубами, к рибату - странноприимному дому.

Низкое, узкое, длинное, как скотский загон, помещение с редким рядом кривых столбов, подпирающих черный потолок. Меж столбов - костры, у костров - народ. Поскольку рибат воздвигнут на средства благотворителей и потому бесплатен, ясно, какой народ прибило сюда. В заскорузлых руках - куски сухих ячменных лепешек. Люди грызут их с тупо-сосредоточенным видом, запивая чуть подогретой водой. Постой-то в рибате, слава аллаху, бесплатный, но горячей похлебки, жаль, без денег и здесь не получишь.

Ее, жирную, острую, пряно-пахучую, только что ели путники видные, сыто-солидные, которых загнал сюда небывалый мороз. Не по себе им тут. Как стаду коз, угодивших в ущелье, облюбованное волчьей стаей. Женщина в черной сверкающей шубе, закрыв лицо чадрой до самых глаз, отчужденно смотрит в огонь. Судя по ярким глазам, она молода и, быть может,

даже хороша собою. Хмурится рядом с нею упитанный мужчина средних лет с холеным белым лицом и ладно подстриженной бородкой, окрашенной хною. И горбится, весь в густых болгарских мехах, некий важный имам, священнослужитель.

- Дурачье из Мерва, паломники,- осуждающе кивнул благообразный имам на смущенно притихшее мужичье.- В Мекку идут. Да, да, поверьте! Не куда-нибудь, а прямо в Мекку. Но ведь сказал халиф Абу-Бекр: "Богатый правоверный лучше бедного". Кто желает посетить святые места, должен располагать суммой денег, достаточной на дорогу туда и обратно и на пропитание семьи за время его отсутствия. А эти... куда их несет, убогих? Нищий, вздумавший совершить хадж, подобен хворому, который берется за труд здорового.

- Воистину! - с готовностью изрек краснобородый.

И тогда:

- Богатые, бедные,- слышался чей-то скрипучий голос.- Разве мы все - не временные постояльцы в этом мире, старом ничтожном рибате нужды и бедствий?..

18 мая 1048 года в мрачной Газне, в позорном плену, тяжело занемог великий мученик-мыслитель Абу-Рейхан Беруни. Он уже знал: дни его сочтены. Но не знал, кто подхватит зажженный им факел высокой учености.

В тот же день, на восходе солнца, в Нишапуре, у палаточника Ибрахима, случилось радостное событие: жена подарила ему сына, которого и нарекли именем кратким и звучным - Абуль-Фатх Омар.

Поскольку в час его рождения Солнце и Меркурий находились в третьем градусе- Близнецов и земная долгота Меркурия совпадала с долготой Солнца, а Юпитер держался по отношению к ним в тригональной точке, Омару предсказали богатство, много детей, удачливость в делах.

...К их костру, не стесняясь, подсел пожилой человек в невероятно облезлой шубе, с которой никак не вязалась дорогая пышная чалма на его лобастой голове. Изжелта-бледным, изрытым, как строительный камень-ракушечник, было худое лицо с прямым тонким носом. Седая борода растрепалась.

Чадра соскользнула с лика испуганно отодвинувшейся женщины, твердый рот ее округлился брезгливо, но вместе с тем и сострадательно. Оказалось: не так уж она молода, но что и впрямь хороша - это увидел всякий.

Он протянул к огню ладони - узкие, смуглые. Женщина, вновь закрывшись, взглянула на них тайком - и безотчетно тронула грудь...

- Выходит,- сказал он с обидой,- аллах, который сам предопределил нашу бедность, сам же и закрыл нам путь к нему. Что ж! - Его тонкие губы скривились в злой усмешке.- обойдемся без него. Но обойдется ли он без нас? Без нашей веры, без наших молитв, без наших приношений?

- Несчастный! - вскричал имам оторопело.- Ходишь ли ты в мечеть?

- Забрел на днях,- зевнул скучающе паломник.- Как-то раз мне удалось стянуть молельный коврик. Я и задумал новый достать...

Уже в раннем детстве Омар повергал взрослых в остолбенение ясным умом и, можно сказать, совершенно невероятной памятью.

Впрочем, как где-то сказано, изумительная память бывает и у сумасшедших.

Худенький, бледный, лобастый, он часто недомогал, был застенчив и слабосилен, зато обладал необыкновенным тайным упорством, острым воображением и чуткостью. От обиды, особенно незаслуженной, он замыкался наглухо в себе. Но порой безграничное самолюбие заставляло его, внезапно вспыхнув, нападать на мальчишек намного старше. Нападать - и бить. Чем попало, лишь бы доказать свое.

Забияку пинали, толкали, колотили палками, чтоб отвязался - нет, весь в слезах, окровавленный, он не отставал от них, пока в драку не вмешивался кто-нибудь из взрослых прохожих.

...В углу - смех.

Имама охватил озноб, будто ветер, гудевший снаружи, внезапно проник к нему под меха. Трясаясь от негодования, он огляделся: на этих бродяг мало надежды, они не помогут, крамольный болтун для них - свой; нет ли поблизости...

- Нет,- огорчил старика нелепый странник.- Нет мухтасиба - блюстителя нравов! Не озирайтесь напрасно, шею Свихнешь. Его задрал у Нишапура тощий волк. Задрал - и подох, бедный зверь. Отравился, видать, его праведной кровью.

В рибате стало тихо, как в склепе.

...Он встал - прямой, как доска, несмотря на возраст,- мигнул зрителю подворья, остроглазому проныре, и пропал с ним где-то в темном углу. Позже вновь появился в освещенном кострами пространстве - уже без своей великолепной чалмы, в чужой драной шапке, но зато освеженный, весь подобранный, помолодевший.

Впалые щеки его покраснелись, глаза прояснились, в них заиграл озорной, как у юнца, весенний блеск. Он вновь мигнул, теперь - обомлевшей женщине, лихо сдвинул шапку набекрень - и пошел себе прочь, чуть качаясь, безразличный к теплу и холоду и к человеческой злобе.

...Его прямо-таки изнуряла, как иного - болезнь, острая любознательность. На дворе падал снег или хлестал дождь проливной - Омар не мог усидеть дома, у теплой жаровни. Он натягивал на голову старый отцовский толстый халат и незаметно выбирался наружу. Долго бродил в саду между голыми мокрыми деревьями, ни о чем не думая, просто впитывая холод и шум дождя.

Затем залезал в чашу юных вишен-прутьев, выбившихся из корней вокруг взрослых деревьев, и часами торчал в них, безмолвный, омываемый студеным потоком с неба.

И ни о чем не думал. Лишь где-то подспудно, в самых глубоких недрах сознания, как чей-то смутный и настойчивый зов, звучали, слагаясь слово к слову, чьи-то стихи. Чьи? Неизвестно. Может быть, уже свои. Те, которые он когда-нибудь напишет. Никто не искал мальчишку, никто не звал, не тащил домой. Мать уже махнула рукой на него.

Омар впадал в первобытный дикий экстаз, если случалось землетрясение или свирепый ураган, налетев, ломал в Нишапуре дряхлые ивы. Хорошо ему было укрываться в густых кронах упавших деревьев, пока их не изрубили и не растащили по дворам, сидеть в зеленом сумраке и мечтать. О чем? О чем-то неясном, но всегда необыкновенном.

Родители смеялись:

- Дурачок!

Когда его, как и всех детей, спрашивали, кем он хочет быть, он, к ужасу родных, отвечал: "Бродягой". У него был красивый почерк. Он терпеть не мог недомолвок и околичностей и во всем любил точность: в мыслях, словах и делах. Закадычных друзей у него не водилось. Почему-то Омара никто не любил. Даже родная мать.

Ибрахим, находя его поздней ночью уснувшим за книгой, говорил со вздохом: "Он, наверное, за книгой и умрет когда-нибудь".

Что и сбылось в свое время.

Еще до того, как его, семи лет, отвели в приходскую школу, Омар умел хорошо читать и писать, и потому учиться вместе с другими детьми ему было скучно. Он часто отлынивал от уроков, уходил бродить один в окрестных садах. Тем не менее, в десять лет уже знал грамматику, теорию словесности, стилистику и приступил к индийскому счету, к алгебре и геометрии.

- Я говорил тебе: он этим кончит,- хмуро шепнул жене краснобородый купчик.

- И кто сей злодей? - строго уставился на них имам, заподозрив спутников в каких-то давних и недобрых связях с нечестивцем.

- Тот... как его,- смутился купчик,- знаменитый... неудачник... пьяный звездочет...- Он боязливо оглянулся и тихо произнес короткое имя.

- О?! - воскликнул потрясенный священнослужитель.- Кто бы мог подумать...

- Он самый.- Обернувшись к жене, краснобородый вовсе помрачнел. И жестко изрек: - Пропавший человек! Истинный мусульманин,- возвестил он самодовольно,- должен заниматься полезным, богоугодным делом: торговлей, приумножением своего достояния. А этот шалопай всю жизнь растратил... на что? На вино и стихи. Разве стихи к лицу мужчине? Женское занятие.- Он взглянул на жену.- И стихи-то какие? Добро бы о розах да соловьях. Нет, у него они - вредные. Они будоражат человека, заставляют думать, сомневаться.- И он заключил уверенно:- Конченный человек!

А пьяный звездочет?

Уже у ворот с его лица как ветром сдуло напускную веселость, ее сменила горькая озабоченность. Радоваться нечему! И так всегда: на людях он беспечно смеется, наедине с собой задумчив, угрюм. Если только не рассмешит какая-нибудь забавная мысль, шальное воспоминание.

Зачем он пил при них? Путник жалел чалму, деньги были. И нынче ему не хотелось пить. Стар он уже, с ногами все хуже и хуже. Но чем-то надо было досадить наглцам?

Чем омываться нам, как не вином, друзья?

Мила нам лишь в кабаке ведущая стезя.

Так будем пить! Ведь плащ порядочности нашей

Изодран, залатать его уже нельзя.

Ни кражей, ни ложью, ни подлостью их не проймешь: и то, и другое, и третье для них - дело обычное, привычное. Лишь нарушив один из важнейших запретов святого писания, сумеешь возмутить их тупую безмятежность. Ишь, мозгоблуды: бедняку на богомолье сходить - и то грех...

Всю жизнь сочиняя стихи, он привык, в поисках слов, строк и рифм, бормотать их себе под нос; и, поскольку, к тому же, он и думал не так, как иные - расплывчато, безотчетно, а ясными точными фразами, произнося их мысленно, как вслух,- это исподволь переродилось у него в привычку вслух разговаривать с самим собою, чему способствовало еще и одиночество.

- Неужто,- сказал себе странник с укором,- ты обречен всю жизнь лицедействовать? Вся жизнь - потеха. Скоморох! Не хватит ли их дразнить? Язык отрежут.- Но, представив гладкое лицо и красную бородку торгоша, имамову теплую шубу, он опять разозлился, встряхнул головой.- Пусть! Разве я их первый задел? Сами всюду лезут с дурацкими поучениями. Вот он, весь тут, благоденствующий обыватель-стяжатель. Самый гнусный зверь на земле! Не имея крупницы добрых знаний в башке, он берется судить других. Еще хуже, если ему удалось запомнить чье-то изречение - мудрое, глупое: он орудует им как дубиной. Уж он от тебя не отстанет, пока не грохнет по голове. Чтоб уравнять твой разум со своим, загнать тебя в общее стадо.- И с мальчишеской удалью:- Буду их дразнить! Буду их изводить. Пусть хоть голову отрежут...

Он забыл, вернее приглушил, отодвинул на время, бесшабашно махнув на то рукой,- что именно страх за свою голову погнал его в Мекку, которая нужна ему, как черту рай.

Нет никакой охоты тащиться в такую даль. Но идти надо. Вот схожу на богомолье, надену зеленую чалму святого, тогда попробуйте тронуть меня хоть пальцем. Надо идти. И он шагал себе по белой пустыне, стуча палкой и задубелыми ногами по ледяной дороге, и с грустью, которую уже давно не мог преодолеть, напевая что-то, на слух - весьма жизнерадостное.

Хорошо ему было с привычной светлой грустью, устойчивым душевным равновесием, спокойной уверенностью в своих неисчерпаемых глубинных силах. Это - главное. Все остальное чушь. Суета. Что губит судьбу человеческую? Ядовитая пыль житейских мелочей. Он давно стряхнул ее с души, как иной после долгих дорог отряхивает прах с разбитых ног.

Сказано в древней "Песне арфиста":

"Совершай дела твои на земле по велению сердца твоего и не горюй до того, как придет к тебе оплакивание. Не слышит воплей тот, чье сердце успокоилось, и слезы никого не спасли от подземного мира. Проводи радостно день, не унывай. Никто не уносит своего добра с собою. Никто не вернулся, кто ушел".

Будь жизнь тебе хоть в триста лет дана -

Ведь все равно она обречена,

Пусть ты халиф или базарный нищий,

В конечном счете - всем одна цена. ...На повороте ему попала замерзающая птица. Он задел ее ногою, даже пнул, сочтя за грязный, обледеневший ком снега. Она встрепенулась! Нагнулся, разглядел: ворона. Редкая ворона. Белая. Путник подобрал ее и отогрел за пазухой.

А глаза смуглой женщины в рибате все смотрели в огонь, и в них мучительно рождалась тайная мысль.

Часть первая

Созвездие Близнецов

Приход наш и уход - загадочны. Их цели

Все мудрецы земли осмыслить не сумели.

Где круга этого начало, где конец,

Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?

Омару исполнилось 10, пирамиде Хеопса - 3880. Ашшурбанипалово хранилище письмен погибло за 1670 лет до этой поры. Аристотель умер 1380 лет назад. Улугбек родился через 336 лет. Джордано Бруно сожгут на костре через 542 года.

И десяти лет от роду Омар впервые выехал из Нишапура - в Астрабад, неподалеку от которого, в деревушке Баге-Санг, его родитель, зажиточный мастер Ибрахим, купил перед тем дом и садик для летнего отдыха.

- Не надо бы ехать. Время тревожное.

- Милостив бог,- сказал Ибрахим.- Но на всякий случай опоясался саблей и вооружил трех своих здоровенных работников не менее здоровенными дубинами.

- Безграничен аллах в своих милостях! - ликовал Ибрахим в дороге.- Небывалый нынче хурдад (месяц май.) В иной год в эту пору трава уже выгорает, деревья густо заносит пылью,- встряхнешь,- с головою накроет. А сейчас? Каждую ночь гроза и ливень, днем солнце сверкает. Воздух чист, всюду свежая зелень...

Восторг не мешал ему думать о выгоде,- наоборот, возрастал от мысли, отрадной и дельной: "Лето будет дождливым - повысится спрос на палатки".

Отделившись от каравана, они свернули на Фирузгондскую горную дорогу. Влажный твердый путь уходил впереди за черную скалу. И казалось, дорога звенит, слагаясь со всеми своими подъемами, спусками и поворотами в задушевный тихий напев.

Для Омара каждое утро праздник; проснувшись, он уже знал: сейчас произойдет что-то необычайное. Будет солнце, снег или дождь. Будет ветер. Вкусный горячий хлеб. Книга. Белая роза,- от нее так прохладно в жару. Будет тайна. Будут разговоры. Что-то будет! И это уже чудо.

- Все промыто дождем, все блестит - и небо над синей горою, и камни, и листья! - Если бы то, что Омар испытывал сейчас, могло, как по волшебству, изменить его суть, мальчик, тут же вспорхнув, защebetал бы вместе с пташками в придорожных кустах.

- Сегодня день твоего рождения,- улыбнулась мать.

Ибрахим:

- Дай бог, чтобы вся твоя жизнь была такой же ясной и блестящей, как это счастливое утро. Безграничен аллах в своих милостях! - И, хлестнув лошадь, он вывел повозку - прямо к шайке тюркских грабителей.

Они толпились, спешившись, в устье зеленой лощины, нисходящей к дороге по склону горы. В узких глазах жестокость и жадность, тупая неумолимость. Руки железные. Лбы медные. Сердца гранитные. Не жди от них пощады.

- Стой! - рявкнул молодой туркмен в большой мохнатой шапке.

Переваливаясь на кривых ногах природного наездника, темный и дикий, он медленно и зловеще подступил к остановившейся повозке, угрюмо уставился на дубины в руках работников Ибрахима. Обернулся к своим (человек пятнадцать) - и разразился долгим скрипучим смехом.

- Смотрите, а? Вооружились. Хе-хе-хе...- И грозно - ближайшему работнику:- Это для кого же, собачий сын, ты дубину припас? Уж не для нас ли, а? Вот я сейчас хвачу ею тебя по глупой башке! - Он попытался отобрать дубину, но Ахмед, сперва оробевший, вспыхнул, отскочил и ткнул, точно копьем, туркмена острым концом дубины в грудь.

Взвыл туркмен! Через несколько мгновений Ахмед, лучший работник Ибрахима, очутился на коленях, со скрученными за спиной руками.

- Ты... оказал сопротивление,- хрипло сказал молодой туркмен, потирая грудь.- Сто динаров и три фельса! Это даром тебе не пройдет.

- Хозяин! - в ужасе крикнул Ахмед окаменевшему Ибрахиму.

- Не ори,- морщась, проворчал грабитель.- Я тут хозяин.- Он вынул длинный узкий нож и, зайдя сзади, зацепил Ахмеда пальцами за ноздри, круто задрал ему голову. Ахмед, задыхаясь, хотел сглотнуть слюну, кадык его беспомощно дернулся.

И потрясенный Омар увидел, как туркмен, примериваясь, щекочет этот судорожно бьющийся кадык острием ножа.

- Не смотри,- дрожа, шепнула мать.

Мальчик спрятался за ее спиной, закрыл глаза ладонями. Но слух и нюх у него оставались открытыми. И он услышал короткий харкающий всхрип, густой шорох травы, какой бывает, когда на нее капает частый дождь, и незнакомый, одуряюще сладкий и теплый запах...

- Видали? - Туркмен лизнул, по обычаю, окровавленную сталь.- А ну, сложите ваши дурацкие дубины в огонь! - Он показал на скудный костерчик, где, уныло дымя, трещали сырые ветви. Усмехнулся с мрачным поползновением на остроумие:- Спасибо, дрова принесли. А то путный костер не из чего было разжечь.

Костер повеселел, повеселели и угрюмые туркмены. Предводитель шайки - все еще не очнувшегося Ибрахиму:

- Придется и повозку разломать. Чтоб костер получился совсем хороший. Слезайте. Что у вас в мешках,- похлебку есть из чего сварить?

Говорил он гортанно и резко, по-тюркски, но в Хорасане с первых же лет тюркских завоеваний научились понимать язык степей.

- Не стыдно? - тихо сказал Ибрахим, помогая жене и сыну спуститься на дорогу.

- Чего? - грубо спросил грабитель. В прищуренных черных глазах - недоумение. Похоже, ему не часто приходилось слышать слова "стыд" и "совесть".

- Не стыдно грабить мусульман? - зарыдал Ибрахим.

- А-а...- Туркмен зевнул, сдвинул шапку на смуглый лоб, почесал шею.- Мусульмане...- И сразу, без перехода, впал в неопишуемую ярость:- Сто динаров и три фельса! А мы кто?! - Горячо и сбивчиво, с неожиданным многословием, как бы торопясь оправдаться перед кем-то, может быть - перед самим собою, он обрушил на примолкшего Ибрахима мутный поток досадливых речей:- Когда мы... когда наше несчастное племя... обитало на Сырдарье,- слышал о такой реке?- правитель Дженда... за что он взелся на нас? Бог весть. Разорил кочевье. Скот угнал. Убил... восемь тысяч моих сородичей. Разве они были неверньми? Все - мусульмане, мир их праху. Жалеть нас надо, а не проклинать! Пришлось бежать в Хорасан. И что? Сто динаров и три фельса! Здесь явился по нашу туркменскую кровь... ваш дурной султан Масуд Газнийский. Хорошо, наш лихой Тогрулбек в пух и прах разнес его у Серахса. И теперь наш черед всех громить и грабить. Знаешь, раненый тигр втрое опаснее? То-то. Эй, мешки да горшки - на землю! - приказал он подручным, таким же темноликим и свирепым.

Мать робко, вполголоса, причитала. Ибрахим и Омар стояли бледные и безмолвные. В голове шумит, и ноги трясутся, и внутри - горячая дрожь. Но когда один из грабителей сбросил с повозки большой зеленый узел, Омар не выдержал, кинулся к нему:

- Не трогай!

- Тяжелый,- удивился туркмен.- Что в нем? Может, золото, а?

- Золото? - подошел к ним предводитель шайки.- Ну-ка...- Развернул узел, встряхнул - и на дорогу с деревянным стуком посыпались темные кирпичи.

- Это что? - огорчился разбойник, увидев в странных кирпичих мало сходства с золотыми слитками.

- Книги.

- Книги? А! - вспомнил туркмен.- Много их мы в Мерве сожгли.- Он нагнулся, подобрал одну, в сандаловой обложке, раскрыл.- Хорошо пахнет! Но что это за чертовщина? Бруски какие-то, черточки, углы, круги. О чем книга? - с любопытством - к Омару.- Может, колдовская, чтоб джиннов на службу вызывать?

- Геометрия Эвклида.

- Кто такой Уквид,- он мусульманин?

- Нет,- ответил Омар, стараясь не смотреть на труп Ахмеда.- Он жил давно, задолго до пророка. Он был румийцем.

- И ты читаешь эту дрянь?

- Читаю. Но это не дрянь. Одна из самых умных книг на свете.

- Как смеешь ты, собачий сын, хвалить сочинение проклятого язычника? В костер твою безбожную книгу! Надо читать коран.

- Я и коран читаю,- нашелся Омар.- Я, да будет тебе известно, знаю его наизусть!

- Весь коран? - изумился туркмен.- Врешь!

- Я никогда не вру.

- Тогда прочитай какой-нибудь стих.

Омар закрыл глаза, припоминая,- и нараспев произнес звучный арабский стих. Но голос его срывался на каждом слове, и стих прозвучал неверно. За такое дурное чтение наставник в школе избил бы тростью. Однако грабитель не разбирался в тонкостях арабской словесности. Он вообще не знал арабского языка.

- И что это значит по-нашему?

- "Не засматривайся очами твоими на те блага, какими аллах наделяет иные семейства". Сура двадцатая, стих сто тридцать первый.

- Э-э...- У туркмена лоб вспотел. Ощувив в ногах внезапную слабость, он присел на корточки, пораженный не столько смыслом стиха, оглашенного бледным мальчиком, сколько самим мальчиком, его смелостью, памятью и сообразительностью.

Свет учености, исходящий от юного перса, слабым отблеском отразился в темных глазах степняка. И, видимо, крохотный лучик невыносимого этого света проник ему в мозг и произвел там смятение. Что-то произошло в его душе, что-то в ней чуть приоткрылось. Он умел драться. Он знал, как лучше отбить удар меча. Он не знал, как отбить словесный удар.

Его охватила непонятная тревога.

- Что со мною? Захворал, что ли, не дай господь.- Помолчав, он сказал потерянно:- И всю эту кучу книг ты одолел?

- Нет. Те дома остались. Эти только начинаю читать.

- А трудно? - спросил туркмен с нелепой, казалось бы, в нем ясной детской доверчивостью.

- Что?

- Ну... читать научиться?

- Совсем не трудно.

- Хм... Как тебя зовут?

- Омар.

- А меня - Ораз. Может, ты станешь когда-нибудь известным человеком, а?

- Если на то будет воля аллаха,- угодливо заметил Ибрахим, цепляясь за малейшую надежду спастись. Каждая жилка в нем натужно звенела, точно струна, готовая лопнуть.

- Аллах, аллах,- задумчиво вздохнул туркмен.- Как там сказано, говоришь: "Не засматривайся"? - Он мутно взглянул на мешки, узлы и горшки, уложенные на полянке - и вдруг загремел, пересиливая что-то в себе и не умея пересилить:- Носит вас по дорогам в такую пору! Сидели бы дома, сто динаров и три фельса! Надо бы, друг мой Омар, твою мать - ко мне в шатер, тебя самого, и отца твоего, и ваших трусливых слуг - на базар, и лошадь у вас отобрать, и... И ступайте-ка отсюда, пока я добрый! Если б я не захворал... Забирайте книги свои и припасы. Но мешок зерна мы у вас возьмем. Эй! - гаркнул он на дружков.- Грузите все обратно. Мешок зерна оставьте.- Он посмотрел в Омаровы чистые очи, невесело подмигнул ему.- Станешь большим человеком, не забудь обо мне. Запомни: Ораз из племени кынык, одного рода с царем Тогрулбеком. Будь здоров! А вас, храбрецы,- напутствовал он работников Ибрахима,- надо бы высечь на прощание. Ну, да ладно. Зачем ты кормишь таких ненадежных защитников? - обратился он к мастеру.

- Что с них взять, господин? Ремесленный люд. Мирный народ.

- Мирный народ...- Туркмен покосился на его бедро.- Саблю отстегни, подай ее сюда! Она тебе ни к чему.

Староста Баге-Санга ахал изумленно:

- Угораздило вас, господин, забраться в эту глушь! Неужто иного места для отдыха не нашлось? Простите,- мы рады, конечно, новому человеку. Но очень уж скудно, убого у нас. Семнадцать хижин, горстка людей. Скучно.

- В наш тяжкий век,- вздохнул Ибрахим,- нужно иметь про запас надежное убежище. Ведь у вас тут спокойно?

- Как будто,- ответил старик неуверенно. И отвел глаза.

Взрослые - нудный народ. Жить не могут без никчемных дел. Проверить купчую. Попить шербету. Поболтать о новостях... Пока они занимались этим, Омар побежал осмотреть летнее жилье.

Правду отец говорил: безграничен аллах в своих милостях. О рае Омар, конечно, слышал, но рай небесный - где-то еще впереди, далеко, и попадет ли туда Омар, неизвестно - грехов у него уже немало; что касается рая земного, то, наверное, здесь он и есть.

- Эх, родной! - Маленький, тощий, чуть выше Омара, весь черный живой старичок, сидевший у ограды и взявшийся его проводить, сказал с надрывом, тягуче, скрипуче, но проникновенно:- Не зря селение наше БагеСанг - Каменный сад. Камней тут, видишь, больше, чем деревьев. Землю под ячмень носим в корзинах из дальней долины. Найдем меж утесов прогалину, засыплем, засеем. Сам суди, какой мы получаем урожай. Бывший хозяин вашей усадьбы отчего сбежал в Нишапур? Видишь, я горбатый. Ноги кривые, руки сухие, а ладони - точно лопаты. Нелегко тут жить. Ох, нелегко!

- Зато воздух...

- Может быть. Я иного воздуха не знаю. Правда, в детстве,- лет шестьдесят или больше назад, выезжал с отцом в Астрабад, наглотался пыли,- до сих пор, веришь, нет, чахну от нее. Я, дорогой, помню даже бухарскую власть,- соврал он неизвестно зачем.- При них, саманидах, вроде было полегче. Они редко нас навещали. Верно, тоже грабили. Но они хоть говорили по-нашему.- Похоже, в памяти его давно все перепуталось - и то, что видел он сам, и то, что когда-то узнал от старших.- А как пошли свирепствовать дикий тюрк, султан Махмуд Газнийский и сын его, султан Масуд Газнийский, черт их съел, и сельджукиды-туркмены - хоть в этом пруду утопись! - Он кивнул на небольшой, но, видно, очень глубокий, воронкой, водоем на дне

котловины.- Для них все равно, что зима, что лето, что осень. Нагрывают: давай поземельный налог, подушный налог! А где его взять, скажем, весной? На сухих абрикосах живем, хлеб черствый ячменный - и тот бережем, раз в неделю, в пятницу, едим. "И не стало в нашей стране,- как говорится в старой легенде,- псов лающих, огней пылающих".

Омар, и без того бледный, совсем побелел. Занесло их! Но какое дело ему до чьих-то бед? Вот ручей, бегущий с гор через двор, и лужайка с сочным клевером, и белая коза на привязи. Клевер еще не цветет, но над ним уже вьются пчелы.

- Пасеку бы здесь наладить! Тут тебе корм и для божьих пчел, и для лошади вашей, и для бедной козы моей. Эх, один я на свете! Эта коза... она мне и мать, и сестра, и дочь. Но коза - она что? Коза. Дура. Скажи отцу, пусть купит у наших людей трех-четыре ягнят,- за четверть цены отдадут. Вскормлю для вас, зимою забью, отвезу в Нишапур. Будешь есть баранину, растолстеешь, не будешь такой хилый.

- Не люблю. Терпеть не могу, когда кости грызут, салом губы и щеки мажут.

- Ну? А что же ты любишь, родной?

- Молоко.

- Кхм! Оно, конечно, полезно. И я когда-то любил его пить. Но теперь у меня от молока бурчит в животе...

Вечер.

- Так ты не прогонишь меня, хозяин? - говорит хмельной старичок, наевшись рисовой каши с мясом и морковью.- Имя мое - Мохамед, что значит Прославленный. В честь пророка, да будет над ним благословение божье! Всяк тут знает беднягу Мохамеда. Я владельцу прежнему служил за еду и ночлег. Видишь, вон, сарайчик под скалою? В нем обитаю. Один я на белом свете. Был когда-то женат, и дети были, но угнал их проклятый Махмуд Газнийский. И дом разломали головорезы. За то, что я, строптивый, шумел. Нетрудно, конечно, другую жену найти и домик заново отстроить, но занемог, как детей забрали, махнул на все рукой, стал выпивать. Ибрахим, подумав:

- Аллах запретил мусульманину пить.

- Знаю, родной! Знаю. Староста наш,- ты видел его, устал меня стыдить и страшить. Но разве он может вернуть мне моих детей? Врагу не пожелаю - деток своих потерять... Я тебе честно скажу: виноват перед ними. Ох, виноват.- Он понурил седую голову, несколько раз стукнул костяшками согнутых пальцев по загорелому лбу.- Однажды... полотенцем, свернутым в жгут, я хлопнул раз-другой свою старшую дочку по заду. Понимаешь?! - вскричал он с пронзительной болью в глазах.- Вторую дочку вот этой рукой,- он дико взглянул на черную руку,- встряхнул за волосы... над землей. Волосики нежные, тонкие. А я ее за них - над землей. Чтoб ей отсохнуть! - Старик Мохамед наотмашь ударил о камень обратной стороной ладони, разбив ее в кровь, и злорадно скривился, довольный болью, как заслуженным наказанием.- Ну, третью не бил. Уж тогда что-то внутри у меня надорвалось. Всего один-то раз и рявкнул на нее, она вся побелела, бедняжка. Будь я проклят! В аду мне гореть. Никогда не бей, хозяин, ребенка,- до последнего часу будешь о том горевать. Где они? Что с ними? Они-то, наверно, если живы, давно уже забыли о тех делах моих паскудных. А я не могу забыть. Ну и страдаю. Да,- Мохамед растер на корявой щеке слезу.- Аллаху, конечно, сверху виднее, что я должен делать, чего не должен. Но я... вот чего не пойму. Султан Махмуд - уж так он был правоверен, истов да неистов, что хоть самому пророку на зависть! Каждое дело его, большое или малое, совершалось только во имя

аллаха. Ответь, мудрый юноша,- кивнул старичок Омару,- во имя бога - это во благо тому, кто верит в бога? Или во зло?

- Во благо.

- Тогда скажите, ученые люди: разве годится во имя правой веры отнимать у правоверных их детей, ломать их жилье?

Ибрахим, помолчав, сказал,- не совсем, правда, твердо:

- Все совершается по воле божьей.

- Конечно, конечно! Кто спорит? Это всякому известно. Однако... все-таки, я думаю,- если, конечно, нам, убогим, не возбраняется думать,- нельзя во имя красоты, к примеру, уродовать чей-то красивый лик. Или - во имя света сокрушать светильник. Несообразность,- старик пожевал белый ус, резко выплюнул его.- Это все равно, что лгать во имя правды. Потому я бунтую. И пью. И буду бунтовать. И пить. Пусть хоть голову снимут. Но ты, хозяин, не бойся: твой дом я не пропью. Хворост в горах собирать и таскать, за деревьями в саду ухаживать, дом в порядке держать, зимою стеречь, рыбу в ручьях ловить, куропаток в кустах - лучше меня человека для этих дел не найдешь. Плата? Хлеб и ночлег. Вино я делаю сам, из хурмы и гранатов. Ну, что, остаюсь?

- Оставайся,- кивнул Ибрахим благодушно.- Куда ты пойдешь? Сын у меня любознательный. Рассказывай ему о прошлом. Приучай к мотыге, к труду на земле. Только пить, смотри, не научи.

- Что ты, господь с тобою! Он парень, я вижу, толковый, не по возрасту серьезный, пьяницей он не будет.

- Дай бог, дай бог,- с надеждой сказал Ибрахим.- У нас в Нишапуре пир каждый день. Ученики медресе - и те пьют тайком от наставников.

- А наставники - тайком от учеников,- усмехнулся Омар.

День был трудный, ночью Омар долго не мог уснуть. Вышел во двор - услышал чье-то глухое завывание. Собака? Нет. По Нишапуру он знал, собаки воют иначе. Жутко стало ему! Казалось, на дне котловины, в пруду, всплыл джинн, прикованный цепью к подводной скале,- всплыл и завыл, просясь на свободу. Но цепь крепка. На ней - заклятие...

- Ты отчего угрюм? - встретил его наутро в саду Мохамед. Глаза-то у старика... в слезах, красные, как от дыма, под ними мешки. Вином густо пахнет от горного деда. Но голос ласковый:- Плохо спалось? С непривычки. Человек из долины всегда поначалу плохо спит в горах.

- Это ты выл ночью? - догадался Омар.

- Выл? Я пел. Пил - и пел. Эх, милый! Сколько таких убогих лачуг по белу свету, и сколько несчастных людей воеет в них по ночам от тоски неизбывной! Воеет тихо, пугливо, чтоб, не дай бог, кого не обеспокоить. Давай-ка сядем над ручьем да помолчим. Вода - самый дорогой божий дар. Окунешься - смывает с тела грязь. Сядешь возле, смотришь, ни о чем не думаешь - омывает душу.

- И пил бы ее.

- Не всякую жажду, родной, можно водой утолить.

Огорчения огорчениями, но горное солнце, горный воздух, купание в горных ручьях пошли Омару все-таки на пользу. Домой он вернулся окрепшим, подросшим, загоревшим. Он соскучился по городскому шуму и гаму и в первый же день, взяв у отца монетку, ушел бродить. В Нишапуре сорок кварталов, хотелось их все обежать. Но сперва - на базар!

Уже у ворот услышал мальчишка призывный вопль зурны, грохот бубна и до сладости знакомый медный голос. Она? Сердце заныло, в голове зашумело. Боясь ошибиться, он яростно протолкался сквозь толпу и увидел на ковре давнюю и тайную свою любовь.

Маленький шрам на подбородке,- чуть ли не до слез он умилял Омара каждый раз. Голе-Мохтар! Девчонка из семейства бродячих скоморохов. Не то курды, не то белуджи, но скорее всего - цыгане, они часто появлялись в Нишапуре, давали на базаре представление: кувыркались через голову вперед и назад, прыгали друг через друга, ходили на руках, смешили народ прибаутками-шутками, плясали и пели,- и лучше всех, конечно, пела золотисто-смуглая, с алыми губами, черноглазая Голе-Мохтар.

Голос ее был именно медным - сильным, звенящим. Она казалось ему сказочной пери, и ученый сын Ибрахима часто видел девочку во сне. Хорошо бы уйти вместе с нею, выступить на базарах, удивлять людей.

- Ради чего,- по заведенному у них порядку - завершать представление назидательной беседой, обратился старший скоморох к народу,- человек может покинуть друга? - И, зная, что никто сразу не решит эту головоломку (мало ли, ради чего), ответил сам:- Ради семьи.- И продолжал:- А семью? Ради селения. А селение? Ради страны. А страну?..

- Ради аллаха! - крикнул кто-то богобоязненный. Но скоморох, испытующе, с умыслом помедлив, твердо произнес:

- Ради самого себя.

Представление окончилось. Бородатый старший скоморох с медным блюдом пошел по кругу. Зазвенели монеты. Омар с готовностью положил свою. Он все смотрел на Голе-Мохтар, но она - хоть бы раз взглянула на него! Как-то рассеянно, вскользь, похоже - лишь по долгу ремесла, девчонка улыбнулась толпе восхищенных зрителей и медленно удалилась в палатку.

Его неудержимо,- как петушка к зерну, влекло к этой палатке. И Омар не утерпел, слегка раздвинул дверную завесу. Голе-Мохтар сидела на полу, руки на приподнятых коленях, голова - на руках. У него дух захватило! Он шумно и судорожно перевел дыхание. Голе-Мохтар вскинула голову, вздрогнула, крикнула:

- Рой!

Босые ноги Омара вмиг отделились от земли. Встряхнув мальчишку за шиворот, Рой, сильный молодой скоморох, прошипел ему в лицо:

- Чего тут бродишь? Прочь.

Омар отлетел на пять шагов, упал под чей-то смех в канаву. Поднимаясь в слезах, он услышал медный голос:

- Украдет что-нибудь...

Оплеванный, потрясенный вернулся Омар домой. "Украдет". Чтоб тебе сгинуть! Ненавижу. И тебе бы, проклятый Рой, шею, подпрыгнув, сломать. Головоходы несчастные. Дурачье. Вот заберусь в темноте на базар и подожгу собачью вашу палатку.

Он три дня не ходил на базар. Не надо! Он знать не хочет глупую Голе-Мохтар. Подумаешь, Своевольный Цветок. Однако на четвертый день Омар не выдержал, вновь потащился к рынку в надежде еще хоть раз увидеть ее. Но скоморохов, как говорится, и след простыл.

- Уехали, детка! Вчера. Сложили палатку, весь скарб в повозку и - прощай. Не горюй! Приедут опять. Не эти, так другие.

- Другие?..

И вот однажды, уже весной, чем-то занимаясь во дворе, он услышал у раскрытых ворот тягучий звенящий голос:

- Пода-а-ай-те-е...

Она! В рваном платье, грязных шароварах (где ее яркие наряды?), Голе-Мохтар сиротливо стояла у входа и, глядя куда-то в пустоту, жалостно тянула:

- Кусо-о-очек хле-е-ба...

Омару показалось, он сходит с ума. Мальчик метнулся в кухню за хлебом,- хлеба, слава аллаху, у них было много. Но, видно, не зря говорят арабы, что самый скупой в мире народ живет в Хорасане.

- Ты куда?- строго крикнула мать.

Он молча показал на девчонку. Губы его кривились, дрожали. Вот заплачет.

- Не давай! Их много нынче развелось. Всех не накормишь.

Голе-Мохтар вздохнула, ушла, волоча босые ноги по весенней грязи. И где-то уже на улице зазвенел ее дивный голос:

- Пода-а-ай-те-е...

Все-таки, улучив миг, когда мать отвернулась, Омар схватил горячую лепешку, сунул ее за пазуху и выскочил на улицу. Голе-Мохтар испугалась. Чего хочет от нее ошалелый мальчишка с дикими зелеными глазами? Не дай бог, суму отберет. Не отберет - изобьет ни за что. Она схватилась за тощую переметную суму, перекинутую через плечо, и как-то боком, в страхе оглядываясь, поплелась прочь.

Что с нею стряслось? Куда девались ее родные? Бог весть. Губы из алых превратились в сине-лиловые. И в глазах, когда-то веселых и жгучих, угнездилась, видно навсегда, глухая печаль.

Хлеб жег Омару грудь. Он сунул руку за пазуху. И не решился. Нет! Его остановила робость. Будто он хотел совершить у всех на глазах нечто постыдное. Снисходительно вынуть хлеб из-за пазухи и протянуть... Кому? Ей! Это невысказано. Кошунство. Омар никогда больше не видел, зато запомнил ее на всю жизнь. Так она, жизнь, мало-помалу оборачивалась к нему изнанкой. Возвращаясь в слезах домой, он отдал лепешку другой нищенке, дряхлой старухе.

Да, нищих много развелось в Нишапуре. Сюда стекались толпы беженцев из Мерва, Балха, Бухары - из родных мест их погнали невесть куда бесконечные смуты, налеты и передвижения караханидских и сельджукских войск. Не всем удалось уйти с деньгами и припасами.

- Сейчас все в цепе,- сказала мать Омару.- Иди на базар молоком торговать. Оно у нас в избытке.

- Я?- изумился Омар.- Торговать? - И запальчиво:- Из дому убегу!

Она побоялась настаивать. И вправду убежит! Такой уж характер.

На базаре проходу не стало от юрких воришек, от шаек нудных попрошаек. Однажды, в начале лета, слоняясь между рядами, Омар услышал тонкий певучий голос:

- Я не хочу воровать! Зачем воровать? Если вы подадиче...

Странный выговор. "Подадиче"? Где уж, родной! Его отогнали, как муху. А "воровать" он, видно, и впрямь не хотел. Или не умел. Сутулясь и шаркая большими ногами, бедняга отступил в сторонку, устало присел у воды под ивой.

Лет тридцать ему, тридцать пять. Острые плечи, острый кадык. И столь жалостно, столь уныло мигал он рыжими глазами, что Омар чуть не заплакал. Уж такой это был бесприютный, беспомощный, всем чужой человек...

На монетку, полученную утром от Ибрахима, он купил толстую лепешку, горстку спелых вишен - и, краснея, предложил их беженцу. Тот удивленно и недоверчиво, боясь подвоха, взглянул на него, взял, тоже стесняясь, подачку и начал есть, молча, бережно, не торопясь.

- Я... э-э... Гафур из Мерва,- вздохнул он, поев.- Потерял всех своих. Все пропало. Без ничего пришлось бежать. В Рей иду. Там у меня родные. Они помогут. Но дойду ли? Сил нет. Изголодался.- Он туманно взглянул Омару в глаза.

- Видишь циновку? - показал Омар.- Она ничья, базарная. Ложись, отдыхай.

- Нет.- Гафур блаженно погладил вздувшийся живот.- После еды, перед сном, следует гулять. Это полезно для пищеварения.- Он покрутил пальцем вокруг пупка.

- Погуляй,- усмехнулся Омар. Господи! Чуть живой, а туда же...- Утром будь здесь, на месте. Я принесу поесть.

С того дня он взял Гафура под свою опеку. Зачем? Омар и сам не знал. И думать не думал, зачем. Так уж получилось. Не пропадать же человеку.

За обедом мальчик прятал лучшие куски. Он-то всегда успеет дома поесть, а для Гафура в этих кусках - жизнь. И монеты, которыми снабжал сына мастер, Омар не тратил, копил Гафуру на дорогу. Он места себе не находил, пока не повидает друга. Скучал по его певучему голосу. По наивным и честным рыжим глазам. По грустным рассказам о Мерве, о дальних странах и торговых караванах.

"Когда мы уедем отсюда?"- приставал он к матери. "Куда?" - "Хоть куда-нибудь". Глухой, слепой, беспросветной казалась ему жизнь в душном, скучном Нишапуре.

Десять дней длилась счастливая жизнь! Но скоро ей наступил конец. Гафур окреп, повеселел и собрался в путь. Омар вручил ему монеты, притащил полную сумку снеди.

- Знаешь,- признался, пряча глаза, Гафур на прощание,- я тебя... обманул.

- То есть?

- Я никакой не Гафур. Я Давид, сын Мизрохов.

- Да?

- Я еврей, понимаешь?

- Ну, и что? - удивился Омар. Давид, сам удивленный его простодушием, начал было горячо:

- Но ведь!..- Однако, взглянув мальчишке в глаза, что-то уразумел и успокоился.

- Не видал я, что ли, евреев? - пожал плечами Омар.- Я уже в первый день угадал, что ты еврей.

- Разве? Я думал найти здесь приют в нашей общине. Но, оказалось, ее недавно разгромили сельджуки.

- Они всех громят. И христиан, и евреев, и заодно - своих мусульман.

- И потому я остался на улице, ночевал в садах. Я тебя никогда не забуду! Ты спас меня от гибели. Доберусь до Рея, устроюсь - дам знать о себе. Жди вестей. Жди добрых вестей.

Вестей от Давида мальчик не дождался.

Благополучно ли дошел еврей до Рея? Рей не так уж далеко от Нишапура, но мало ли что может случиться в дороге. Он долго тосковал по Давиду. И лишь спустя месяц-другой услышал краем уха о некоем Давиде, сыне Мизроховом, преуспевающем торговце из Рея.

Наверно, это другой Давид. Конечно, другой. Уж больно тот был убог, не похож на человека, способного быстро преуспеть в делах. Помогли родные, он и развернулся? Вряд ли. За два-три месяца? Не может быть.

А впрочем, кто знает? Кажется, все может быть на этом свете.

...Волна, нахлынув на мокрый песок и передернув узор, что был намыт предыдущей, создает из него же другой, непохожий. Свежий рубец, ложась на старый шрам, меняет его очертания.

Нет возместимых утрат! Каждая уносит из сердца что-то свое, неповторимое. находка, не восполняя потерю, тоже занимает в сердце свое место - может быть, даже более важное. Но потерять не значит лишиться совсем. Любая утрата оставляет след в душе, и новое, наслоившись на него, рождает в ней нечто иное, третье. Так возрастает жизненный опыт.

Из Балха приехал новый учитель, шейх Назир Мохамед Мансур, человек спокойно-усмешливый, тихий, скупой на слова. И на редкость умный. Из бездонного кладезя его блистательной мудрости предстояло отныне Омару выгребать черепки истории, черпать перлы языковедения, выуживать хитрости мусульманского права.

В медресе к Омару пристало прозвище - Хайям, то есть Палаточник, по ремеслу отца (от арабского "хайма" палатка). И носил он его всю жизнь. Чего же добивался мастер Ибрахим, не жалея средства на учение сына?

Он хотел воспитать его законоведом.

Он стремился сделать его богословом.

Он мечтал увидеть его в среде местных духовных владык.

Не возражал он, конечно, и против занятий астрологией. Господи, помилуй! Звездочеты - в почете. Омар со временем смог бы попасть в какой-нибудь княжий (о царском - грех и подумать) богатый двор. И безвестный палаточник тоже, глядишь, через то взлетел бы до небес в глазах завистливых соседей. Алгебра, геометрия? Господи, помилуй! Что ж, наверное, и они полезны. При запутанных спорах о наследстве, при разделах и переделах земельных участков, при подсчете налогов, долгов и прочих взысканий, при строительстве крупных зданий и каналов - без них, слышать, не обойтись. Но... это слишком заумно, слишком туманно для простого ума. Ну их! Деньги, если они завелись, можно сосчитать и истратить без алгебры. И еще - естествознание. Оно-то к чему? Господи, помилуй! Хлеб - это хлеб, камень - камень.

Между тем,- скажите, почему от столь почтенных отцов рождаются столь нелепые сыновья,- Омар проявлял наибольшую склонность именно к математике и к изучению явных и скрытых свойств вещей.

История, право, словесность?

Ах, уважаемый родитель! Они давались Омару без всяких усилий с его стороны. Постигались как-то сами собою. Словно хранились в мозгу от рождения и стоило лишь краем глаза взглянуть в нужную книгу, как сразу пробуждались в памяти.

Зато сколько тайн заключал в себе обыкновенный серый голыш с белыми крапинками. Или весенний тугой росток, пробивающий и разламывающий кладку из таких голышей. И сколько невероятных тайн могла раскрыть по двум-трем намекам алгебра.

"Искусство алгебры и альмукабалы,- по-книжному сухо скажет он позже в "Трактате о доказательствах",- есть научное искусство, предмет которого составляет абсолютное число и измеримые величины, являющиеся неизвестными, но отнесенные к какой-нибудь известной вещи, по которой их можно определить. Эта вещь есть количество или отношение".

Но в детстве (Что в детстве? Всю жизнь!) Омара увлекала, прямо-таки завораживала до оцепенения, как обезьяну - хитрый узор на шкуре удава, и не столько узор на чешуйчатой шкуре, сколько его могучий проникающий взгляд, не внешняя, числовая, а внутренняя, поэтически-волшебная, суть алгебры. Самая простая формула представлялась ему колдовским заклинанием, способным управлять сонмом могущественных джиннов. Или той самой Архимедовой точкой опоры, с помощью которой можно сдвинуть землю. Да. Наука - искусство. Искусство - наука. Основа у них одна - творческая мысль. Ему и в голову не приходило противопоставлять их, как делали иные губошлепы в медресе. То же и с геометрией. По двум смежным стенам - боковой и задней - и еле заметному выступу далекого портала можно ясно вообразить весь облик здания. Будто просматриваешь его насквозь. Весь мир он видел через

призму отчетливых линий - и его до слез обижал, например, неряшливо, коекак, обмазанный угол глинобитной садовой ограды, где угол не угол, а нечто безобразно кривое. Все, что нарушало геометрическую стройность, казалось ему уродливым, отвратительным. И ранило душу.

Однако есть у него и художественное чутье - он способен увидеть, как замечательно вписывается голое, корявое, сучковатое, нелепо скорченное и растопыренное дерево в сочетание правильных плоскостей: стен, башен, ворот, куполов, минаретов.

Что касается звезд и планет, он уже семи лет от роду умел с первого взгляда находить любую.

- Ты среди них - как огородник на своей бахче,- сказал одобрительно шейх Назир.

Удивительный инструмент - астрольбия! Безотказный и точный. Не поверишь, что он изобретен женщиной. Да, гречанка Ипатия была поистине чудом природы. Она стояла тысячи мужчин. Не потому ли ее убили?

Спору нет, у шейха немало других способных учеников, но доверяет только Омару. Оказалось, наставник тоже не очень-то охоч до мусульманского права (оно дано раз навсегда, копайся в нем, не копайся, нового ни крохи не измыслишь) - и готов до утра глазеть на звезды. Он научил Омара обращаться с астрольбией, квадрантом, определять высоту солнца, высчитывать градусы, разбираться в таблицах.

И хотя считалось, что они занимаются священной историей, богословием и астрологией, чудак-учитель и чудакученик есть и пить забывали, отдаваясь математике и серьезной науке о небесных телах. Да, немало дорожной пыли ушло на посыпку дощечек, где производились расчеты.

Уделялось, правда, внимание и гаданию по звездам. Пригодится! И неизбежно в наш век. Еще Беруни горевал: "Чтобы получить звание астронома, необходимо, хочешь, не хочешь, знать и астрологию".

Возьмем, к примеру, красноватую звезду Альдебаран из Тельца. По природе своей она родственна Мирриху (Марсу), и действие ее-неблагоприятное. Кто имел неосторожность родиться под этой коварной звездой, пусть боится, злосчастный, не то что грешить - даже чихнуть, не оглянувшись. Иначе ему, собачьему сыну, несдобровать,- смеялись они над людским неразумием. Что за дело звездам до двуногих букашек, бестолково снующих по какой-то ничтожной планете?

...Жутко и радостно бывало звездными ночами на крыше медресе! Небо казалось огромной черно-синей глыбой стекла, осыпанной кристаллами. Звезды час от часу перемещались слева направо, снизу вверх, и справа налево, сверху вниз, вокруг всегда неподвижной Полярной звезды. Омар, сам не свой, дрожал, затерянный в этой прозрачной холодной бездне. Откуда и куда несутся звезды? И почему? И что за ними?

В коране просто: по воле аллаха. И все тут. Но почему же каждое созвездие имеет свои диковинно-затейливые очертания? Здесь видна скорее прихоть случая, чем чья-то разумная воля. Разум - соразмерность. И он расставил бы звезды в определенном порядке, соблюдая точность и повторимость расстояний. Но звезды рассыпаны как попало.

Уже одно это вселяет в душу горечь сомнения.

- Хочу спросить,- сказал как-то Омар, когда они вдвоем с шейхом закончили наблюдения за созвездием Близнецов (вот их-то действие вполне благоприятное).

- Спрашивай.

- В коране говорится: аллах сотворил семь небес, одно над другим, и нижнее небо снабдил светилами, поставив их для отражения дьяволов. Так?

- Сура шестьдесят седьмая, стих пятый,- отметил дотошный шейх.

- И еще говорится: бог, создавший небо, может его остановить и низвергнуть на землю. Но Аристотель пишет, что небо никем не создано и не может погибнуть. Оноечно, без начала и без конца, и нет силы, способной заставить его двигаться не в ту сторону.

- Трактат "О небе".

- Выходит,- господи, помилуй! - аллах... тут ни при чем? Кому верить? Ведь Аристотель жил почти за тысячу лет до пророка.

- Сказано древними: "Все подвергай сомнению. Ибо сомнение - корень познания". И еще сказано: "Пересекай море, но поглядывай на берег",- ответил шейх смущенно.- Как правоверный, ты должен верить корану. Ибо он ниспослан в объяснение всех вещей. Но здравый смысл...

- Вот именно! Здравый смысл. Однако он,- простите, учитель,- не приемлет и вечность с бесконечностью:

Это уму непостижимо. Кто-то из старших пишет: "Из ничего - ничто". Все имеет свое начало. А у Вселенной его нет. Как это понимать?

- Ага! - воскликнул шейх со смехом.- И тебя стукнуло, сын мой? Над этой загадкой много людей ломало голову до нас. Раз уж возник такой вопрос, человек не перестанет пытаться: почему? Ответа - нет. Отсюда и всякое сумасбродство.

Горько Омару. Оттого, что этот сверкающий мир, хоть и кажется близким, рукой подать, остается все же недоступным. Что толку, что знаешь название той или иной планеты, звезды? Побывать бы на ней. Увидеть возле, потрогать.

В коране сказано: бог опустил с горных небес на землю огромную лестницу, по которой дух и ангелы восходят к нему. Найти бы ее! Но она - для небожителей. Людей и чертей, говорится в коране, задумавших влезть на небо, встретит яркий зубчато-мелькающий пламень. Так-то. Человек приравнен в священной книге к черту. Может, не зря вопрошал хмельной старичок Мохамед в Баге-Санге: "Во имя бога - это во благо тому, кто верит в бога? Или во зло?"

- Зайдем ко мне,- предложил шейх Назир.- Я дам тебе "Алмагест" Абуль-Вафы Бузджани. Он был из этих мест. Гордись, твой земляк. В этой книге он излагает учение румийца Птолемея о планетах. И еще я тебе дам "Звездный канон" Абу-Рейхана Беруни. Его вещь - посерьезнее. Беруни намекает на вращение Земли. Хотя, правда, еще индус Арьяхата писал пятьсот лет назад, что она вертится вокруг своей оси и вокруг солнца. Читай на досуге, может, найдешь у них ответ на те вопросы, что тебя тревожат. Впрочем, вряд ли. Их самих многое сбивало с толку. С одной стороны - коран, с другой - истинное знание. И бейся, мечись между ними, как можешь. Видел пьянчуг? Пить грех, и хочется пить. Потому - разлад в душе.

Шейх Назир Мохамед Мансур - ученый известный, и Омара удивляло, что не купит он или не снимет себе хороший дом, живет в келье при медресе, как малосостоятельный приезжий ученик. Но зато, наверное, келья у него громадная, светлая, вся в коврах.

...Он чуть не упал, увидев келью шейха! Крохотная комнатуха. На земляном полу ветхий коврик. В одном углу - свернутая постель, в другом - сундучок, должно быть, с книгами. В нише - поднос, щербатые чашкиплошки. И все.

- Ты, конечно, проголодался,- сказал заботливо шейх.- Вот хлеб, вот дыня. Перекусим.

Перекусили. Дыня оказалась сочной, спелой, пахучей.

- У нас в Баге-Санге есть работник.- Омар рассказал о старичке Мохамеде, о его дырявом сарае.- Ну, он человек недалекий, несчастный. А вы-то умный, ученый...- Омар окинул унылым взглядом убогое жильё наставника и стесненно пожал плечами.

- Ум,- вздохнул шейх Назир.- Он удобен в известных пределах. Мало ума - плохо. Много ума - еще хуже. Хорошо человеку среднего ума, которого ровно столько, сколько надо, чтоб человек был доволен собою и жизнью. У него нет сомнений, и он благоденствует. А мы с тобою... Сейчас мы смотрели с тобою на звезды. Вселенная неизмерима. И что перед нею наша нужда и наше благополучие?

- Лет семи я мечтал стать бродягой.

- И будешь им! Если захочешь...

Звезды неслись по кривой в бесконечность и сверкали по-прежнему ярко. Но, поскольку их было все равно не достать, Омар, забыв о звездах, обратился к делам земным, человеческим. К тому его побуждала плоть. Будь хоть трижды умен и учен, от животной сути своей никуда не уйдешь. Если, конечно, ты не худосочный калека.

К четырнадцати годам его будто подменили: раздался в плечах, огрубел, вырос в дылду. Это уже другой Омар. Невыносимо наглый, до жестокости драчливый и даже - глупый. Юнец все чаще заглядывался на соседских девочек и еще пуще - на взрослых женщин, на их животы и бедра. По лицу пошла красная сыпь.

Однажды в знойный полдень, не находя себе места, он забрел в отцову мастерскую. Она состояла из низких тесных помещений, где работали пожилые мужчины, старухи и отдельно - молодые женщины и девушки. Здесь шили палатки, полосатые, белые, черные: хлопчатобумажные - летние, шерстяные - для курдов, арабов, белуджей, цыган и даже шелковые - для знатных людей.

Его угораздило попасть на женскую половину. Работницы разом прикрылись. Лишь Ферузэ, вдова лет двадцати семи, осталась с открытым лицом. Она имела на это право: когда-то, еще девчонкой, Ферузэ носила хозяйского сыночка на руках.

Гранатово-румяная, с дивно густыми бровями врзлет, с черной порослью пуха на верхней губе, она воскликнула с радостным удивлением:

- Омар! Давно ты к нам не заглядывал. Совсем заучился? Смотри, как вырос, как похорошел...

И, смерив мальчишку темно-карими, с желтой искрой, умными глазами, смутилась, встретив его дурной, жаднопристальный и требовательный взгляд, покраснела, опустила голову. Тугие губы ее задрожали, тугая грудь резко всколыхнулась. Должно быть, ей томно было сидеть с утра, скрестив ноги, и ощущать под истрепанным войлоком твердый выступ земляного, в глубоких выбоинах, пола.

Все! Теперь они уже не могли просто так разойтись. Он выжидательно топтался возле нее, между ними сразу возник безмолвный уговор. Руки Ферузэ тряслись. Она укололась большой иглой.

- Городской правитель заказал атласную палатку,- произнесла она тихо, со странной задумчивостью, прислушиваясь к чему-то в себе.- Сегодня утром закончили,- перешла Ферузэ на нежный шепот. И спросила внезапно охрипшим голосом:- Хочешь... посмотреть? Она в чулане.

Рот, искаженный страстью:

- Скорей! Ох, скорей...

Вот так-то. Звезды есть и на земле. Если поискать.

- И слава богу,- с усмешкой сказал Ибрахим, когда ему донесли о любовных похождениях Омара.- Он стал мужчиной. С Ферузэ? Не дурак! Это в сто раз лучше, чем с уличной потаскухой.

"Ну и ладно,- решили в мастерской.- Что хорошо хозяину, то хорошо и работникам. Лишь бы наших сестер и дочерей не таскал в чулан".

В шестнадцать лет Омар был уже взрослым мужчиной. К тому же хорошим лекарем, поваром и музыкантом. Астрономия? Знаем ее. Математика? Разбираемся в ней. Восточная философия? Она нам знакома. Ну, и коран, разумеется.

Весьма поэтичен коран. Язык его ритмичен, певуч, но надрывист и навеивает тоску, безнадежность. Стихи корана яростны, пугающи. Куда больше по душе Омару стихи Адама поэтов - Рудаки, особенно его золотые четверостишия.

...Ферузэ? Он успел уже побывать у трех-четырёх других пылких женщин, охочих до свежих юношей. Когда им удавалось его упрямить, он играл на сазе древние печальные напевы, чем доводил их до слез. Женщине, видно, надо поплакать, чтоб горячее любить.

На плечах Омара долго не заживали следы от их острых зубов. Но на сердце рубцов не оставалось. Он любил Ферузэ. Конечно, по-своему. И был ей по-своему верен. То есть исчезал, непокорный и гордый, казалось бы, навсегда,- и очень скоро возвращался с виноватым видом.

Но однажды ей пришлось внезапно уехать куда-то за город, в селение, на похороны дальней родственницы. Они не успели даже попрощаться, он узнал, что ее нет, от других. Омар, истомившийся, темный, усохший, забрел на третий день в чулан, посмотрел с печалью на голые стены, тюки на полу... и тихо взвыл, вскинув голову, как шакал.

Он понял: больше не сможет жить без Ферузэ и ему никого, кроме нее. we нужно.

Она приехала, тоже не в себе, и с тех пор Омар не покидал свою Ферузэ. Ферузэ была первой. Она была улыбочивой, послушной, всегда готовой ответить на ласку - и сама Неисчерпаемо ласковой.

Беспечна, добра и чиста, безусловно чиста, бескорыстна, она потешалась над ним и собою. Ее забавляла их связь. Обычно вдовы выходят замуж за пожилых порядочных мужчин - или заводят степенных обеспеченных любовников. А тут зеленый юнец, который ни жениться на ней не может, ни помочь ей деньгами.

Но зачем они, деньги? Разве любовь - для желудка? Нет, она для души. Любишь потому, что хочешь любить. И того, кого хочешь. Расчет? Он губит чувство.

- Милый мой! - целовала она его со смехом.- Моя отрада. Мое утешение...

Ученики медресе достали где-то сеть и сговорились порыбачить в окрестных ручьях. И заодно устроить пирушку под чинарами. Они уговорили Омара пойти с ними.

Раз-другой, соблазнившись, он уже принимал участие в их развлечениях. Даже пил, но после ходил чуть живой, тихий и белый, как хворый старик. Его нутро вина не выносило. На сей раз, однако, он согласился с легким сердцем. Почему не пойти? Все хорошо - и дома, и в медресе. Здоровье теперь у него безупречное. Парень он рослый, красивый. Каждый новый день приносит новую удачу.

Предвкушая отменную забаву, хрустя на ходу огурцами, свежесть которых придавала зеленую терпкость их сочной болтовне, юнцы веселой гурьбой приближались к городским воротам. В их глазах отражалась ясность молодого летнего неба.

Но у ворот кто-то окликнул Омара:

- Эй, пропащий! - К нему подскочил соседский мальчик.- Где ты бродишь? Беги домой. С твоей матерью плохо.

- Что? - похолодел Омар.

И вновь, как тогда, на Фирузгондской дороге, где погиб Ахмед,- в голове странный шум, и ноги трясутся, и внутри - гнусная дрожь. Он еще позавчера отлучился из дому, и его порывистому воображению представился черный черт, гогочущий над красной лужей в зеленой траве.

- Похоже, рехнулась. Волосы рвет. Лицо исцарапала. Руки искусила, платье разодрала. И все кричит: "Икта".

- Икта? - икнул Омар в замешательстве. Он только что надкусил огурец и так и стоял с вяжущим, точно квасцы, горьким куском во рту:- Откуда?

- Беги домой, там узнаешь.

Прощай, лужайка под чинарами! Омар, сразу осунувшийся, бросил в пыль надкушенный огурец, вышлюнул то, что было во рту, и поплелся, несчастный, прочь, не сказав приятелям ни слова, даже не кивнув.

И зачем женщины злые обзаводятся детьми? Чтобы всю жизнь измываться над ними - издали и вблизи, не давать им свободно вздохнуть и шагу спокойно ступить? Не можешь быть матерью - не рожай! Что еще там с нею стряслось? Крикливость, вспыльчивость, сварливость уже давно за нею водились. И не раз она повергала беднягу Омара в гневное изумление своей внезапной, непонятной яростью.

Она ему душу истерзала с первых же лет его жизни. Но волосы рвать, руки себе кусать... Нет, наврал, должно быть, соседский мальчишка, ушедший вместо него на рыбалку. Ужалил, змееныш,- и уполз. Жаль, Омар не дал ему по шее.

У ворот их большого двора он увидел толпу соседей. Они злорадно шептались. С его появлением скорбно умолкли. Как на похоронах. Морозная дрожь хлынула от крестца вверх по спине Омара. Сестренка редела у кого-то на руках. Год назад у него появилась сестра, и по настоянию Омара ей дали имя Голе-Мохтар. Девочка рванулась к нему. Омар схватил ее, прижал к груди, двинулся, шатаясь, к дому.

- Несчастный! Где пропадал? Видно, и впрямь ты сделался бродягой.- Мать, желтая, растрепанная, в кровоподтеках, в глубоких царапинах на носу и щеках,- будто вот сейчас ее истязала толпа за воротами,- встретила сына темным отрешенным взглядом.- Ступай к отцу, он в мастерской. Дочка, иди ко мне. Иди, детка, не бойся. Ну? Я уже успокоилась...

Двор загажен конским навозом, засыпан клочьями сена. Такого у них никогда не бывало. Хорасанцы - народ чистоплотный. Ибрахим, увидев сына, встал, заковылял навстречу, припал, несмело всхлипывая, к его плечу.

- Отец! Что случилось?

Ибрахим пугливо оглянулся на работников, молча толпившихся под навесом.

- Ох, сын мой! Аллах наказал нас за нашу греховность. Мастерскую... берут в икту.

Омар знает: икта - пожалование, которое то или иное лицо получает от властей за свои заслуги перед ними. Обычно в икту отдают посевную землю, и владелец ее - иктадар берет с крестьян в свою пользу подать деньгами и продовольствием, которую прежде община вносила в царскую казну. Но в икту передаются также и доходы с разных заведений, торговых и ремесленных: с бань, мельниц, с лавок на базаре, караван-сараев, мастерских и даже - с целых городов и областей. Смотря по заслугам.

- Ну и что? - удивился Омар.- Из-за этого столько шума? Не все ли равно, кому платить законный налог - государству или иктадару. Так и так платить.

- Нет, сын мой, не все равно.- Ибрахим, весь в слезах, покачал головой.- В жизни нашей не все делается так, как указано в мудрых законах. Уплатив государству положенную подать, ты спокоен: оно не тронет тебя до следующего года. Если, конечно,- он оглянулся,- у власти добрый правитель, а не безу... кхм... не бич божий вроде покойного Махмуда Газнийского,- мир его праху. Иктадар же... ведь он,- Ибрахим оглянулся в страхе,- он... своеволен. Наш иктадар - важный сельджукский начальник. Как его? Рыс... Рысбек, да смягчит аллах его жестокое сердце! Явился утром с целой ордой конных головоре... храбрых воинов. Господи, помилуй! Плетью меня отхлестал. И сразу требует: "Освободите дом". Мол, старуху-мать свою хочет в нем поселить и прочих родичей, коим не терпится в городе жить. А мы вчетвером будем ютиться в чулане при мастерской.

Омар закусил губы. Вот как. Будь ты хоть трижды учен, как Сократ, Платон и Аристотель, вместе взятые, не только знай все о звездах - сто раз побывай на них, все равно какой-то грязный невежда, который не может отличить Вегу от сверкающей сопли у себя под носом, имеет право с громом вломиться к тебе и выгнать из дому.

- О аллах! - вздохнул Ибрахим.- Еще он велит приготовить назавтра, к утру, тысячу золотых. Где я их возьму? Я кто - богатый торгаш или князь? Пятьсот динаров, даст бог, наскребу, а тысячу - нет, не сумею. Пусть рубит голову,- если на то будет божье соизволение. Ничего не поделаешь, сын мой. Надо терпеть. Судьба.

- Может, плаху еще приготовишь, на которой тебе голову будут рубить?- возмутился Омар его трусостью, скотской покорностью.

- И топор заблаговременно наточишь?

- У них топоры свои...

- Иди к городскому правителю! Пусть окажет помощь.

- Ходил уже, сын мой, ходил! - Мастер в ужасе за- катил глаза. Словно взглянул на петлю над собою.- По его-то наущению главный судья и назвал сельджуку мое заведение. У Рысбека грамота с печатью султана. Вот и вписали нас в эту проклятую грамоту. Что делает люд- ская зависть.

- На сколько лет?

- На десять...

Да, дело плохо. Тут не то что волосы рвать, платье драть - от обиды грудь раздерешь до сердца! Икта - пожалование временное, и жадный иктадар, пока у него власть, постарается выжать из мастерской сколько сумеет. И выжимать он будет всеми способами. За десять лет, видит бог, он дотла разорит доходное заведение и загонит семейство Ибрахима в могилу.

Омар уныло огляделся. В глазах работников - сумрак. Ибрахим, конечно, хозяин прижимистый, но все же он - свой. Он лучше, чем чужак, свирепый сельджук, который теперь не оставит их в покое.

- А где... Ферузэ?- встревожился Омар, не увидев ее среди них.

- Увел, увел иктадар!- Ибрахим махнул рукой. Только первый день, и уже началось...

- Да? - Какой-то не свой, писклявый голосок. Ноги Омара сделались ватными. Он, внезапно ослабевший; схватился за опорный столб навеса и криво сполз под него, попутно ударившись головой о тупой сук. С разбитого затылка на шею заструилась кровь. Началось? С исчезновением Ферузэ для него что-то кончилось.

- Сын мой,- хмуро сказал Ибрахим.- Немало средств я потратил на твое учение. Теперь ты сам должен себе помочь. Себе и мне. Не пора ли подумать о службе?

Омар - о своем:

- Как же мы все уместимся в чулане? - Сколько раз он бывал в нем с Ферузэ? Нет, он не сможет там жить.

- В чулане, конечно, не жизнь! - подхватил Ибрахим.- Мать ворчит, сестра пищит. Где уж тут читать и писать. Вот что! Переселяйся в келью при медресе. Я тебя не гоню, не подумай, но там тебе будет удобнее. Дам чуточку денег, внесешь плату вперед за полгода,- и живи себе на здоровье. Но нас не забывай. А? Согласен?

Да, конечно, Ибрахим его не гонит. Но юноше обидно, что отец так легко расстается с ним. И в то же время заманчиво жить одному, начать свой особый путь, как птенцу перед тем, как слететь с гнезда: и страшно, и хочется крылья скорее расправить. Впереди - весь мир.

- Спасибо! - Омар прослезился.- Согласен. Это будет хорошо. Но и ты не подумай, что я рад от вас убежать, покинуть в беде.

- Эх, сынок! Я все понимаю. Я что такое? Палаточник, бедный и темный. Таких, как я,- тьма на свете. А ты человек, отмеченный богом. Ты другой. Не как все. Я вижу. Не будь этой беды, я вывел бы тебя к твоим звездам. Но теперь...

Только выйдя на улицу, он вполне осознал, какое страшное несчастье их постигло. Оно оглушило его. По дороге, припомнив, Омар произнес с полынной душевной горечью:

На мир изменчивый питать надежды -

То заблужденье бедного невежды... Стихи Катрана ибн Мансура. Поэт изображает землетрясение, до основания разрушившее Тебриз. Невозможно было сыскать меж горизонтов город, равный ему по безопасности, богатству и совершенству. Каждый занимался тем, к чему влекло его сердце: один служил богу, другой - народу. Третий добивался славы, четвертый - достатка. И в одно мгновение земля разверзлась, шарахнулись в сторону реки, низины вздыбились, вершины опали. И не стало никого, кто бы мог сказать другому: "Не плачь".

Нечто вроде Тебризского землетрясения и случилось с семейством Ибрахима.

К вечеру Омар, сокрушенный духом, потерянный, сам напросился к приятелям пить. Пил много. Спал плохо. Утром встал совершенно разбитый.

Чуть живой, он поплелся к шейху Назиру. Будто язва у него внутри, она жжет, как горячий уголь. Сев, точнее, упав на ветхий коврик, уронив голову на колени и еле ворочая языком, сбиваясь, он рассказал наставнику о том, что произошло у них дома. Ему надлежит теперь самому заботиться о себе.

- Н-да-а,- вздохнул шейх озадаченно.- Что ждет нас еще в благодатной нашей исламской стране? Сын мой! - воскликнул он, расхаживая по келье.- Ты одолел низшую науку - естествознание. И среднюю науку - математику. И высшую науку - метафизику. Ты сведущ во всех областях современного знания. Где ты сможешь сейчас их применить? Иди учительствовать. Учить в мектебе семилетних детей читать, писать и считать - уж на это у всякого хватит ума. Я скажу, чтоб тебе дали должность. Правда, не разбогатеешь, но и без хлеба не будешь сидеть. Последуй моему совету. До лучших времен. Может,- он грустно усмехнулся,- когда-нибудь станешь главным судьей Нишапура - сам будешь брать в икту что захочешь.

- Нет,- замотал Омар опущенной головой. Его тошнило.- Из меня ничего такого не выйдет...

Учительствовать? Это спасение. Но Омар, пришибленный горем и похмельем, утратил способность радоваться. Только глухо сказал: "Буду",- и устался в темный угол. На изможденном лице - отрешенность, в мокрых глазах - сосредоточенность, сухие губы что-то тихо шепчут. Будто он вспоминает забытую молитву.

Он тяжело вздохнул и произнес бесцветным голосом:

Учению не один мы посвятили год,
Затем других учить пришел и наш черед. - Э! Да ты поэт? - изумился шейх.- Великолепно. Пстой-ка.- И он подсказал третью строку:

Какие ж выводы из этой всей науки? Омар, не поднимая глаз, ответил с отчаянием:

Из праха вышли мы, нас ветер унесет... Это были его первые стихи,- если не считать, конечно, острых и злых четверостиший, в которых он высмеивал своих неуклюжих приятелей.

- Не горюй! - утешил шейх ученика.- Даст бог, не пропадем.- И сказал доверительно:- Я тоже... пишу стихи. Но жгу их. Никому не читаю. И ты не читай. В наш век стихотворство - опасное занятие.

Несколько дней понадобилось Омару, чтобы хоть немного оправиться от последствий попойки. Как от теплового удара. И зачем ему надо было себя травить? Омерзительно. Он пришел навестить родителей и заодно похлебать у них белого, с простоквашей, супа и пожевать сушеного кебаба. Говорят, помогает.

Ему бы пройти в мастерскую прямо с улицы, через ход запасной. Однако ноги сами, по привычке, занесли его в жилой двор. Отворив калитку в тяжелых воротах, он ступил - на большую желтую собаку с отрубленными ушами и хвостом...

Хорошо, что Омар захватил с собой толстую красную палку (для пущей важности, теперь он учитель) - иначе бы не отбиться от своры огромных степных волкодавов, заполнивших двор. Из войлочной юрты, разбитой во дворе, с криками бегут свирепого вида люди с раскосыми глазами. Господи! Он тут чужой. В родном своем доме чужой. Омар еле успел юркнуть через улицу в мастерскую. Догнали б - избили. Или вовсе убили.

От калитки к дворику мастерской ведет узкий длинный проход между высокой оградой жилого двора и глухой стеной рабочих помещений. Так что Омара еще никто не заметил. Он прислонился спиной к стене, уронил голову на грудь. Тело, еще не окрепшее после попойки, взмокло от горячего пота. Хотелось лечь.

- Омар!

Перед ним - кто бы мог подумать? - Ферузэ...

- Ты? - вскинулся Омар.

- Я, как видишь.- Голос чужой, с хрипотцой, странно низкий.- Отлучилась проведать... подруг... и всех...

Он изумленно уставился на Ферузэ. Платье на ней дорогое, атласное, как у жены городского судьи (Омар както раз видел ее на базаре), и пахнет от вчерашней швеи, как от жены городского судьи, индийскими благовониями. Вот каково сделаться наложницей важного лица.

Ферузэ усохла - в лице, в плечах, а бедра вроде еще больше раздались вширь. На белой (была румяной) щеке - крупная родинка, откуда взялась, Омар не помнит ее. Намазалась, дрянь, прихорошилась. На зацелованных губах - дурная усмешка. Обидная усмешка. Но хуже всего - глаза. В них вызов, превосходство женщины, познавшей тайную высшую усладу с другим мужчиной...

- Убью!

Азиатская черная ревность, полыхнув в груди, как пламя в круглой хлебной печке, горячим дымом ударила Омару в голову, ослепила очи и обнесла сизой, как летучий пепел, пеной губы. Он в бешенстве замахнулся палкой.

И услышал покорный шепот:

- Ударь, милый. Избей. И уведи меня куда-нибудь, укрой. Ты не думай... я лишь притворяюсь довольной. Всем назло, и назло самой себе. Мне стыдно. Обидно. Все отвернулись. А чем я виновата?

Куда он ее уведет, где укроет?

- Долой с моих глаз,- глухо сказал Омар. И побрел прочь, так и не повидав родных. Ферузэ тихо плакала вслед.

Виновата ли она перед ним? Конечно! Но в чем? Не сама же... Так получилось. А почему получилось так, а не этак? Кто в этом виноват?

Вопросов полон мир,- кто даст на них ответ?

Оставь их, если ты во цвете лет!

Рай на земле вином создай,- в небесный

Не то ты попадешь, не то любезный, нет.

Ночью, в кругу развеселых друзей - будущих богословов, судей, учителей, священнослужителей - он опять упился жидким белым вином. Оно требует мало пищи, устраняет желчь и полезно для людей пылкого нрава.

Так рухнуло благополучие. Но, провалившись по грудь в топкий пухлый солончак на дне пересохшего озера, не думай, что не бывает глубже. Однажды (Омар уже четвертый год учитель), проходя под сводом портала в обширный двор медресе, он встретился с двумя худосочными учеными, преподававшими здесь богословие.

Приложив руку к груди и отвесив положенный поклон, он скромно скользнул мимо них и услышал за спиной:

- О аллах! У нас как мух развелось математиков, врачей, естествоиспытателей.

Омар, зайдя за угол, тут же приник к стене, наострил слух.

- Все ученики перебежали к ним,- вздохнул второй.- Хлеб несут, сало, инжир. А до нас, несчастных, никому дела нет. Молодежь отвернулась от священного писания. Звезды и числа им подавай.- Помолчав, он произнес зловеще:- А ведь живем в мусульманской стране.

Омар передал Назиру их разговор.

- Не к добру! - помрачнел многоопытный шейх.- Разум - миролюбив и снисходителен. Невежество - воинственно и беспощадно. Ибо разум, все понимающий, добр по сути своей и утверждает себя лишь собственным наличием. А невежество - оно слепое, и чем оно может себя утвердить, если не будет жестоким и неумолимым? Ты больше на крышу не подымайся. Астролябию отнеси к отцу в мастерскую и спрячь получше. Все книги по математике, труды Беруни и особенно Абу-Али ибн Сины тоже спрячь. Будут рыться. Оставь в келье коран, ну, свод законов и прочее. Сам знаешь.

- Знаю.

- И не пропускай ни одного богослужения! А то, я вижу, ты давно отлыниваешь от пятикратной молитвы.- И, заметив, как скривился Омар, поспешил заверить его:- Это не трусость! Благоразумие. Скажем, ты хранил бы в сундуке крупный слиток червонного золота...

- Я-то? Хе!

- ... и тебе стало известно, что воры хотят его украсть, а тебя - убить. Как бы ты поступил? Нужна осторожность. Понимаешь?

- Понимаю.

Может, эта мера и спасла жизнь Омару и самому шейху Назиру, когда, спустя несколько дней, в медресе вломилась шайка сельджукских головорезов. Их привел огромный, невероятно

тучный всадник в дорогой, расшитой золотом, но по-степному засаленной, потной одежде. Он громоздился над воинами, как горный медведь над стаей пустынных гиен.

- Рысбек! - крикнул ему кто-то из воинов.- Всех хватать?

- Не всех, дурак,- туго прохрипел начальник.- Было же сказано: богословов не трогать. Список - у главного шейха. Он укажет, кого.

Рысбек? Омар с ненавистью пригляделся к толстому туркмену. Вот он, разоритель. И соперник. Хе!

Удивительно, зачем человеку столько сала? Жирный баран, жирный бык - это хорошо. В тучности их ценность и достоинство. А сей мужчина - необъятное брюхо, огромный зад... тьфу, противно смотреть! Запас, как в горбах верблюжьих? Если б! Не дай ему есть до вечера, взвоят и околеет, несчастный. Страшно подумать, сколько плодов человеческого труда переработалось в это дурное сало,- с тем, чтоб со временем стать пищей для червей...

Шейх Назир и Омар, прижавшись к стене, в ужасе, точно путники, застигнутые в ущелье селевым потоком, глядели, как туркмены волокут из келий истерзанных ученых, связки их книг. Такого еще не бывало в Нишапуре! Даже слуги Махмуда Газнийского,- который когда-то велел соорудить повсюду множество виселиц и под ногами повешенных еретиков жечь костры из книг, направленных против "истинной веры",- даже они не устраивали казней прямо в медресе. Все-таки божье место. Но, видно, можно, при излишней ретивости, во имя аллаха оплевать самого аллаха.

- Откуда этакое рвение у вчерашних язычников? - произнес Омар белыми губами.- Ведь еще совсем недавно на Сырдарье с пеной на губах кружились у костров, колотили в бубен и завывали.

Шейх тихо изрек:

- Нет верующих более неистовых, чем новообращенные,- так же, как нет отступников злее недавних предателей.

Пахнет конским навозом и потом, человеческой кровью. Знакомый запах: Омар слышал его на Фирузгондской дороге. И в ячеистом, как осиное гнездо, медресе - под сводами, в нишах и тесных кельях, привыкших к протяжному зову муэдзина, молитвенным возгласам и тихому бормотанию учителей и учеников, отдается эхо иных, здесь совсем неуместных, звуков: стука конских копыт о плиты двора и топора о плаху, ругательств, предсмертных причитаний.

Все ярче и жарче пылает костер,- книг тут много, и и в пламени гаснут лучшие умы Хорасана. Если не всего Ирана и Турана. И на всей земле некому их защитить. Некому слово замолвить за них! Разум могуч - и бессилен, он сдвигает горы - и расшибается о придорожный камень...

- Ромей Плутарх... подразумевая туманно-далекое прошлое... говорит в своих "Сравнительных жизнеописаниях": "В те времена не терпели естествоиспытателей и любителей потолковать о делах заоблачных. В них видели людей, унижающих божественное начало. И Протагор был изгнан, и Анаксагора Периклу едва удалось освободить из темницы, и Сократ, не причастный ни в коей мере ни к чему подобному, все-таки погиб из-за философии". Тысячу лет назад это сказано. И сказано о еще более ранней эпохе. Что изменилось с тех пор? Пятнадцать столетий назад невежды травили умных людей - и травят сейчас. И перестанут ли когда-нибудь?

Ученика раздосадовала необычная говорливость шейха. До разговоров ли, когда топор висит над головой? Но по странной хрипотце в голосе наставника он определил: старик говорит, чтобы не кричать. И не дать кричать ему, Омару. Спасибо.

- Нам с тобою, по совести, надлежит быть среди них,- осторожно указал шейх бородою на толпу обреченных, дожидавшихся своей очереди у плахи.- Даже - первыми лечь на плаху. Но ты - мой прилежный ученик, а я - известный шейх, вероучитель, мудрый наставник в делах божьих. Так что, сын мой, учись притворству. В наш век эта наука важнее всех прочих наук. Сколько "святых", дай им волю, кинулось сразу б ломать свою же мечеть. Чтоб выжить, надо лукавить.

- Я не сумею,- уныло ответил Омар.

- Э! Умному легче прикинуться дураком, чем дураку - умным.

- Может, наоборот?

- Может. Что за времена? Дому своему ты не хозяин - отнимут, деньгам своим не хозяин - отберут, семье своей не хозяин - уведут, голове своей не хозяин - снимут. Даже над собственной бородою ты неправомочен: могут сбрить, издеваясь. О небо!

- Да-а...

Под этим небом жизнь - терзаний череда.

А сжалится ль оно над нами? Никогда.

О нерожденные! Когда б о наших муках

Вы знали, не спешили б вы сюда.

- Ага! - злорадно сказал Омару, встретив его на рынке, сосед по кварталу, Юсуф-брадобрей.- Разорил-таки аллах гнездо хулителей истинной веры! И поделом. Пусть не читают безбожных книг.

- Ты-то читал эти книги?

- Я?! Нет!!! Зачем?!

- Откуда ж ты знаешь, что они безбожные?

- Имам так говорит.- При этих словах брадобрей почтительно понизил голос.

- Сам-то ты думать способен?

- Думать? - Юсуф вскинул ладони, закатил глаза.- Зачем? Бог думает за нас.

- Вот я сейчас научу тебя думать, собачий хвост!- И Омар надавал ему по шее. Хотя учителю это и не к лицу.

Наутро, у знаменитых Нишапурских караван-сараев, где когда-то жило и трудилось множество приезжих людей, где прежде стоял стук и звон, раздавались веселые голоса, а теперь было пусто и тихо, как в древних руинах, Омар прощался с шейхом Назиром. Как раз готовился к выходу небольшой караван, и наставник за сходную цену сговорился доехать до Астрабада, где надеялся найти хоть временный приют. Здесь, после вчерашних событий, оставаться он не хотел. Доберутся и до него...

- Видишь, чем выгодна бедность?- Шейх ткнул носком сандалии книжный сундучок с увязанной с ним постелью.- Случится бежать - подхватил весь свой скарб под мышку, и да будет над вами благословение божье! Оставайтесь и беситесь, как знаете. А бегать случается часто. Такой уж век. Не горюй!- воскликнул он, заметив слезы на глазах ученика.

Легко сказать: не горюй. С кем останется бедный Омар в Нишапуре?..

- Даже Абу-Али ибн Сине,- утешил шейх ученика,- пришлось покинуть ваш дивный город.

- Как?!- изумился Омар.- Разве... разве ибн Сина здесь бывал?

- Бывал,- угрюмо сказал шейх.- По пути в Хамадан. Богословы не дали ему тут осесть. А ты не знал? Ну, конечно, некому было сказать. Султана Махмуда, кровавого пса, люди запомнили.

Об Абу-Али забыли. Ведь он их жалел - и уважал. Может быть, его благородная стопа попирала прах как раз на месте, где ты стоишь...

Омар отступил, потрясенный. Или он хотел увидеть золотые следы ибн Сины? Увы! Никаких следов, кроме верблюжьих, ослиных и обывательских, не увидел Омар у себя под ногами.

...За одиннадцать лет до того, как родился Омар, умер Абу-Али в Хамадане. Написал блистательный "Канон врачевания" и умер, гонимый, измученный, всего пятидесяти семи лет от роду. Никакой лекарь, самый одаренный, не в силах излечить злобных людей от их извечной болезни - ненависти к другим, непохожим на них.

Омар потянул носом дымный базарный воздух. Провел узкой ладонью по глинобитной шершавой ограде. Огляделся вокруг рассеянно, как после сна. Удивительно, даже как-то жутко ощущать на дороге, по которой идешь, в воздухе, которым дышишь, в предметах, к которым прикасаешься, незримую близость, бывшее присутствие великого человека.

Вот здесь, у стены, стоял он, высокий, бледный, худой, в потертом халате, в разбитых сандалиях, и его задевали тюками, корзинами, вязанками хвороста. Хорошо одетые, сытые глядели на него свысока, усмехались его жалкому виду. Погонщик ослов свирепо орал: "Посторонись, эй, ты, хилый!" И Омар явственно слышит этот давний грубый окрик...

Интересно бы узнать, каково человеку великому среди мелкоты. Пожалуй, он сам не знает, что велик. Не думает об этом. Он молчит. Он терпит. Он рад уже тому, что его не хватают, не бьют.

Люди! Что вы такое?

Фараби Абу-Насра, главу ученых Востока, глумясь над ним, довели до нищеты и бродяжничества.

Над Фердоуси, объявленным еретиком и бунтарем, тоже смеялись: он двадцать пять долгих лет корпел, полуслепой, над своей несравненной "Шахнамэ".

А ведь в любой путной стране обычно смеются над дураками. И нет, наверное, на земле народа, у коего глупость в чести, который славит ее в песнях и сказках. Или есть? Нет, не может быть. Простой народ уважает ученость.

Ее терпеть не может недоучка, завистник-обыватель. Он где-то о чем-то слышал краем уха, ничего не запомнил как следует, но вообразил, что он что-то знает. Что он уже способен судить обо всем на свете. И если с ним не согласны - он готов истребить несогласных.

Но где они все, поносившие Фараби, ибн Сину, Фердоуси,- в каких книгах, на сколько лет сохранились их имена? Даже при жизни их никто не знал, кроме ближайших соседей,- кто вспомнит о них после смерти?

Нет, неправ шейх: никто не забыл в Хорасане Абу-Али ибн Сину. Его никогда не забудут! А султан Махмуд... что ж, о нем говорят, пока свежи еще раны, нанесенные им стране. Раны затянутся, зарастут - имя дикого султана канет в вечность. Придет время - ни один ученик о нем знать не будет. Зря шумел.

Сказал Шариф Муджаллади Гурганский:

Кто помнит теперь сасанидов дела, саманидов дела?

Их славные роды давно уж исчезли, сгорели дотла.

Живут только оды нетленные Рудаки,

И песни Барбада живут,- лишь они велики. Так что, самодовольный, ломясь сквозь толпу, будь все же осторожен: ты можешь толкнуть Авиценну, больно задеть Фердоуси, отдавить стопу Абу-Рейхану Беруни.

- Сын мой, и ты не оставайся здесь. Пропадешь. Ступай в Мавераннахр. Я приготовил письмо Абу-Тахиру Алаку.- Шейх с оглядкой вынул из-за пазухи свиток, быстро сунул его Омару.- Никому из местных не показывай. Абу-Тахир - главный судья Самарканда и мой давний друг.

Он тебе поможет. Должен помочь. Береги, дорогой, свою голову. Пусть она не нужна власть имущим. Зато нужна науке. Нужна народу. Нужна грядущему.

И вспомнились тут Омару слова старика-скомороха,- только теперь дошел до него весь их глубокий смысл: "Ради чего человек может покинуть друга? Ради семьи. А семью? Ради селения. А селение? Ради страны. А страну? Ради самого себя". В конечном счете, превыше всего - человек. Нет человека - нет друзей, нет семей, нет селений - и нет страны.

И все-таки страшно подумать, что он навсегда оставит свой Нишапур - и умрет на чужбине, как Фараби, ибн Сина, Беруни. Но ведь отнюдь не презрение к родной земле заставило их уехать и умирали они вдали от нее не с проклятиями на устах, а с тоскою в сердцах. Разве от доброй жизни улетают осенью птицы с насиженных мест? Их гонит стужа. Не улетят - вмерзнут в лед и погибнут.

...Странная жизнь началась в медресе! Поскольку оно,- слава аллаху,- избавилось от еретиков, от безбожных естествоиспытателей, богословы могли теперь без помех толковать священное писание. К чему же сводились их жаркие споры?

Огонь горячий. Снег холодный. Вода утоляет жажду. И тому подобное. Хотя, казалось бы, тут и спорить не надо,- каждый ребенок это знает. Но ребенок принимает все как есть, не ссылаясь на коран...

Я знаю этот вид напыщенных ослов:

Пусты, как барабан, а сколько громких слов!

Они - рабы имен. Составь себе лишь имя,

И ползать пред тобой любой из них готов. Кого здесь могут заботить доказательства задач алгебры, альмукабалы? Омару незачем стало жить в Нишапуре. Нечего делать, не с кем говорить. И без того малообщительный, он отвернулся от всех.

Его неудержимо клонило в сон, он молчал, молчал - да и задремал под нудные речи, давно набившие оскомину.

К тому же Омар голодал и мечтал на этих пустых собраниях когда-нибудь съесть целую лепешку и выпить целый кувшин молока,- сам, один, ни с кем не делаясь. Целую лепешку! Он обносился, новой одежды не на что купить,- так и сидел в кругу богословов в чуть ли не рваном халате, в драных сандалиях. Не очень-то разговоришься, верно? Сказано: хоть и рот кривой, пусть говорит богач.

Притворяются, что ли, они дураками, чтоб угодить власть имущим, или в самом деле дураки? Так у него на всю жизнь и осталось: он сразу терялся, глупел, мысли разбегались - и Омар смущенно умолкал, когда при нем начинали изрекать с умным видом нечто прописное, само собою понятное. Или, что хуже, утверждать заведомую чепуху.

Поневоле тут скажешь:

О мудрец! Если тот или этот дурак

Называет рассветом полуночный мрак,-

Притворись дураком и не спорь с дураками:

Каждый, кто не дурак,- вольнодумец и враг.

И вообще он никогда не отличался многословием. Кто пытлив, тот не болтлив. Шейх Назир как-то сказал:

- Я молчалив от природной застенчивости. Ты, наверное, тоже. И молчаливость эту усугубляет у нас обстоятельство: нам не хватает быстроты, остроты и находчивости иных

завязтых краснобаев,- прежде чем слово сказать, мы должны его не спеша, основательно обдумать.

- Да, я тугодум,- вздохнул Омар.

- То есть, по своему душевному складу ты писатель, а не вития.

...Упорное молчание Хайяма на сборищах богословов насторожило недоверчивых старцев. И поспешный отъезд шейха Назира оставил тень на его ученике. И к тому же напрасно Омар полагал, что никто не знает, чем занимались, о чем говорили они с наставником. Кто-то когда-то их случайно услышал (или, скорее, подслушал) и теперь счел важнейшим долгом своим донести на него; с переменной состава учителей изменились ученики: одни разбежались, другие, оставшись, воспылали почтением к истинной вере. Им уже не до тайных пирушек.

С ним перестали разговаривать, отвечать на его приветствия. И кончилось тем, что однажды в сумерках мимо его головы пролетел тяжелый кирпич,- мелькнул, ударился об ограду и разбился на куски. Чуть бы еще... и на куски разлетелась голова Хайяма.

Омара вызвали к старшему шейху-наставнику.

- Не обременяет ли, сын мой, тебя пребывание в стенах медресе?- мягко спросил почтенный богослов.- Да, тебя? Пребывание? В стенах медресе?

- Разве я плохо справляюсь с делом?- встрепенулся молодой учитель.

- Юноша ты способный. Да, способный. Много знаешь. Много. Но пусть человек ничего не умеет, не знает и не хочет знать - это не грех. Не грех. Ты же сбиваешь с толку детей, сообщая им начатки естествознания. Это грех. Учи их корану: он ниспослан в объяснение всех вещей. Пусть человек не нарушает обычаев. Пусть он живет тихо, благопристойно, как все. Как все! Ничего не ищет и не теряет.

- Но тогда,- обозлился Омар,- почему вы именуете его человеком? Это слизень. Однако даже слизень куда-то ползет, чего-то ищет.

- Вижу, ты здесь не к месту,- сухо сказал богослов. Конечно, не к месту! Хватит искушать судьбу. Пора собираться в дорогу. В любой день любой правоверный хам может ударом кирпича погасить звездный мир в твоей голове. Убьет и не дрогнет, не пожалеет! Наоборот. Будет считать, что совершил богоугодный подвиг. Только потому, что ты на него не похож. Потому, что ты, со всей своей необычностью, никак не укладываешься в его узком цыплячем мозгу.

- Одумайся...

Старик-богослов с обычной отеческой мягкостью,- как будто не по его наущению сельджуки истребили в медресе ученых,- взялся было увещать заблудшего, дабы вернуть беднягу на путь истинной веры.

Но Омар даже слушать его не стал. Ярость трясла молодого поэта! В голове шумит, во рту пересохло, и совсем он забыл про такую вещь, как осторожность.

- К чему весь этот разговор! О люди! Не спросясь меня, меня зачали и произвели на белый свет. И, не спросясь, пичкают нынче всякой премудростью. Ну, ладно, в детстве, положим, меня надлежало учить читать, писать и считать. Но я уже взрослый! Теперь-то я уже сам умею видеть, понимать - и мыслить. Коран - в объяснение всех вещей... Хе! Попробуйте решить с его помощью хоть одно уравнение третьей степени. Нет уж! Я честно служил "истинной вере"- пока не узнал, что она ничего не может мне дать, ни уму моему, ни сердцу.

- Но, кроме ума и сердца...

- Есть желудок? Я о нем не забочусь. Брюхо, конечно, очень важный орган. Но сердце - выше брюха, пощупайте слева, а выше сердца - голова. Прощайте. И знайте: я и без ваших мектебов и медресе одолел бы арабскую азбуку, а нет, придумал бы свою.- Омар поклонился, повернулся и двинулся к выходу.

- Ах, невоздержан ты на язык, невоздержан,- вздохнул сокрушенно настоятель.- Так легко в наш век навлечь на себя ненависть тех, кто выше нас, и так нелегко заслужить их любовь.
- Обойдусь!- резко сказал Омар у порога.
- Гаденыш! Я хотел тебе добра. Погибнешь, ах, погибнешь.
- Как можно, сидя на краю могилы и болтая в ней обеими ножками, пророчить чью-то гибель? Хлопочите о себе, почтенный шейх. Вы идите своим путем - я пойду своим.
- Изыди и сгинь,- проворчал ему вслед обескураженный вероучитель.

Ночь. Это кто, внезапно спугнув тишину, гремит у входа в мастерскую? Ночью орудуют воры. Но воры, делая свое дело, стараются шуметь как можно меньше. Это стража. Это миршаб, владыка ночи, с подручными.

Они, точно так же, как воры, боятся действовать днем. Они не могут, как люди, спокойно постучать в калитку. Им надо ее сломать. Конечно, таким детинам нетрудно сломать ветхую калитку мирного дома, принадлежащего их земляку. Вот защитить в свое время от чужаков мощные, в железных бляхах-заклепках, ворота родного города они не сумели.

Их встретила мать.

- Где твой безбожный сын?- накинулся на женщину "владыка ночи".
- Уехал.
- Куда?
- В Баге-Санг.
- Это где?
- У Астрабада, в горах.
- Успел-таки удрать? Ну, пусть и сидит там тихо, как мышь, не суется назад в Нишапур. Он, скверный, надерзил святому шейху и посему объявлен вне закона.
- Женщина лжет,- заявил один из подручных.- Мы следили: сын ее, как вернулся из медресе, не выходил из дому.
- Значит, он здесь! Переройте всю мастерскую. Рубите мечами тюки, отсечете руку или ногу - сразу голос подаст.

Ибрахим тихо скользнул через внутреннюю калитку в жилой двор, попросил разбудить Рысбека.

- В мастерскую вломилась ночная стража. Кого-то ищут. Потрошат готовый товар. Господин иктадар может потерпеть большой убыток.

Убыток? Рысбек всполошил боевую дружину. Не успели собаки залаять, как незадачливых стражников, избитых в кровь, искалеченных, не слушая их объяснений, туркмены выкинули на улицу.

- Хоть какая-то польза от нечестивцев,- шепнул дрожащий палаточник сыну, спрятавшемуся среди тюков в глубине рабочих помещений.

На рассвете, обрядив Омара в материнскую чадру, Ибрахим украдкой отвел его в караван-сарай у Балхских ворот.

"Итак, вы ненавидите нас? Хорошо же!- Омар скрипнул зубами.- Не надейтесь, что мы совсем безобидны,- умеем тоже ненавидеть. И наша ненависть стократ страшнее! Где уж вам, скудоумным, тягаться с нами. Талант, обращенный к мести, может измыслить такую каверзу, что заклемит вас на веки вечные. Погодите, я вам отплачу. За все - и за всех. Как и чем, я еще не знаю, но досадить сумею, не сомневайтесь..."

Но, может быть, они достойны скорей сожаления, чем вражды?- сказал он себе, стараясь быть беспристрастным.- Невежество - от рабства.

Эх! В том-то и дело, что самое жуткое в рабстве - не цепь, а то, что раб настолько свыкается с нею, что уже жить не может без нее. И ничего иного не хочет. Отбери у быка-дурака кормушку - он своим яростно-жалобным ревом оглушит всю округу. И невдомек несчастному: чем больше он будет жрать, тем больше будет жиреть - и скорей попадет под нож.

Извечная опора великой черной силе, именуемой ненасытной человеческой жадностью, и обдуманно, неустанно угнетающей вольную мысль с тех пор, как она появилась,- благонамеренный, послушный закону, так сказать, "порядочный" человек: с тем, кто выше,- тошнотворно-угодливый, с тем, кто ниже,- тупо-нахрапистый, злобный, скупой, стяжатель.

Отца родного готов он по миру пустить, глотка воды не даст он в засуху соседу - и учит его, как надо жить. Ну их всех к черту! Пусть от холеры вымрут. И вымрут, видит бог, поголовно, если не вылезут из своих зловонных луж и не окунутся в проточную чистую воду".

...Он думал, что больше никогда никому не улыбнется. Но ошибся, конечно: ему довелось еще улыбаться, смеяться и хохотать. Жизнь берет свое.

Ибрахим дал сыну денег на дорогу, присовокупив к ним родительские наставления, причем наставлений - куда больше, чем денег: "Береги монету пуще глаза! Где нужно израсходовать дирхем, трать всего полдирхема".

Загремел барабан, завопила труба, сзывая отъезжающих, и Омар, в слезах расплывшись с родными, отправился с мервским караваном в далекий неведомый путь.

- Дум, дум, дум!- задумчиво и печально бьется впереди на гордой шее головного верблюда из сильной породы - нар большой медный колокол. Он так и называется - дум-дум.

- Лук-лак, лак-лук!- бездушно брякает колокол поменьше, да еще испорченный, на груди замыкающего верблюда из менее сильной породы - лук.

А между ними, по всему каравану, разноголосо заливаются колокольчики и бубенцы на тяжело навьюченных рабочих животных, одnogорбых и двугорбых. Длинная редкая цепь каравана состоит из отдельных звеньев по тричетыре верблюда, на каждое звено приходится один погонщик. Между звеньями - охрана на лошадях, путники в скрипучих повозках.

Нестройный, далеко разносящийся звон веселит привычных к нему погонщиков. Но Омару от него не по себе,- как от похоронного перезвона христианских греческих церквей,- их было еще немало в Хорасане.

Он, конечно, не может не думать о стране, где ему предстоит теперь жить.

Судьба Заречья (Мавераннахра) неотделима от судьбы Хорасана. Оба входили когда-то в государство Ахеменидов, древних персидских владык, и наравне подверглись нашествию краснолицего Искандера,- любителя выпить, царя столь же буйного, сколь и ученого. Много столетий спустя они подпали под власть мусульманских завоевателей, после вошли в состав блестящей державы саманидов, бухарских правителей. Саманиды перестали подчиняться халифату и зажили самостоятельной жизнью.

Затем появились тюрки. Правда, и раньше, уже давно, они мало-помалу, капля за каплей, струйка за струйкой, проникая из дальних восточных степей, оседали здесь. Но теперь они хлынули мощной волной.

Помнит Омар, старики пожимали плечами: откуда берутся все эти новые ханы, султаны? Какое имеют они отношение к Ирану и Турану? Кто их тут знал? Кто их звал, кто их здесь избирал? Бог весть. И еще изволь их почитать...

А было так. Великий мракобес, халиф правоверных, не примирившись с утратой богатейших восточных областей, Хорасана и Заречья, подстрекнул степных тюркских ханов, совсем недавно обращенных в ислам, к походу в защиту правой веры от извечного туранско-иранского свободомыслия. Было спешно придумано "изречение пророка":- "У меня на востоке есть войско, называемое тюрками; когда я разгневан на какой-либо народ, я насылаю их на него". А тем только того и надо - они сами давно уже зарились на хлеб и мед солнечных южных долин.

Что ж, правую веру они защитили успешно, истребив повсеместно ученых. Тогда-то и прогремел свирепый тюрк Махмуд Газнийский. Но и самой правой вере туго пришлось от ее защитников. Султан Тогрулбек, внук Сельджука, родового старейшины из туркмен, продвигаясь на запад, осадил Багдад, и перепуганный халиф покорился ему. Получилось как раз по тюркской пословице: обозлившись на блох, кинуть в огонь шубу.

Но если Хорасан, после злого Махмуда, захватили сельджуки-туркмены, то в Заречье переселились тюрки иных кочевых племен - караханиды. И, конечно, между теми и другими разгорелась вражда, которую не мог остудить даже разделяющий их владения полноводный Джейхун.

Омару было пятнадцать лет, когда умер султан Тогрулбек и его заменил Алп-Арслан. В Заречье правит ныне караханид Шамс аль-Мульк Наср. По слухам, он еще не утратил кочевых привычек, бродит в степях и лишь зиму проводит под Бухарой, в загородном жилье. Говорят, хан строго следит за тем, чтобы воины его не оставались на ночь в Бухаре, так как опасается за их поведение. И к тому же, он - строитель, возводит в столице много новых зданий.

Уразумел, надо думать, что, беспрестанно разоряя землю, прочной державы на ней не создать. Все это весьма отраднo. Будем надеяться, не снесут нам голову за то, что она набита звездами и числами. Впрочем, посмотрим...

Горячий ветер дремотно гудит в проломах стен, слабо взметает золу давно погасших очагов. Он продувает насквозь треснувшую полуо былинку, и она тихо, надсадно, с неясной грустью сопит на оползшей глинобитной ограде. В пыльной листве умирающих чахлах деревьев робко свищет одинокая пичуга. На дне сухого канала вздрагивают и чуть сдвигаются, пересыпаясь, извилистые полосы мелкого песка.

Здесь было когда-то селение. Здесь когда-то звучал чей-то смех, чей-то плач, чей-то страстный шепот и стон. Под ногою Омара хрустнул блестящий синий черепок. Люди, которые жили в этих домах, понимали, видать, красоту: иначе они не обливали бы чаши глазурью, не расписывали стены яркими цветами. Странно и дико смотреть на эти открытые солнцу и ветру нарядные стены в глубоких трещинах,- все равно, что в нутро пригожей женщины, выпотрошенное безумным убийцей.

Все кажется, что улыбка той женщины, обещающе-добрая, ясная, еще витает в проемах распавшихся ворот, в провалах крыш, в пустых нишах.

Следы змей, черепак. Череп, другой. Кости, полузасыпанные летучей пылью. Со временем они совсем истлеют, рассыплются в прах и смешаются с песком и глиной. Развалины оплывут, раскисая от зимних дождей, и на месте селения образуется пологий, плотно слежавшийся бугор.

Глину для посуды гончары берут из таких старых бугров. И никто не будет знать, что пьет, может быть, вино из чаши, слепленной из черепа трезвейшего книжника или тазовых костей юной селянки-девушечки, погибшей когда-то от стрелы сельджука или иного конного воина...

Как громом пораженный, стоял Омар среди руин, обожженных солнцем. Сколько подобных развалин на всей земле и сколько валяется в них пустых человеческих черепов! Во имя чего?! Конечно, во имя истинной веры. Истины. То есть правды. Н-да-а. Дороговато она обходится бедному человечеству.

- Эй!- окликнул Омара вожатый каравана.- Иди сюда. Не броди среди развалин. Или ты хочешь, чтоб тебя уволок злой дух пустыни, гуль-людоед?

- Гулям нечего делать здесь после тех, кто побывал до них,- усмехнулся печальный Омар.

- Ну! Развалины для них - излюбленное место. Тут их уйма.

"Выходит, сражаясь за правую веру, ее поборники лишь расплодили гнусных оборотней, всякую нечисть",- подумал Омар с омерзением.

- Значит, скоро конец человеку! Гулей больше, чем людей. И люди нынче не лучше гулей.

- Это почему же?

- Едем, едем - всюду развалины...

- Молись богу, несмышлениш!

...Три хорасанца поселились вместе. Они рассчитали расход на лампу и договорились содержать ее в складчину, но один почему-то вдруг отказался вносить свою долю за масло. Тогда, зажигая лампу, двое стали затягивать ему глаза платком. И не снимали повязки до тех пор, пока не ложились спать, погасив светильник.

В пути Омару не раз довелось вспомнить эту историю, рассказанную Амром Аль-Джахизом в книге "Китаб аль-бухала", где араб из Басры потешается над знаменитой хорасанской скупостью.

На стоянках путники ели каждый отдельно,- что, конечно, немисливо для арабов и тюрок,- никого не угощая и ни у кого не угощаясь. В том числе и сосед Омара по повозке, приставший к каравану в горах. Руки его дрожали, когда он развязывал котомку, и поглядывал он на юношу искоса, с опаской, мрачный, бледный, недоверчивый, словно боясь, что Омар внезапно выхватит котомку - и бесследно сгинет в знойной пустыне.

Нет, Омар не притязал на его мясо и хлеб, на жареных кур, колбасу и рыбу! Он терпеливо грыз свои сухие ячменные хлебцы и запивал их солоноватой водой из колодцев.

Но попутчика что-то продолжало тревожить.

- Знаешь что,- сердито сказал он ему у Серакса.- Или ты отворачивайся, когда я ем, или плати три фельса.

- За что?

- За запах! За то, что смотришь!

Омар поглядел ему в темные злые глаза. Шутит? Нет! Всерьез говорит.

- Ну и ну,- удивился Омар.- Ты, наверно, из Мерва, города известных скряг? У нас в Нишапуре таких нету.

- А, ты из Нишапура?- оживился попутчик. И с ходу:- Почем у вас воз репы?

- Воз репы?- Омар растерялся. Вот уж не приходилось ему никогда покупать репу, да еще возами.- Не знаю.

- Хм... А корзина винограда?

- Э-э... тоже не знаю.

- Та-ак. А мера ячменного зерна?

- Не знаю.

- А гранаты?

- Не знаю!

- Хурма?

- Не знаю!!!

- Соль?!

- Не знаю!!! И чего ты пристал ко мне, о назойливейший из назойливых?- И Омар не преминул дать ему по шее,- это у него не задерживалось.

Попутчик, лихорадочно дрожа, схватил свою тяжелую котомку и побежал, спотыкаясь, к старику - вожатому каравана.

- Горе нам! Горе!

- Что случилось?- побелел вожатый.

- В караван затесался чужой человек.

- Кто такой?- Старик сразу охрип от волнения.

- Тот парень, с которым я вместе еду. Говорит, из Нишапура, а сам совсем не знает тамошних цен.

- А,- успокоился вожатый.- Ну, и что?

- По-моему, он вор. Или, скорее всего, вражеский лазутчик. Откуда-нибудь из Чина, даже из Рума.

- Не болтай, что попало,- одернул его караванщик.- Он и вправду нишапурский. Я знаю его отца. Человек известный, уважаемый.

- Разве? Хм,- скис бдительный путник. Но не так-то легко, видать, ему было отказаться от доброй затеи - изловить опасного преступника и, быть может, получить за то награду. Подумав,- он думал, что способен думать,- путник воскликнул:- Нишапурский? Ложь!

- Говорю: я его знаю.

- Ты тоже врешь! Ты укрыватель. Как это так: человек живет в Нишапуре - и ведать не ведает тамошних цен?

- А почему он должен их ведать, ты, олух?- разъярился старый вожатый.- Он что, базарный завсегдатай? Он книжник. Нашел, у кого о чем спросить. Сколько в небе звезд, он тебе сказал бы. Но откуда знать ему, бедняге, сколько стоит репа, лук, морковь? И всякая прочая петрушка? Иди отсюда.

- Все равно просто так это вам не пройдет,- проворчал обличитель через плечо, втянув голову-тыкву.- Прибудем в Мера, донесу кому следует.

- О человеке! Оставь нас в покое. Или я велю избить тебя палкой и бросить в колючих зарослях...

Вожатый знал: Омар не преступник. Но знал он и то, что юноше нужно скорее убраться из сельджукских владений. Потому, на подступах к Мерву, старик подсунул его беспокойному спутнику трубку с индийским зельем, и тот, обкурившись, как бродячий монах, забыл об Омаре.

Сердечно простившись с вожатым, передав через него привет родным и благополучно присоединившись к бухарскому каравану, Омар смиренно обратился к новым попутчикам:

- О мусульмане! Говорю сразу: еду из Нишапура в Самарканд. Мне двадцать два года. Я холостой. Я знаю счет и астрологию. Но, заклинаю вас именем пророка,- не спрашивайте меня, почем в Нишапуре яйца, репа, горох. Сообщаю заранее: я не знаю. Не знаю, и все тут! Не покупал, не продавал. Но, если хотите: воз репы и даже воз серебра стоит у нас всего один медный фельс. Довольны? Да будет веселым и безопасным ваш путь!

И - про себя, злорадно: "Весь мелкий торговый люд хлынет теперь в Хорасан - покупать баснословно дешевое серебро. Или распустит слух о том по всему Турану. И кто-нибудь да поедет, стремясь легко разбогатеть на чепухе. Богатейте, дурачье, богатейте".

Но шутка все же сослужила службу. К нему больше не приставали с расспросами о ценах. Зато всю дорогу пришлось гадать для спутников по звездам. И надо же было брякнуть! Но, слава богу, они хоть кормили его за это,- у Омара уже почти совсем не оставалось денег. Все ушло в уплату за проезд.

Да, Омару уже 22, финикийскому алфавиту - 2350. Аристарх умер 1300 лет назад. Александрийская библиотека сгорела 182 года спустя после него. До Коперника - 403 года. Джордано Бруно сожгут на костре через 530 лет.

- Саксаул? - сказал проводник каравана неуверенно.

- Да, пожалуй. Два старых сухих ствола сплелись. А мелкие ветки обломало ветром. Взгляни, отсюда напоминает голую женщину. Бывают же на свете чудеса...

Это случилось на пути от Мерва к Джейхуну - Амударье. Место, можно сказать, одно из самых гиблых в Туране. А перешел Омар в голову каравана затем, чтоб расспросить проводника о Бухаре. И увидел, шагая рядом с вожатым, который спокойно и не спеша ехал на ослике,- впереди, справа от караванной тропы, на вершине песчаного бугра маячит темная фигура, похожая на человеческую.

- Может, это - древний идол дикарский?- удивился Омар.- Здесь, в голых песках. Где никогда не было поселений...- Утопая в сыпучем песке, он полез на бугор, чтобы лучше разглядеть пустынный феномен.

Ну до чего же похожа черная коряга на маленькую нагую женщину. Будто, закрыв глаза и склонив голову, она, замирая, слушает медный звон каравана. Даже волосы есть у нее, густые, пышные,- видно, какой-то суеверный проезжий набросил на корягу овечью шкуру. Это делается. Всегда кусты у дорог увешаны всякой всячиной. Дар местным духам...

И тут у Омара, как это было на Фирузгондской дороге, в голове зашумело, ноги затряслись. К горлу из груди подкатился и перекрыл дыхание тяжелый черный камень. Коряга... вздохнула, переступила с ноги на ногу - и открыла глаза. И увидел Омар, что вовсе это не коряга, стоящая торчком, а именно женщина: нагая маленькая женщина.

- Ты... кто?- ошеломленный, не зная, что сказать, спросил Омар по-персидски. Он чуть не упал от неожиданности.

Охалка блестящих черных вьющихся волос спадающих на брови, на бронзовые плечи, и небольшие, с детский кулачок, бронзовые груди с черно-красными, как спелые вишни, сосками. Кончик узкого носа чуть приподнят. Верхняя губа, в черных жестких волосках, чуть выступает над полувтянутой нижней, как-то улыбочиво, мило.

И никакого ответа в огромных, длинных, ослепительно ярких синих глазах. Как в двух дождевых крупных каплях, что сорвались где-то с нездешних туч и, вобрав в звенящем полете всю небесную синь, упали, брызнув ресницами, на медный лик языческой богини.

- Кто ты?- повторил Омар по-арабски. Ему казалось, он сходит с ума. Не прошли, наверное, даром все тревоги в треклятом Нишапуре. Но, скорей всего, это боль по Ферузэ.

Она, явно не понимая, вновь переступила с ноги на ногу. Длинные стройные голени густо, но коротко, как у ослицы, покрыты черной шерстью. И вся она волосата: шерсть на плотных ладных бедрах, в паху, на небольшом округлом животе, в ложбинке меж грудей, на опасливо вскинутых руках. И все же она прекрасна, как богиняохотница древней Эллады. Знойный ветер принес к нему горький запах высушенного пота, душной пещеры - и соленый запах огромных безлюдных пространств. Запах первобытной жизни.

- Ты кто?- вновь сказал он, теперь по-тюркски, и невольно протянул к ней руку. Иначе он не мог. Так его влекло к ней.

В коротком испуганном взгляде он уловил крохотную искру любопытства к себе. Женщина хрипло вскрикнула, ощерив острые клыки,- мгновенно повернулась и метнулась вниз, прочь.

Необыкновенные густые и длинные, как лошадиный хвост, ее волосы, мотаясь, хлестали на бегу по заросшей редкой шерстью узкой и гибкой спине. И странно: на рыхлом, перевитом ветрами песке почти не оставалось следов - так, лишь легкие прикосновения как бы на лету; хотя ступни у пустынного дива были, как у десятилетней девочки,- вовсе не верблюжьим широким лапам, приспособленным шагать, не утопая, по песку.

- Ни на каком аргамаче теперь не нагонишь,- сказал погонщик из заречных тюрков, видать, бывалый человек.

- Она... примерещилась мне?- пробормотал потерянно Омар, когда видение исчезло на юге, за гребнем далекого бархана.

- Не примерещилась. Я тоже видел, и все. Это "нас-нас", попадаетея очень редко. Пустынная дикая женщина. Слышал?

- Слышал. Но думал - сказка.

- Ну, теперь ты увидел своими глазами. Ты, братец, постарайся о ней забыть. Не то всю жизнь преследовать будет.

Легко сказать: постарайся забыть! Если б человек мог распоряжаться чувствами и впечатлениями, как предметами одежды: захотел - надел, захотел - снял...

Где они обитают, эти существа, так поразительно похожие на человеческих женщин? В пещерах по склонам сухих оврагов, каких немало в пустыне? Или она забрела из обильных ручьями фисташковых рощ Бадхыза? Если идти отсюда прямо на юг, через сколько-то дней выйдешь к его благодатным зеленым холмам.

Сколько загадок таится в пустыне. И вообще на земле. Омар много раз слышал о диких людях, живущих где-то в холодных горах и душных влажных лесах. Но и думать не думал, что встретит волосатую дикую женщину, едва покинув шумный ухоженный город.

Она еще не человек - по разуму, и не совсем - по облику, но уже и не дикий зверь. Ее выманил из песков певучий колокольный звон. Или алое, с бахромой, покрывало на ведущем, без груза, верблюде - наре, ярко-желтая кисть на его недоуздке. Значит, что-то способно отозваться в темной душе на эту певучесть и яркость.

Вот, должно быть, откуда берутся легенды о пери дивной красоты, что ждут проезжих в глухих пустынных местах.

Почему же она убежала? Он хоть сейчас ушел бы с нею к ее роду. И жил бы с ними, как зверь, ночуя в пещерах и питаясь черепаками и кислыми горными плодами. Пусть они не знают огня и пахучи, как джейраны. Зато у них нет, конечно, ничтожных деляг, для которых цена на горох и репу в тысячу раз важнее, чем цена человеческой жизни. И тупых законников и ревнителей правой веры, снаружи чистых и гладких, зато обросших шерстью изнутри...

Мечта? Это не женщина из переулка, примыкающего к базару. Которую можно потрогать, прицениться к ней и купить. Не одну, так другую. Если располагаешь нужной суммой. Она, промелькнув раз в жизни и полыхнув синей молнией в мозгу и сердце, вдруг исчезает - чаще всего безвозвратно. Понятно, что она необыкновенна. Ее трудно объяснить. Она не имеет прикладного значения. Зато, может быть, определяет все, что будет дальше.

И впрямь Омар захворал. Он умолк до самой Бухары. И Бухару не пошел смотреть, когда караван, переправившись через Джейхун, добрался до нее, благословенной. Он лежал в караван-сараях на тощей подстилке и заклинал:

- Кто ты? Где ты? Отзовись!

Время и расстояние. По воздействию на человека они сходны. Время лечит горе, притупляет в памяти пережитое - расстояние тоже. Лишь несколько дней назад ты находился среди других людей, жил другой, старой жизнью, а сегодня - ты сам уже другой. И все, что было, было как будто во сне. Примерешилось. Зато впереди - весь белый свет.

Видать, что-то есть в той извечной тревоге, в щемящем том беспокойстве, которое гонит степной кочевой народ по земле. Вперед! Не оглядывайся. Как заманчиво, как странно звучат слова: уйти - и не вернуться. Он уехал. Мы больше не увидим его никогда...

Никогда!

Вдалеке, в синей дымке, как исполинское судно, разрезающее отвесным носом голубовато-зеленые волны, вставал Самарканд, как бы плывущий через море кудрявых роц и садов, тучных полей.

Уплатив у ворот медную монету, Омар с караваном попал на базар. Именно здесь он найдет судью Абу-Тахира. Самарканд побольше Нишапура, многолюднее. Оголтелый гвалт городской, оглушив, придавил Омара к земле. Сколько тут чужого, пришлого народа. Греки. Евреи. Армяне. Цыгане. Откуда их занесло? Эх, судьба! У него - двоякое чувство: и радость оттого, что попал в этот славный город, и страх перед неведомым, темным, что еще предстоит испытать.

И тут же - тоска, внезапно ожегшая грудь изнутри. По дому родному, далеким родным - и, конечно, по навсегда утраченной Ферузэ. Или - по дикой женщине? Которую он прозвал, вместо неблагозвучной "нас-нас", - Занге-Сахро, Колокольчиком пустыни.

Надоело тебе повседневно-привычное, ты устал от отвратно-знакомых лиц - попробуй удрать на край света: узнаешь, каково без них. Похоже, есть в человеке что-то такое, чего не могут заглушить ни время, ни расстояние.

Омар не спешил расспросить прохожих, где живет АбуТахир Алак. Он не смел. Как он появится, грязный с дороги, в бедной одежде, перед главным судьей? Надо в баню, что ли, прежде зайти. И Омар потащился в баню, разглядев издалика дым над низкими куполами. Но дойти до нее ему не довелось. Застрял у книжных рядов. Сколько книг, боже мой! Эх, будь он богат...

- "Книга исцеления",- услышал приезжий голос торговца.- Есть "Книга исцеления", великий научный труд несравненного Абу-Али ибн Сины.- Продавец говорил негромко, с оглядкой,- не такой был человек ибн Сина, чтоб кричать о нем на весь базар.

У лавки тотчас скопилась кучка людей - спокойных, с умными глазами, в небогатой, но чистой одежде. Книгочеи.

- "Книга исцеления"...

- Исцеления чего?- спросил веселый толстячок, явно чужой среди них.

- Души от ложных представлений,- сухо ответил высокий худой человек.- Вовсе не брюха, раздутого от обжорства. Брюхо болит - читай "канон врачевания".

- А! Брюхо не болит, а душа - болит. Ей как раз не хватает духовного лекарства.- И продавцу:- Сколько?

- Я оценил ее в три дирхема. Кто даст больше? Только - тихо, братья. Мухтасиб, неумолимый блюститель нравов, бродит по базару.

"И здесь на Абу-Али запрет?- огорчился молодой Хайям.- Если человека за ум преследуют на родине, то что же оно такое - родина?"

Он знал, конечно, что ибн Сина - из Бухары, но ведь Самарканд с нею - в одной стране.

- Даю три с половиной,- предложил один из толпы.

- Четыре дирхема,- накинул другой.

Омар потускнел. У него оставалось четыре даника, то есть всего две трети дирхема. С такими деньгами и думать нечего книгу купить. Обидно, хоть плачь.

- Кто больше?

Заминка. Четыре дирхема - и то уже крупные деньги. На них можно безбедно прожить столько же дней. Пожалуй, никто больше не даст.

- Четыре дирхема - раз; четыре дирхема - два; четыре дирхема...

- Пять!

- Продано!- объявил торговец.

Зависть и возмущение. Низенький толстый человечек в рваном халате, босой,- тот самый, душе которого спешно потребовалось духовное лекарство, горделиво выпятив круглую губу, завернул тяжелую книгу в большой алый платок и пошел, задрвав нос и переваливаясь, через толпу огорченных соперников. Неудачники, скрепя сердце, почтительно расступились. Человек, способный покупать дорогие книги, важный, видать, человек. Хоть он и в рваном халате. Наверно, скупой ростовщик, которому жалко тратиться на одежду и обувь.

Проходя мимо Омара, стоявшего позади всех, удачливый покупатель заметил слезы на его глазах - и снисходительно усмехнулся. Омар, расстроенный, поплелся прочь, совсем забыв о бане.

Ах, будь он богат... Но богач, как водится, явно без толку тратит огромные деньги: на еду обильную, одежду, ковры, дорогую посуду и равнодушно проходит мимо книг. Зачем они ему? Бедняку тоже не до книг: набить бы живот чем-нибудь. Кто же тогда покупает книги? Ученые да голодные школяры, которым тем паче негде взять пять дирхемов? Что же, выходит - люди зря пишут книги? Напрасный труд?

Несчастный писатель! Сутулясь над бумагой с утра до вечера, наживая горб, слепоту, работая до грома в ушах, до боли во всех суставах,- будто бревна весь день таскал,- он, чудак, наверное, думает перевернуть своей книгой весь мир. Она же, никому не нужная, а кому нужна - недоступная, валяется на базаре, пылясь на циновках книжных рядов.

Обычно книгу, надеясь на награду, посвящают видному лицу: хану, шаху, правителю округа. Но куда легче книгу написать, чем пристроить ее! Фердоуси, отдавший двадцать пять трудных лет великой "Шахнамэ", так долго ждал признания, что, когда караван с царскими дарами уже входил в Туе через одни ворота, то из других как раз выносили тело поэта, дабы предать его земле...

Лучше быть хлебопеком. По крайней мере, с голоду не умрешь. Кто и зачем придумал грамоту? От нее - только беда, и прежде всего - самому грамотею.

Тот, кто следует разуму,- доит быка,

Умник будет в убытке наверняка!

В наше время доходней валять дурака,

Ибо разум сегодня в цене чеснока. - Эй, друг!- окликнул кто-то Омара. Оглянулся: тот самый толстяк, что перехватил заветную книгу. Улыбается, сукин сын.- Тебе, я вижу, очень хотелось купить эту книгу?-добродушно спросил человечек.

- Да. Сколько лет мечтаю. Не попадалась.

- Ну и возьми ее!- Толстяк протянул ему узел.

- Что ты?! У меня всего четыре даника.

- Давай их сюда! Хватит поесть. Я с утра голодный. А книгу положи себе в котомку.

Омар изумился:

- Как же так?

- Уступаю книгу себе в убыток? А на что она мне?- Я... читать не умею.

- Читать не умеешь? Зачем же...

- Купил? Ты должен понять. Вот стоял ты сейчас у лавки, и никому на свете ты не нужен с твоими ничтожными медяками. И я, ничтожный, иду по базару, никому на свете ненужный, и вижу у книжного ряда важных ученых людей, которым наплевать на меня, потому что я неуч, дурак, а они умные. Стою и вижу: жмутся из-за лишнего дирхема. Ученые, а жмутся. Дай, думаю, нос им утру, удивлю раз в жизни сучьих детей. И удивил: выложил все свои пять дирхемов, что получил нынче утром от хозяина за пятнадцать дней работы. Крепко, а?- Он расхохотался, весьма довольный своей выходкой.- Если подумать, то глупо, конечно. Не по нас, нищих, подобное лихачество. Ну, ладно. Давай, друг, четыре даника. Пойдем в харчевню. Ты, видать, издалека приехал. И, конечно, голодный. Пойдем, я угощаю. Как тебя зовут?

- Омар.

- Умар?- повторил самаркандец на местный лад.- А я - Али Джафар. Я человек простой. Не смотри, что толстый. Сам не знаю, отчего толстею,- на сухих лепешках живу. Сегодня пятница. Хозяин отпустил погулять. Я слуга, дворник судьи судей Абу-Тахира.

- О?! К нему-то мне и надо попасть.

- Ух ты! Родич?

- Нет. Служить ему буду.

- Кем?

- Не знаю пока. Может, тоже подметалой.

- Пойдем, провожу.

Судья Абу-Тахир Алак, благообразный, дородный, прочтя письмо шейха Назира, одарил Омара приветливой улыбкой и приказал слуге Али Джафару:

- В баню сводить, переодеть в мое старое, хорошо накормить, спать уложить, болтовней не донимать! С тобою, сын мой, поговорим поутру,- сказал он Омару,- я сейчас тороплюсь. Денег нету, конечно? Вот десять дирхемов пока на расходы. Отдыхай.

Он удалился.

- Получай свои четыре дирхема и два даника,- доплатил Омар за книгу Али Джафару.

- Не надо!

- Бери, бери.

- Спасибо. Ты добрый парень.

Омару не по себе в чужом городе, среди чужих людей. Освеженный купанием, сытый, он все равно не может уснуть. И, хотя Али Джафару было приказано не надоедать гостю болтовней, они все-таки сошлись в каморке дворника - и разговорились.

- Какой человек Абу-Тахир?- спросил Омар. Надо же знать, в чьем доме придется жить, кому служить. Если придется, конечно.

- Какой? У него недаром прозвище - Алак, что поарабски значит... э-э... драгоценность, верно? Тебе это лучше знать. Ты учен. Он добр и щедр - не ругает, не бьет. Кормит, платит неплохо. Гулять отпускает. Как будто хороший.

- Что значит: как будто?

- А кто знает, какой он в самом деле? Какой он внутри? Что у него на душе, на уме? Разве можно судить о человеке по виду? Расскажу я тебе одну быль. От деда слышал,- он, хоть тоже читать не умел, знал такую уйму разных историй, что мог бы каждый вечер их рассказывать. И рассказывал. Устраивайся поудобнее. Слушай.

...Жил у нас в Самарканде простодушный, мечтательный, доверчивый юноша.

"Это вроде обо мне,- усмехнулся Омар.- Тоже, как ягненок, мечтателен, доверчив, простодушен".

- Вышел он на городскую площадь погулять перед закатом солнца, по холодку,- продолжал Али Джафар.- Мимо идет девица невиданной красоты. Оглянулась на него, задорно усмехнулась. Ну, и одурел наш друг. Поплелся следом за нею. Окликнул и говорит:

- "Откуда такая взялась в нашем уродливом городе? Нельзя ли провеси с тобою вечер, о красотка?" Она отвечает:

- "Почему же нельзя, если есть такое желание? Но я живу не здесь - я из селения за степью, у подножья холмов. Не боишься - приходи туда с наступлением темноты, буду ждать на дороге".

- Приду! - Она исчезла.

- Парень захватил с собою острый кинжал, взял денег - и побежал, распаленный, к восточным воротам, от которых идет дорога к тому селению. У ворот он столкнулся с давним приятелем, с кем учился когда-то в школе.

- Куда спешишь?- спрашивает приятель. Станный взгляд у него. Но юноша, ошалевший от любви, того не замечает:

- Удача, друг мой, удача! Спешу на свидание с прекрасной девушкой с холмов.

- Идем вместе. Я там живу.

- Вот хорошо! Идем.

Пришли к селению, видят - на дороге кто-то маячит.

Она!

"Рассказ длинноват,- подумал Омар снисходительно,- но точен и красочен. Ему бы, этому Али Джафару, к его ясному природному уму - да образованность! Настоящую, высокую образованность, какой, например, обладает шейх Назир. А не ту ущербную, ложную, которой кичится жалкий обыватель".

- И друга возьми с собой,- говорит девушка.- Найдется и для него утеха.

Небольшой глинобитный дом на отшибе. Здесь уже все готово: жаркое, сласти, вино. Девушка обнимает,- какие длинные острые ногти!- жарко целует гостя, и он совсем теряет голову.

- Ты пока отдыхай, пей вино,- говорит ему девушка, широкие бедра которой едва проходят в дверь, а талия столь тонка, что может уместиться в двух его сомкнутых ладонях,- а я сбегая за подругой.

Слава богу, у него был острый слух. Она шепчет в прихожей его приятелю:

- Постарайся, братец, крепко его напоить, снять кинжал. Вернусь с сестрицей - зарежем, попируем. Он свеж, хорошо упитан, мясо, наверное, очень вкусное, нежное!

Он услышал, как она облизнулась. Вот тебе на! Куда его занесло? Парень сразу отрезвел, вскочил, кинулся в прихожую, размахивая кинжалом.

- Куда ты?- кричит приятель каким-то чужим, изменившимся голосом.

- Милый, останься!- стонет красотка.

- Прочь!- Юноша выскочил в темноту и побежал на огонек в глубь селения, чтобы найти там пристанище. Видит, у одной калитки стоит приятного вида старуха с фонарем в руках.

- Что с тобою, сын мой?

- Спрячь меня скорее, мать!

Она поспешно завела его во двор, усадила на коврик под развесистой шелковицей. Кликнула старика. Несчастный рассказал им о своих приключениях.

- Глупый,- вздохнул старик жалеючи.- Эта девка - ведьма, гуль-людоед, и приятель твой - ее брат, тоже оборотень. Острый слух тебя спас. Ложись, отдыхай. Здесь никто тебя не тронет. Утром отведу домой.

Гость, успокоившись, задремал. И вдруг сквозь дремоту слышит их разговор на террасе:

- Не надо спешить. Спугнем. Пусть уснет покрепче, тогда и займемся. Нож готов?

- Ох, давно я не ела человечины.

Где уж тут спать! Он дождался, когда они уйдут в жилие, перелез через ограду - и бросился в степь. Нагоняет его на дороге всадник:

- От гулей бежишь? Проклятое селение! Я сам едва уве рнулся. Садись скорей на лошадь за моей спиной, довезу до городских ворот. Не дай бог, они всей гурьбою кинутся в погоню.

Горожанин, пообещав ему денег, уселся на лошадь. Всадник пустил ее вскачь, съехал с дороги - и во весь дух помчался по сухой степной траве к далекому костру.

- Куда везешь?- кричит испуганный парень.

- Молчи!- злобно шипит таинственный всадник и поворачивает к нему черное лицо с желтыми горящими глазами.- Удрать вздумал от нас? Нет уж, хочешь не хочешь, мы тебя этой ночью зажарим. Золото нам ни к чему.- И обхватывает его волосатой рукой...

И обратился юноша с тайной мыслью к богу: "Избавь от злого духа!"- и всадил свой кинжал черному всаднику в спину. Всадил и спрыгнул. Повалил зловонный дым, запахло серой. Конь и всадник с диким воем исчезли в ночной темноте.

Только к рассвету, усталый, истерзанный, с сокрушенным сердцем, достиг наш искатель приключений городских ворот. Оказалось, он поседел за эту ночь. Больше он не ходил на свидания с незнакомыми красивыми девицами. Каково, э?..

Омар не выносил рассказов о сверхъестественном. Немало он настрадался в детских снах от черных, мохнатых, красноротых чертей, лезших ночами в окна и двери. Они отравили ему радость детства. Может, именно из-за нелепых басен об адских муках и бесах и охладел он столь рано к так называемой истинной вере.

- Как жить на свете,- сказал Омар с дрожью в голосе,- если видеть во всех встречных: красивых девушках, приятелях, сердобольных соседях, путниках на дороге - людоедов-гулей?

- Во всех встречных не надо их видеть,- молвил Али Джафар.- Но остерегаться - надо. Следует помнить: один из десяти или даже из трех - непременно мерзкий оборотень, гуль-людоед.

- Ну, ты скажешь! Может, ты тоже - гуль?

- Я? Эх! Будь я гулем... знал бы, кого сожрать.

- Уж не меня ли?- проворчал кто-то в темноте у открытого входа.

- А, Юнус,- хмуро кивнул Али Джафар.- Входи, садись.

В каморку ввалился, сразу стеснив двух приятелей, усатый, широкий и плоский, точно надгробная плита, человек с желтым опухшим лицом, с висячими мешками под глазами. Похоже, наркоман, заядлый курильщик хашиша.

- Почему так поздно жжешь светильник,- хозяйского масла не жалко? Я доложу господину. А ты кто такой?- набросился он на Омара.

- Приезжий.

- Откуда? Почему здесь?

"Ну, началось,- с тоскою подумал Омар.- Почем в Нишапуре ослиные уши, почем в Нишапуре собачий хвост..." Нет, о ценах Юнус не стал его спрашивать. Его занимала личность самого Омара: как зовут, чей он сын, богат ли родитель, что знает приезжий, что умеет, зачем он прибыл в Самарканд.

- Если б сей муж,- с усмешкой сказал молодой нишапурец Али Джафару,- обратил все свое неисчерпаемое любопытство на приобретение полезных знаний, он стал бы самым ученым человеком в Мавераннахре.

- Может, ты совершил в Нишапуре какое-нибудь страшное преступление, из-за которого тебе пришлось бежать?-продолжал дознание подозрительный усач.

- Да,- вздохнул Омар.- Я напал в ночной темноте на юную дочь шейха медресе.

- И?

- И сделал над нею насилие. Но затем оказалось, что это был сам старый шейх...

- Чего ты привязался к человеку?- обозлился Али Джафар.- Оставь его в покое.

- Я должен все знать, чтоб доложить хозяину,- строго сказал Юнус.

- Ему без тебя все известно! Омар - гость судьи судей. И если он завтра пожалуется господину, тебе будет худо. Приказано: болтовней приезжего не донимать.

- Да?- смутился Юнус.- А мне... э-э... приказано содержать усадьбу в порядке. Ладно,- вздохнул усатый примирительно,- пусть приезжий даст мне дирхем, и я Уйду.

- Дирхем?- удивился Омар.- За что?

- Я - дворецкий. Тут все в моих руках.

"Дай",- тайком кивнул Али Джафар.

- Не дашь - житья тебе не будет в этом доме,- сказал он после.- Подлый человек. Тысячу каверз выдумать может. На каждом шагу станет тебе досаждать. Всех слуг держит в страхе. Деньги у нас вымогает. Я тоже давеча сунул ему дирхем. Тьфу!

"О боже!- подумал Омар сокрушенно.- Мне-то что до их убогих страстей? Чем дурацкий Юнус причастен к миру звезд и таинственных чисел, и чем я, со своими звездами и числами, причастен к пустяковой возне тупых людишек? Дадут мне заниматься тем, к чему лежит душа, что я умею, или так и затаянут в свое мерзкое болото?"

- Почему же Абу-Тахир, человек благородный, терпит в доме такого вонючего пса?- уныло сказал он Али Джафару.

- Э! Тому не до мелких домашних дрызг. У судьи судей много дел поважнее. И потом, Юнус хитер и осторожен. Это с нами, со мной и с тобой, он так грозен. Перед хозяином он совсем другой. Знаешь, как устроен подобный человек: на людях он старается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Это я, несчастный, всегда кажусь хуже, чем есть. Потому что подлаживаться не умею.

- И я,- кивнул Омар с печалью.- Всю жизнь меня принимают черт знает за кого. Неуклюж. Невезуч. Ходячее несчастье. Всю жизнь - без вины виноватый. Тягостно это.

- Ничего!- подбодрил его Али Джафар.- Будь всегда везде самим собой - и лучшего не надо.

"Просвещенный человек бесстрашен,- прочитал Омар при свече,- и как ему не быть таким?- Книга, которую он перекупил у Али Джафара, оказалась лишь частью многотомного труда Абу-Али, но частью, пожалуй, самой важной сейчас для Омара - о логике.- Смерти он не боится, он щедр и великодушен,- и как ему не быть таким? Он чужд показной дружбе и снисходителен к проступкам других,- и как ему не быть таким? И душою он столь высок, что его не коснутся никакие ущемления со стороны людей,- и как ему не быть таким?"

- Коснутся,- вздохнул Омар.- Еще как! Точно веткой с шипами - к открытой ране. Просвещенный человек, ко всему прочему, утончен и чувствителен, как никто другой, его легко обидеть,- и как ему не быть таким?

"Если передо мной закроют путь в науку,- сказал он себе,- уеду в Баге-Санг, к старику Мохамеду, растить гранаты, сеять ячмень..."

Едва сизый кречет рассвета вспугнул и погнал на запад черную галку ночи и следом взмахнул крылами яркий фазан зари, Абу-Тахир Алак призвал к себе Омара Хайяма. Он тепло приветствовал его на обширной террасе, устланной коврами, и пригласил к низкому столику с горячими лепешками, медом и свежим маслом.

Судя по разрезу глаз и выступающим скулам, хозяин - тюрк. Но, по всему видать, учен, прочно прижился в городе и хорошо говорит на дари, старом местном языке.

- Кто, что, зачем - расспрашивать не буду, в письме шейха Назира сказано все нужное. Один вопрос: чем, сын мой, ты хотел бы заняться у нас в Самарканде?

"Чем? О боже,- подумал Омар,- чем угодно, лишь бы с голоду не умереть в чужой стране. И заработать немного денег на обратную дорогу".

- Я мог бы... учить в мектебе малых детей. Или - быть письмоводителем. У меня хороший почерк.

- О?- Благолепный судья усмехнулся, и Омар покраснел. Неужто он замахнулся слишком широко, и его желание - неосуществимо, даже нелепо? Да, конечно, тут много своих грамотеев. Что ж, будем хоть двор подметать. Если дадут...

- Что ты сказал бы, сын мой, о человеке, который, имея могучего слона, заставил его таскать не гранитные глыбы, не тяжкие бревна, а по два, по три снопа сухой джугары? То есть делать ослиную работу? Но и осел поднимает больше.

- Сказал бы, что он... неразумен.

- Приглядишься же ко мне: похож я на человека неразумного?

- Нет.

- То-то! Я подразумевал не работу ради пропитания, а дело по душевной склонности. Скажи свою заветную мечту.

- Трактат!- встрепенулся Омар.- В математике накопилось много темного, спорного. Набросал кое-что в Нишапуре, но...

- Не дали закончить? Сын мой! Волна воинствующего невежества прокатилась и по этой земле. Но караханиды, в отличие от сельджуков, раньше спохватились. Уничтожить науку - все равно, что, выходя в далекий трудный путь, вырвать себе глаза. Ешь, сын мой.

- Я слушаю.

- Слушай и ешь! Итак, теперь мы благожелательны к ученым. Ибо доселе не избавились от тяжелых последствий тех темных лет. Мне приходится разбирать много сложнейших тяжб по делам имущественным, строительным, земельным. Разнуздалось зло, повсюду обман, хищения. Но мы ничего не можем с этим поделать, потому что запутались в числах. Чем и пользуются казнокрады. О, среди них есть такие пройдохи! Очень трудно их избличить, не имея перед глазами ясного, точного, емкого математического руководства. Но где его взять, такое руководство? Ешь, родной.

- Ем, спасибо.

- В наше время неподдельный ученый - большая редкость. И большая ценность. Его надо беречь, использовать по назначению. Так думает и хакан Шамс аль-Мульк.

Он сказал мне в прошлом году:

"Раз уж, по воле аллаха, мы овладели этой прекрасной страной, то должны удержать ее в своих руках. Для чего приспособиться к ней. К ее образу жизни, порядкам, обычаям. Здесь

живет народ древний, мудрый, умелый. У него много знаний. Нельзя быть ниже народа, которым правишь. Верно? Посему надо привлечь к себе местных ученых, учиться у них. Иначе нам тут не выжить. Они же без нас не пропадут. Им-то у нас учиться нечему. Овец пасти? Сами умеют. Разве что ратному делу? Это, пожалуй, единственное, чем мы можем похвастать".

Ну, тут, в последнем - да простится мне моя дерзость - он, конечно, неправ. Еще в орхонских и енисейских степях, при черной вере, у тюрков была своя письменность. Не чуждались они и высоких китайских достижений. И позже, в Семиречье, поселившись в городах, приобщились через христиан-несториан к науке греческой, сирийской и согдийской. Абу-Наср Фараби, великий мыслитель, был, между прочим, тюрком из Отрара.

Но теперь - мы здесь, и все дела, заботы наши - здесь.

В Баласагуне (город в Семиречье) есть у меня друг Юсуф Хас-хаджиб. Он, в назидание хану, написал книгу "Кудатку-билик". Закончил в прошлом году. Умный человек. Но не математик. Умная книга. Но не наставление по алгебре. Пиши свой трактат! Считаю, это мой заказ. Я преподнесу твою книгу славному нашему хакану. Ты будешь на время работы всем обеспечен и, завершив ее, достойно награжден. Согласен?

Бледный Омар пошевелил губами - и не сумел произнести ни слова. Так сдавило ему горло волнение.

...А говорили, у тюрков - много спеси и мало ума. Ум недалекий, ленивый. Все у них расплывчато, приблизительно, все вокруг да около. Какая чепуха! Народ толковый и понятливый. Переимчивый.

Ну, прежде всего, конечно, они воители. Били Китай. За Волгу ходили. Европу громили. На юге с Индией соприкоснулись. И никто их пока что не в силах одолеть. Крепкий народ! Усвоив точные знания, он далеко пойдет.

Единственное, что может их сломить (несуразность?) - то, в чем они, простодушные, видят сейчас свою мощь: правая вера. Она способна исподволь приглушить в их душе яркий огонь, как приглушила у персов, омрачить ясный ум, подавить деловитость, ввергнуть их надолго, на века, в тяжкую и мутную дремоту. Ведь по исламу жизнь человека и сам человек - ничто, а что может создать ничто?..

- Эй, Юнус!- негромко позвал Абу-Тахир. Дворецкий, видимо, ждал где-то здесь, за углом,- он сразу возник у ступенек, ведущих на террасу.

- Этот человек,- судья отвесил Омару легкий поклон,- мой почетный гость. Поручаю тебе всю заботу о нем. Отведи просторную комнату, выходящую окнами на террасу,- чтобы в ней было светло и прохладно. Поставь удобный столик, индийскую лучшую лампу. Ни в чем не отказывать! Слышишь? Ни в чем - ни в еде, ни в питье, ни в уходе. Не надоедай, ничем не досаждай. Следи за тишиною во дворе. Ясно?

Юнус - с готовностью:

- Вполне, господин. Будет сделано. Абу-Тахир оглядел Омара, надевшего вчера его поношенный халат.

- Вид у тебя... какой-то потерянный, сиротский. С детства запуган? Будь тверже! Ты должен быть одет сообразно с высоким званием ученого,- строго заметил судья.- Хорошо, добротное, но скромно, неброско. Как шейх. Вот, получай двести дирхемов,- в счет будущей награды за работу.- Он вручил Омару расшитый кошель.

Тусклые глаза Юнуса загорелись. Будто это ему чуть не перепало столько денег. Хозяин прогнал его движением бровей и, оставшись с Хайямом наедине, сказал проникновенно:

- Сын мой! Я человек добрый и щедрый, но не расточаю своих щедрот кому попало. Я не слюнявый благодетель. Ясно? Это - сделка. Прости за прямоту, но запомни: мне не нужен ты сам, как гость, как ученик моего давнего друга. У него было много учеников, все бездарный

народ,- я их знать не хочу. Мне нужна твоя голова. Вернее, то, что в ней. Нужна для успеха правителей, стоящих надо мною,- и, соответственно, для моего успеха. Потому-то я и забочусь о тебе. Ты должен отплатить мне честной и добросовестной службой. Дня три оглядись, послоняйся по Самарканду. Прогуляйся в квартал Гатфар, полюбуйся знаменитыми кипарисами,- они у нас хорошо растут, и затем - приступай к делу. Увижу, что ты прилежен,- огражу от всех несчастий. Ну, а женщин - ты сам их найдешь. Будь здоров!

"Почетный-то гость, похоже... попал в почетное рабство?- с усмешкой подумал Омар.- Э, ладно! Пусть. Лишь бы судья не передумал, не обернулся, по слову Али Джафара, людоедом-гулем".

Ох, утро. Какое утро! Какой внезапный поворот в судьбе...

Нельзя сказать, что Омар совершенно им ошеломлен. Конечно, сперва кровь ударила в голову, отхлынула к сердцу, в ушах что-то взвыло - и заглохло. Но молодой Хайям освоился быстро с мыслью о великой своей удаче. Так и должно быть! Вот в чем дело. Человек одаренный всегда сознает свою одаренность. Точно так же, как человек, обладающий силой гипнотического внушения, хорошо знает, что он обладает этой силой. Омар попал в свою стихию. Как рыба, которую, сетью поймав в просторной реке, долго держали зачем-то в затхлом пруду,- и которая, сумев убежать по грязной канаве, вновь нырнула в прохладную глубь родной реки.

Упругий атласный ветер течет по синей долине, шелестит листвой гранатовых деревьев - и страницами будущей книги.

В Самарканде чисто, уютно. Нежно-алый огонь высоченных кирпичных стен общественных зданий начинает отступать на освещенной стороне перед яркой золотистой охрой; в густой синеве теневой стороны расплывчато-нефритовые кроны прислонившихся к строениям чинар выступают все отчетливее, меняя окраску на зеленую теплую с еле заметным красноватым налетом.

Во дворе, под огромным вязом, еще холодный сумрак. Но где-то на женской половине дома, проснувшись, уже лепечут дети.

Омар спокоен. Душевно свободен. Он бодр и могуч. Разум его невозмутимо ясен. Он будет писать свой трактат. Он напишет его!

- Три дирхема,- шепнул Юнус ему во дворе.

- А?- не понял Омар, как никогда далекий от Юнуса с его заботами.

- С тебя три дирхема.

- Ах, да...- Омар на радостях дал ему десять.

- Алгебра, альмукабала,- сердито бормочет Юнус. Сам дворецкий Юнус бредет на базар, а вороватый шакал дурных его помыслов рыщет вокруг молодого Омара Хайяма.- Мы тоже учились в медресе. И знаем: глупее науки, чем алгебра, нет на земле. Но, оказалось, она в цене, а? Стол, и жилье, и заботу. И деньги. И я - ухаживай за ним. Ну нет. Пусть корпит над своими туманными доказательствами,- я их опровергну. Или я дурнее его! Разве я не умею читать и писать? Если он еще сопливым мальчишкой одолел эту премудрость, то я-то, взрослый, опытный, умный, в два счета ею овладею. Пиши, любезный! Пиши свой трактат. Настанет час, я тебя посрамлю. Есть что-нибудь по алгебре?- спросил он в книжном ряду.

- "Книга по алгебре и альмукабале" Мухамеда аль-Хорезми,- ответил один из торговцев.

- То, что надо! Сколько? Четыре дирхема? Ох! Ладно, давай ее сюда.

Зажав книгу под мышкой, он пошел к харчевне - и столкнулся с дворником Али Джафаром, покупавшим новую метлу.

- О?- удивился Али Джафар.- Ты - и вдруг с книгой! Зачем она тебе?

- Погоди,- зловеще произнес Юнус.- Я покажу твоему ученому другу!

- Покажешь... за что?

- Я его ненавижу!

- Уже? Но за что?

- Ну, он - такой...

- Какой?

- Ну, какой-то... не такой.

- Понятно!- усмехнулся Джафар.- Но мой совет: ты лучше его не трогай. Вот именно, он не такой. Оставь человека в покое.

- Нет, я от него не отстану... пока он живой.- Юнус с книгой под мышкой прошел под навес.

Увидев книгу, ему сразу уступили место на помосте, покрытом пятнистой кошмой. Ага! У нас на Востоке простой народ уважает ученых людей. Зато, говорят, в какой-то стране на закате, не то Рум, не то Рус, чем умней человек, тем больше обид ему от невежд.

Алгебра, альмукабала. Или я дурнее его? Разве я не умею читать и писать?..

Он с нетерпением раскрыл книгу, перелистал. О боже! Цифры. Значки. Хм... Ну, ничего. Разберемся. Вот, например: "Вещь относится к... э-э... квадрату, как... э-э... квадрат к... э-э... кубу, отсюда неизбежно следует, что уравнение, содержащее квадрат и куб, равносильно уравнению, содержащему вещь и квадрат". Э-э... Что бы это могло означать?

Долго сидел Юнус на помосте, злобно листая книгу. Но безуспешно. На самой твердой булыге останется след от зубила. Но мозг Юнуса оказался тверже любого камня, и никакой острый угол, изображенный в книге, не оставил на нем и малейшей царапины. Юнус попросил трубку с хашишем, но в голове еще больше помутилось. Дворецкий даже заледенел от ненависти к человеку, который не только отлично разбирается в этой чертовщине, но может вполне ее опровергнуть или доказать.

Нет, надо начинать с азов. Зайду-ка, решил приунывший Юнус, в медресе, к математику Зубейру,- даже хозяин не раз обращался к нему за помощью. Правда, придется истратить шесть оставшихся дирхемов,- но на какие жертвы не пойдешь ради знаний?

...Алгебра, алгебра! Альмукабала.

Пиши, любезный. Пиши свой трактат.

Настанет час...

Румяный сдобный Зубейр очень рад Юнусу:

- Почтенный судья судей послал за мною? Я сейчас...

- Не торопись,- сухо сказал дворецкий.- Почтенный судья судей не нуждается больше в твоих услугах. У него теперь свой домашний математик. Весьма одаренный молодой человек.

- Молодой?- испугался Зубейр.- Одаренный?- И, сразу обессилев, шлепнулся жирным задом на кошму.- Из каких таких болот он вылез?

- Из Нишапурских.

- Проклятье!- Зубейр вскочил, забегал по келье. Его объемистое брюхо колыхалось, мотаясь из стороны в сторону, точно бараний курдюк.- Жили тихо, спокойно, в достатке. Откуда берутся на нашу голову эти одаренные? Давно, казалось бы, всех извели. Значит, я потерял верный доход? Твой господин уже не даст заработать.

- Не даст,- подтвердил Юнус.- Он осыпает деньгами нового помощника. Нынче утром двести дирхемов ему отвалил.

- О аллах! Как его зовут?

- Омар Хайям.
- Не слышал о таком.
- Вот, услышал.
- Хайям, Хайям... Странное прозвище! От арабского "хайма" - палатка?
- Или "хайя" - змея.
- Это скорей всего! Что же делать?- Зубейр беспомощно уставился на Юнуса.- Нельзя допустить, чтоб какой-то заезжий ловкач, юнец, хлеб у нас отбивал.
- К тому же он будет писать для судьи ученый трактат по алгебре,- подсыпал яду жестокий Юнус.
- О! Час от часу не легче. Он совсем нас погубит. Что же делать, а?
- Я тут... хочу изучить, опровергнуть...- Юнус показал ему книгу.
- Ты?! О боже!- Громкий хохот чуть не разодрал Зубейру нутро, а дворецкому - слух.- Мой дорогой! Лучше не пробуй. Поздно. Я всю жизнь занимаюсь алгеброй - и то иногда захожу в такой тупик, что хоть бейся головой о стенку.
- Тогда,- прохрипел огорченный Юнус,- на что мне эта дурацкая книга, куда ее деть?
- Оставь. Мухамед-аль-Хорезми? Загляну, полистаю.
- Не доводилось.
- Дворецкий слукавил:
- Я купил ее за шесть дирхемов.
- Хорошо. Уплачу. Когда-нибудь.- Он снова упал на кошму.- Может,- потер Зубейр ладонью низкий лоб,- пригласить его в медресе, испытать - и осмеять всем собранием? Нет, опасно. Если он и впрямь учен, то сам осмеет всех нас. Позор на всю страну! Позор, позор... Слушай!- вскинулся Зубейр.- Ты не заметил: нет ли у него... какого-нибудь изъяна? Порока? Дурной привычки?
- В двадцать два года?
- Ну, кто знает! Вспомни, каким негодяем ты был в двадцать два, А вдруг он мужеблуд или пьяница?
- Не похож. Даже хашиш не курит, стервец.
- Жаль. Повременим. Когда он приехал?
- Вчера.
- Э! Подождем. Если в нем есть червоточина, он успеет скоро ее проявить. А ты - наблюдай. Старайся заметить что-нибудь, за что можно уцепиться - и раздуть на весь Туран. Или, лучше всего, сам постарайся завлечь его в ловушку. Без женщин-то он, наверно, не живет? Подсунь ему дочь. Пусть она побудет с ним - и поднимет крик: он, мол, взял ее силой, нарушил девичью честь.
- Не выйдет, приятель! Ее девичья честь уже давно нарушена.
- Ну, это можно подстроить...
- Перестань! В тюрьму затолкать меня хочешь? Забыл, кто у него покровитель?
- Да-а,- уныло вздохнул Зубейр.- Судья судей - не уличный сторож. Ну, не горюй! Что-нибудь да придумаем. Все равно мы его дойдем.
- Ну?
- Изведем, не сомневайся. Не впервые. Алгебра, алгебра, алгебра! Альмукабала. Пиши, любезный. Пиши свой трактат...

Вечер. Омар зажег светильник, и тотчас же из сада тучей налетела крьюлатая нечисть. Мохнатые рыжие бабочки. Тонкие существа в белоснежных платицах-крыльях. Жуки всевозможные.

Омар с детства до омерзения терпеть не мог мух, мокриц, червей, букашек. Какой-нибудь безобидный жучок, попавший за шиворот, приводил его в ужас, как скорпион. Лишь муравьи не вызывали у него отвращения. Они казались добрыми, умными, чистыми. На садовых дорожках он смотрел себе под ноги - не наступить бы на весело снующих муравьев.

...Ошалело металась летучая нечисть вокруг светильника, обжигалась, падала, взлетала вновь - и, конечно, лезла за шиворот. Нет, не дадут работать! Омар отставил светильник к дальней стене, и весь рой насекомых переместился вслед за пламенем.

И тут Омар увидел чудовище. Медленно перебирая лапами, прикинув долу, оно по-кошачьи кралось вдоль стены. Прыжок!- и нету жучка. И началось побоище... Он долго следил, не шевелясь, за большущей жабой (как она попала сюда?), прямо-таки потрясенный ее невероятной прозорливостью. Нацелится, прыгнет: чмок!- и нету жучка. Нацелится - чмок!- и нету белой сказочной феи с шелковыми крылышками. Златоглазками, кажется, их зовут?

Этих коварных великолепных фей она пожирала десятками. Но не боялась и крупных темных жуков, закованных в твердый панцирь. Они отчаянно сопротивлялись. Проглотив очередного такого громилу, она опрокидывалась на спину и хваталась лапками за брюхо: видно, жук царапал ее изнутри толстыми зубчатыми ногами. Но через миг-другой серая хищница опять бросалась в бой...

Можно позавидовать жабьему пищеварению. Интересно бы вскрыть, посмотреть, как устроен у нее желудок. Человеку бы этакий. А то иной съест сочную сливу и корчится от боли, несчастный. Вообще жаба - удивительное творение природы. Она достойна если не любви, то уважения. Кто еще, при столь безобразной внешности, обладает столь звонким голосом, рассыпающимся ночью задумчиво-долгой нежной трелью? Не то, что гнусно-утробное кваканье ее сестры лягушки.

Он не стал работать, чтоб ей не мешать. И светильник не стал гасить. Пусть жаба поохотится всласть. На рассвете, проснувшись, взял во дворе совок и веник и осторожно вынес ее в сад. Живи и радуйся бытию, божье создание.

Учен, а прост, душевен. Свой. С ним легко, хорошо. Таких бы побольше! А то чуть иной запомнит пять-шесть изречений из корана, уже воротит нос от нас, серых неучей.

Надо его предостеречь: Юнус затевает что-то злое. Когда человек сознает, за что ненавидит, это страшно; трижды страшнее, когда человек ненавидит кого-то слепо и тупо, лишь за то, что тот - "какой-то не такой". Он может зарезать спящего, задушить, влить яду в ухо...

Босой Али Джафар бесшумно прокрался по айвану к открытому окну той комнаты, где Омар, скрестив ноги и погрузившись в размышления, сидел над низким столиком с циркулем и линейкой поверх пестрых от вычислений бумажных листов.

Нет, пожалуй, не следует ему мешать. Мысль - птица, спугнешь - не вернешь. Пусть думает, пишет. Он делает доброе дело. Будет порядок в казне - будет какой-то порядок в стране. И может, Али Джафар не останется до конца дней своих нищим дворником. Ему бы жениться, обзавестись домом, детьми, стать человеком. Он сам присмотрит за хитрым Юнусом.

Бегут за мигом миг и за весной весна;

Не проводи же их без песен и вина.

Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни,-

Как проведешь ее, так и пройдет она. ...Омар расправил затекшие ноги, вытянул их под столом, упал спиной на ковер, сомкнул руки под головой. О блаженство! Каждая жилка, получив иное натяжение, затрепетала от удовольствия. Все тело ноет. Будто палками весь избит. Трудно дышать. Все тело заостенело. И надсаженный мозг заостенел. И будто трещина в нем, как в ушибленной кости. На среднем пальце правой руки, на среднем суставе - мозоль от тростникового пера...

Которую ночь, который день тут сидит. Омар не мог бы сказать. В юности он не верил поразительному рассказу о Фердоуси, двадцать пять тяжких лет терпеливо трудившемуся над книгой. Но теперь-то он знал, что это не выдумка.

Хуже всякой хвори - писать! Своего рода запой. Наркомания. Начинал он, правда, в первые дни, полегоньку, с утра на свежую голову и, едва ощутив утомление, бросал перо, уходил бродить по городу. Ясность! Математика - ясность.

Но чем дальше проникал Хайям в дебри таинственных фигур и чисел, тем труднее ему становилось вернуться из этих дебрей. И, что странно, тем больше нарастала ясность. Однако она грозила уже внезапным помутнением. Мозг, постепенно освобождаясь от посторонних впечатлений, весь наполнился уравнениями и, отрешенный от всего на свете, кроме них, как бы подавился ими - и даже глубокой ночью, во сне, не мог успокоиться, переваривая формулы, как удав проглоченную живность.

Ел и пил Омар, не замечая, что ест и пьет, что подсунет Юнус - курицу, черствый ли хлеб, горькую редьку. Едва возьмется Омар за кусок - в голове ярко вспыхнет новая иль отчеканится, обретет законченность, точно ком растрепанной шерсти в клубке пряжи, старая мысль; Омар, забыв о еде, спешит к рабочему столу, хватает перо. Грань между явью и сном незаметно стерлась.

Омар провел ладонью по лицу. Настолько засалилось, что ладонь густо покрылась жиром. На щеках, подбородке, на верхней губе - что-то мохнатое. Взъерошил волосы - жесткие, грязные.

Нет, хватит. Так нельзя! Вино, например, полезно, но вред его больше пользы, поэтому пить надо в меру. Работать - тоже. Надорвешься - уже ничего не напишешь. Пора встряхнуться, передохнуть.

Он услышал где-то в саду, за хозяйственными строениями, тяжелый прерывистый стук. Будто по темени бьют! Омар и раньше, с утра, ловил его, но, увлеченный расчетами, пропускал мимо сознания. Теперь же, когда он прекратил работу, стук, редкий и частый, то звонкий, то глухой, сопровождаемый тупым непонятым скрежетом, будто доходя сквозь треснувшую деревянную трубу, грубо заквакал прямо у него в ушах. Черт! Было же сказано; следить за тишиною.

Раздраженно покинув комнату, Омар через двор вышел в сад. И чуть поостыл. Холодно в саду. Смотри-ка, уже осень! Уже листва с деревьев опадает. Будто цыганскими платками увешаны деревья, каких тут нет красок: ярко-желтая, желтая с прозеленью, красная, ржаво-бурая, серо-голубая. Но сочнее, красочнее всех цвет листвы абрикосов: темно-вишневый, черно-лиловый, чисто багровый и яично-желтый. Особенно сейчас, когда, тронутая сыростью, растворенной в студеном воздухе, она тихо светится под остывающим солнцем.

Ураган, что ли, пронесся по саду? Он поредел, оголился, лежал весь в огромных пнях.

- Будем весною сад обновлять,- сказал, улыбаясь, Али Джафар.- Больные старые орешины все посохли. Надо убрать. Вот с рассвета вожусь,- Он пнул громоздкий пенёк, в котором торчал толстый железный клин.- Ох, устал. Корчую, раскалываю на дрова. Но разве я один справлюсь с такой уймой работы? До зимы не успею.

- Дай-ка.- Омар взял у него большой молот.
- Что ты? Это занятие не для твоих тонких ручек.
- Отойди.- Омар замахнулся и нанес по клину такой удар, что железо разом ушло вглубь, пень с треском лопнул пополам.

- Ого!- воскликнул Али Джафар.- Сухопарый, а сильный.
- От нишапурской репы,- усмехнулся Омар.- Знаменитая репа!- вспомнил он несносного попутчика.- Воз стоит всего три фельса...- Разве мало он перетаскал тюков с тяжелой тканью в отцовской мастерской? И тюков, и туго набитых мешков с зерном и мукой с возов к амбару. Окрепнешь.

Али Джафар:

- Я-то их всю жизнь корчую и колю. Житель я сельский. Здесь -по воле недоброй судьбы. Наше селение попало в благословенный вакуф бродячих монахов. Ну, ты знаешь этих святых. Даже податей с них не берут, но им все давай. Совсем разорили общину. Пришлось мне искать работу в городе.

Вакуф? Омар потемнел. Икта, вакуф... Мало того, что "правая вера" калечит человеку мозг и душу,- она калечит ему жизнь, отнимая хлеб. Устроившись в Самарканде, Омар отправил с оказией письмо родным в Нишапур. Как они там, несчастные? Ответа еще нет. Долог путь караванный.

- Везде все то же,- сказал он мрачно.- Разве что где-нибудь в стране Рус человеку чуть легче жить.

- Бог весть. Где она, страна Рус! Сказано: хорошо, где нас нет. Я знаю одно - богатому повсюду хорошо, бедному повсюду плохо.

- Да, пожалуй.- Работа на свежем воздухе разогнала Омару застоявшуюся кровь. Дыша полной грудью, он раздумячился, повеселел. Но все-таки голова закружилась от непривычного усилия, на глазах выступили слезы.

- Знаешь что, брось ты пень ворочать,- сказал Али Джафар.

- Нет, мне это дело пришлось по душе. Ых!- Омар грохнул молотом по клину.

- Для тебя это отдых, забава,- проворчал недовольный Али Джафар.- А для меня? Не управлюсь я до зимы со всем этим хозяйством,- обвел он злым взглядом гору пней и поваленных серых стволов.- Хочешь сделать доброе дело - скажи хозяину, пусть наймет двух-трех помощников. На время, пока все дрова не расколем.

- Скажу.

- А ты, если хочешь очухаться от смертельных занятий наукой,- посоветовал ему Али Джафар,- и вернуть себе человеческое обличье, сходи лучше в баню. Пусть банщик разотрет тебе кожу, разомнет суставы и мышцы - сразу оживешь.

Омар - с радостью:

- Верно! Спасибо. Самому бы и в голову не пришло. Я сейчас какой-то бестолковый. Ничего не соображаю.

- Еще бы...

Омар в просторной раздевальной. Обернул простыней голые бедра, накинул на плечи особый банный халат. И зашлепал босыми ногами по мокрому каменному полу. Зал для холодных омовений. Далее - горячее помещение: ряд звездообразно расположенных комнат со сводчатым потолком. Пар над каменным чаном с теплой водой.

Уложив посетителя на скамейку, банщик с такой яростью накинулся на беднягу, что, казалось, хочет содрать с него кожу, выломать руки и ноги, выдернуть все сухожилия. Он крепко растер и звонко отшлепал Омара, больно прошупал мышцы от пяток до плеч и затылка,

гулко простукал кулаками спину и грудь,- словом, бил его, мял и колотил, как гончар большой ком глины.

Затем Омар ополоснулся в горячей и холодной воде. Затем он попал к цирюльнику.

- Побрить? Будешь похож на девицу. По виду ты слишком нежен для мужчины. Оставим бородку? Или только усы?

Омар - сухо:

- Оставь бородку и не болтай! И без того трещит голова.- Разве он базарный щеголь, бездельник, усами людей удивлять? Он ученый. Ему к лицу бородка.

Закончив дело, лукавый цирюльник умыл его розовой водой и, оттерев полою, поднес серебряное зеркало:

- Ну, как?

- Сойдет,- буркнул Омар, тем не менее очень довольный своей внешностью.

- Голова трещит, говоришь? Потрудишься пройти сюда.- Брадобрей завел его в светлую сухую комнату с низким столиком, кошмой, где можно было прилечь, отдохнуть, поставил на столик поднос.

- Вот изюм, фисташки, урюк. Шербету? Но лучше всего, конечно, выпить сейчас чашу вина.

- Вина?- удивился Омар.- А грех?

- Грех упиваться допьяна. Выпить во здравие чашу - вовсе не- грех. Все на свете создано богом. Вино - тоже.

- Да, но пророк...

- Эх, родной! Ты, я вижу, человек ученый. И должен знать, сколько их было, разных пророков. Будда. Христос. Мани. Мухамед. И тьма других. Один объявляет запретным вино, другой - мясо, третий - женщину. Лишь бы в чем-нибудь и как-нибудь ущемить беднягу человека. К черту всех! Впрочем, о Христе. Помнишь первое чудо, которое он совершил? В Кане Галилейской (читал Евангелие?) он превратил воду в отменное вино. О чем это говорит? О том, что даже иной пророк предпочитает вино воде.

- Э, да ты безбожник?

- Почему? В бога я верую. В творца. Но не в бредни самозванных пророков. Человек,- уже потому, что он человек,- имеет право на радость, на любовь.

Брадобрей открыл в углу низкий ларь, вынул узкогорлый кувшин:

- Ну, допустим, вино осталось нам от старых темных времен, оно наследие проклятого язычества. А хлеб, одежда, постель? Их тоже не Мухамед придумал. Не запретить ли их тоже? Запретить, конечно, можно. Только... Знаешь, один чудака решил приучить своего осла ничего не есть. Долго приучал. "Ну как,- спросили соседи,- привык твой осел ничего не есть?"- "Совсем уже было привык,- вздохнул чудака,- да вдруг отчего-то умер". Налить? Одну чашу. Одна не повредит. Пойдет на пользу.

"Толкуй, толкуй,- усмехнулся Омар.- Ты хвалишь вино потому, что тебе его надо продать и деньги получить. Даже богословы, не будь у них иных доходов, тоже на всех перекрестках стали б кричать о пользе вина".

Носатый брадобрей выжидательно глядит на Омара длинными хитрыми глазами.

- Что ж, налей,- усмехнулся Омар.

Выйдя из дому, столько всего узнаешь, что ни в каком медресе не услышишь. Человек - бунтарь. И дело не в самом вине. Неверно думать: если нынче разрешат пить вино, то завтра все в мусульманской стране будут валяться пьяными. Кто хочет пить - пьет и сейчас, хоть вешай. Кто не хочет - палкой не заставишь. Дело в запрете. Запрет - оскорбление. Оно обидно даже рабу. Устает человек от бесчисленных запретов. Не спросясь его, его производят на свет - и

пускают ковылять по дороге, сплошь уставленной рогатками сотен строгих запретов. И это - жизнь?

- Налей!

В этом мире на каждом шагу - западня.

Я по собственной воле не прожил и дня!

Без меня наверху принимают решения,

А потом бунтарем называют меня. - Верно! Сейчас. Но какого?- задумался цирюльник.- Горького мутного? Нет. Оно вредно тому, у кого пылкий нрав, а у тебя, похоже, именно такой. Базиликового? Тоже нет,- оно причиняет головную боль. Старого? Не годится для сухопарых. А! Я налью тебе вина из мавиза, крупного черного винограда. Оно подходит человеку с пылким нравом. Пей не спеша, смакуй. Эх!- произнес озабоченно мастер, уже без ужимок и усмешек, доставая другой кувшн.- Уж лучше, чем огульно запрещать вино, спросили бы у нас, мугов-винооторговцев, и объяснили людям, кому какое вредно, какое полезно. Какое возбуждает, какое успокаивает. И не было бы пьяных и хворых. Вино - не забава, а лекарство, и обращаться с ним следует как с лекарством. Разве не говорил великий медик ибн Сина:

Вино для умных - рай.

Вино для глупых - ад;

Ты пей, но меру знай,

Вино сверх меры - яд... "Толкуй, толкуй..."

Омар выпил, внутри загорелось. Давно, с времен приятельских пирушек в медресе, он не прикасался к вину.

Крик на базаре:

- Ведарииская ткань! Мечта эмиров и визирей. Наступает зима. Кому ведарийскую ткань?

У Омара, как селезенка у бегущей лошади, екнуло сердце. Эмирам, степенным визирям легко исполнить эту и любую другую свою мечту. А молодому бедному ученому?

Знаменитая ткань! Ее, великолепную, выдělывают в селе Ведар, что в двух фарсах от Самарканда. Чудоткань. Красивая, с желтоватым отливом, мягкая и вместе с тем - плотная, она не зря называется в иных краях хорасанской парчой. Но, жаль, слишком дорога для него. За платье из ведарийской хлопчатобумажной ткани надо отдать от двух до десяти золотых динаров.

Ладно.- Что тут поделаешь? Успеется. Будет у нас со временем одежда из ведарийской ткани. И даже получше. А пока, в эту зиму и в ту, и в третью, обойдемся халатом из грубого дешевого сукна.

- Гости из Хорезма,- сказал, запыхавшись, кто-то, пробегая мимо.- В правом углу базара - гости из Хорезма.

Что ж, надо поглядеть. Осенью, перед холодами, самый желанный гость в Согде и Хорасане - хорезмийский торговец. Он доставляет дешевую рыбу с низовьев реки Окуз. Но его основное богатство - меха: соболь и горностай, ласка, хорек, лисица, куница. Возет он также свечи и стрелы, рыбий клей, рыбий зуб, амбру, березовую кору, выделанную кожу, мед, славянских рабынь. Это все - из Булгара, куда неутомимые хорезмийцы часто ходят с большими караванами.

Омар, покрутившись в толпе знатных покупателей, решил отправиться домой. Ни бобровой шапки ему не купить, ни белокожей славянской невольницы. Успеется, пусть. Губы дрожали от обиды. Лучше всего - не ходить на базар, чтобы душу не травить. Ну их всех, с их мехами!

- Не спеши, дорогой,- услышал он за плечами.

Омара остановил большой человек в мохнатой бараньей шапке,- ученый только что видел его среди хорезмийцев. Но говорит большой человек на тюркском языке. И лицо - смугло-румяное, с крепкими скулами, тюркское. Борода и брови черные. Но глаза! Омар никогда не встречал таких ярких чисто-синих глаз! Кроме как у Занге-Сахро.

На Востоке, даже у светлоглазых людей, не бывает очень чисто-серых, чисто-зеленых, синих, голубых. Они всегда с легкой карей примесью. По существу, это те же карие глаза с ясной прозеленью, просинью, с голубизной. Вот такие глаза неопределенно каре-зеленого цвета - у Омара Хайяма. Что при иссиней черноте вьющихся, длинных до плеч, густых волос свидетельствует, по мнению знающих людей, о жгучих страстях, невероятных возможностях.

По ним-то, видно, и заключил цирюльник, что у него пылкая кровь.

На то же, по слову ученых, намекает всякое несоответствие между цветом глаз и волос: темные волосы при светлых глазах или, наоборот, темные глаза при светлых волосах. Соответствие же между ними есть явление обычное и говорит об уравновешенности.

- Не скажешь, где тут можно глотнуть?- спросил приезжим.- Давеча пахнуло от тебя, ты близко стоял,- ну, думаю, он должен знать.

- В бане,- с улыбкой ответил Омар. Стоит выпить чашу вина, всякий встречный пьянчуга уже считает тебя своим дружком.- Ты откуда такой синеглазый?

- Я болгарин,- хмуро сказал человек в бараньей шапке.

- Слышал о болгарях. Известный народ. Но почему ты один, как сюда попал?

- В наемной охране при хорезмийских купцах. Хочешь выпить? Пойдем.

Пьянчуга и есть.

- Нет. Я уже выпил чашу. Хватит.

- Верно, хватит.- Нет, видать, не совсем пьянчуга.- Ты еще молодой.

- Скоро назад?

- Не знаю.

Местный житель,- если, конечно, не считать огнепоклонника-цирюльника,- тот бы сказал: "Бог весть". Человек не имеет права знать и даже - не знать. Им распоряжается аллах. А приезжий говорит: "Не знаю". Слишком смело! Я. Человек. Не знаю. Еще один бунтарь.

Трудно сразу распознать человека. Если, конечно, он с ходу не кинется на тебя с ножом. Этот синеглазый болгарин с виду резок и груб, опасен, а на самом-то деле, похоже, неглуп и даже добродушен.

Так и с другими народами, племенами.

- Чтобы вникнуть в чужую мысль,- говорил шейх Назир,- мало перевести ее с одного языка на другой. Надо знать историю народа, быт и круг представлений. Стараться его понять. Нелегко, но надо понять, если хочешь жить с ним в мире.

"О чем должен думать человек, возвращаясь из бани домой? Не запылить бы только что вымытых ног. Скорей бы дойти, поесть. Прилечь, отдохнуть.

Нет, пожалуй, дело не в вине. Тому, кто не может и не хочет думать, влей хоть бочку - ничто не мелькнет, не блеснет в башке. Наоборот, даже то убогое подобие мысли, каким он пользуется ежечасно, заглохнет.

Всему виной - мой беспокойный разум. Не будь его - жил бы я себе припеваючи в родном Нишапуре, учил детей бессмысленным молитвам, читал и толковал коран - и получал плату в виде бараньих туш и мешков с зерном.

Совсем ни к чему человеку ум и одаренность. Он лишь навлекает ими на себя всеобщую неприязнь. Как, скажем, трехголовый верблюд, урод. Зайду-ка я в здешнее медресе, поговорю с учеными,- может, найдется место на случай, когда Абу-Тахир сменит милость на гнев".

Это кто, нелепый, нескладный, мечется у входа в медресе? Ужели дворецкий Юнус? Очень похож. Но зачем он здесь? С ним еще какой-то человек. Тот неподвижен, спокоен. Завидев Омара, дворецкий Юнус юркнул за столп огромного портала.

Омар насторожился: "Нет, не стану я заходить туда, где снует негодный Юнус".

- Здравствуйте, уважаемый товарищ по ремеслу!- с грустной усмешкой поклонился Омару румяный сдобный человек.

"Товарищ?" Омар с недоумением взглянул на его одежду - яркую, пеструю, какую носят преуспевающие торговцы. Но все же он доволен, что встретился с одним из местных ученых.

- Я счастлив видеть вас, дорогой собрат,- проникновенно и тихо продолжал самаркандец, упитанный, гладкий, точно рабыня для утех.- Меня зовут Зубейр. Я тоже занимаюсь математикой. Вернее, занимался. Теперь, с вашим приездом, видно, придется бросить ее. Говорят, вы пишете трактат по алгебре?

Он заметно пьян. В уголках губ запеклась какая-то бурая дрянь. Под глазами мешки, но в глазах - внимательность, осторожность и приветливость.

- Пишу,- ответил коротко Омар.

- Но разве в книге Хорезми мы находим не все, что касается алгебры?

- Не все.

- О!- воскликнул Зубейр, удивленный его смелостью.- Абу-Камиль?..

- Абу-Камиль, на мой взгляд, превзошел Хорезми. У него более развито алгебраическое исчисление, приведено обширное собрание примеров. Но, к сожалению, они ограничены лишь линейными и квадратными уравнениями.

- Аль-Махани?

- Да. Он включил в круг своих занятий кубические уравнения. Но и Аль-Махани не сумел решить задачу Архимеда о делении данного шара плоскостью на сегменты с данным отношением объемов.

- Ибн Аль-Хайсам?

- Он...

- Аль-Кухи?

- Это...

- Абуль-Джуд?

- Все далеки от полноты.

Потрясенный Зубейр начал трезветь. Втянув голову в плечи, потер виски ладонями и, не отрывая их от висков, как бы выражая этим ужас, уставился снизу вверх на Хайяма:

- Не слишком ли дерзко... я бы сказал - самонадеянно, даже хвастливо, звучит подобное заявление в устах молодого, еще никому не известного ученого? Вы покушаетесь...

- Но ведь наука не может стоять на месте,- смущенно сказал Омар.- Кто-то должен продолжать начатое другими и открывать новое. А? Известность же мне не нужна. Я хочу знать истину, и только.

Зубейр уронил ладони:

- Истину? (Зачем она тебе, сопляк ты этакий?) Аристотель, Эвклид, Аполлоний...

Омар поскукнел, махнул рукой. О чем и зачем говорить с такими? Ишь, ловкач! Запомнил несколько громких имен и, совершенно не зная, что за ними, пытается пустить пыль в глаза. Не на того напал. Морочь других. Он никогда не зайдет в их медресе. Неужели нет в Самарканде настоящих ученых? Ну, положим, старых истребили, разогнали,- должна же быть пытливая молодежь, где-то здесь живут математики, непохожие на преуспевающих торговцев?

Они, конечно, есть. И он их найдет.

- Прощайте. Некогда. Надо работать.

- Нет, что вы! Зайдемте. Отведайте нашего хлеба.

- Спасибо. В другой раз...

- Хм! От кого тут пахнет вином?- принюхался Зубейр.

Это было сделано так неожиданно и так неумело, грубо-неуклюже, что Омар чуть не прыснул. Но, сообразив, зачем, с какой целью это сделано, он сразу утратил охоту смеяться.

- От меня,- смиренно ответил Хайям, зеленый от злобы.- Что поделаешь? От одних пахнет вином, от других...- он произнес в рифму известное слово. Вот так, собрат, товарищ по ремеслу.

Общаясь с дураком, не оберешься срама,

Поэтому совет ты выслушай Хайяма:

Яд, мудрецом предложенный, прими,-

Из рук же дурака не принимай бальзама. Бедный Омар Хайям еще не знает, что есть негодия похуже Зубейра. Но, даст бог, со временем узнает...

- Ну, как?- взволнованно спросил Юнус, когда Омар удалился,- дворецкий прятался во дворе медресе.

- Как, растак, разэтак!- накинулся Зубейр.- Гнус ты несчастный! Почему убежал?- И сдержавшись:- Плохо наше дело, брат. Умен, проклятый. Эх! Раз уж он выпил, как ты говоришь, у муга чашу вина, значит, этим не брезгует. Затащить бы в келью, упоить - и натравить мухтасиба. Срам! Судья наутро же выгнал бы его на улицу.

- Мы-то сами... не ахти какие трезвые.

- Зато - доносчики. Давно известно: вера доносчику. А нетрезвые... что из того? Выпей ты хоть целый хум вина, хоть захлебнись, в него свалившись,- кому от этого хорошо иль худо? Ты нуль. Омар же Хайям - единица. Вот ты, например: даже сомлел от удовольствия, когда узнал, что выпил с устатку Хайям. И тебе, конечно, и в голову не приходит, что сам - сплошь ошибка, неудача природы. Скажи, чем досадил Омар Хайям ничтожному дворецкому Юнусу? Ничем. Ты просто завидуешь ему. Его уму, его красоте.

- Ну, ну!

- А, ты возмущен? Видишь. Ты, олух, не способен даже понять, отчего недоброжелателен к нему.

- Себя бичуешь!- прошипел Юнус.- Разумеешь?

- Разумею,- буркнул Зубейр.- Омар Хайям, Омар Хайям! Что нам делать с тобою? Юнус:

- Ума не приложу! Я подкинул жабу в жильё, чтоб напугать,- и только доставил ему удовольствие. Наблюдает, смеется, собачий сын.

- Природовед.

- Надо было кобру подкинуть.

- Он бы заставил ее ловить мышей. Слушай, ты сам - не лучше кобры. Ты носишь еду - можешь его отравить.

- Что ты, господь с тобою! У меня - жена, дети. Я жить хочу.

- Жить? Стой!- Зубейра затрясло, как в лихорадке. Дурак-то дурак, но не совсем он дурак.- Пусть пишет свой трактат. Ты ему пока не мешай. Напишет - украдешь и мне отдашь. Я тебе хорошо заплачу.

- Триста... Триста пятьдесят золотых динаров.

- Будут.

Алгебра, алгебра, алгебра!

Альмукабала.

Пиши, любезный. Пиши свой трактат...

Но Омару не хотелось писать. В голове пусто. Он перелистал рукопись и бросил ее. "Перенести вычитаемые члены уравнения в другую его часть, где они становятся прибавляемыми"... "Взаимно уничтожить равные члены в обеих частях уравнения"... "Коэффициент при старшем члене уравнения приводится к единице"... Чепуха! Детский лепет. Пока что ничего примечательного. Все это есть у его -предшественников. Но и без них, этих простых задач, трактат будет неполным, поскольку он должен служить повседневным руководством в спорных делах.

Самое сложное - впереди. Он вплотную подступил к третьему разделу трактата. В голове четко обозначилась цель: построение корней нормальных форм уравнений третьей степени.

Но ему не хватало живых примеров,- как человеку, засидевшемуся в наглухо закрытой комнате, не хватает свежего воздуха.

Омар сказал об этом судьбе.

- Понимаю,- кивнул Абу-Тахир.- Что ж. Поедешь завтра со мною за город. Побываешь в садах, в полях. Наберешь,- усмехнулся он с горечью,- столько живых примеров, что хватит на десять трактатов.

- Хорошо. И еще: Али Джафар просит нанять ему в помощь двух-трех работников. Ему одному не управиться к зиме с дровами.

Абу-Тахир внимательно пригляделся к нему:

- А мог бы. Ну, ладно. Скажу дворецкому, наймет.

Вернувшись к себе, Омар обнаружил девушку с открытым лицом. Служанке это не возбраняется. Она занималась уборкой. Ясное личико, простое и чем-то родное. Чем-то очень отдаленно напоминающее лицо Ферузэ. Он и внимание обратил на нее потому, что заметил какое-то сходство с Ферузэ. Ах, Ферузэ! Неужели она будет преследовать его всю жизнь? Наверно, Ферузэ в юности была такой же незатейливо-хорошенькой, милой. Была. Он помнит.

Но Ферузэ - крупнее, дороднее, а эта - совсем уж крохотна. И рост маленький, и рот, и носик; ручки, ножки - вовсе детские. Только глаза - большие, золотистокарие, с каким-то особенным разрезом. И взгляд - взрослый, серьезный. Даже какой-то больной. Будто она сейчас закричит. Поэтому трудно понять, сколько ей лет: может, двенадцать, а может, и все восемнадцать.

Все женщины, которых знал Омар, были старше его. Видно, потому он так рано повзрослел.

- Как тебя зовут?

- Рейхан.

...Отбивалась она не слишком упорно. Похоже, он тоже пришелся ей по душе. И вдруг оттолкнула его, произнесла лихорадочным шепотом:

- Дашь золотой - приду к тебе ночью...

- Золотой?- Он выпустил ее из рук.- Зачем тебе золотой?- спросил он удивленно.

- Как зачем?- удивилась она в свою очередь.- Всегда пригодится. Жалко? Или денег нет?

- Деньги есть. Не жалко,- смущенно сказал Омар.- Но...- Одета, обута, сыта, есть крыша над головой. Зачем ей деньги? Чтоб утолить природную жадность? И как, во сколько оценить вихрь

чувств, забурливших в нем? Их на динары не переложить.- Видишь ли, я до сих пор... платил за любовь любовью. Не знал, что ее можно купить за деньги. Теперь буду знать.

Рейхан уставилась ему в глаза своими яркими, необыкновенными глазами. "Златоглазое чудовище,- подумал Омар, вновь загораюсь.- Нет, я тебя не упущу. Золотой? Получишь".

- Я... хочу собрать на выкуп.- Она расплакалась.- Выйти из рабства... вернуться домой, в Ходжент.

Вот оно что! Омар потемнел, сгорбился, устало опустил на тахту. Да. Ведь есть еще и эта сторона жизни. Хорошо, он обменял в бане, чтоб легче было хранить, часть своих дирхемов на динары. Тридцать пять серебряных монет за золотую. Омар подозревал, конечно, что веселый муг его обжулил. Ну, бог с ним. Обойдемся. Не пропадем.

- Я дам тебе пять золотых,- сказал он угрюмо.- А ночью... можешь не приходиться.

Но Рейхан явилась.

После долгой мучительной ночи он все же встал бодрый, жизнерадостный, довольный. Рейхан уже нет. На видном месте, на столике с расчетами, Омар нашел свои пять монет, которые вручил ей в темноте.

- Приболел?- сказал Абу-Тахир, взглянув на его вспухшие губы.

- Лихорадит,- покраснел Омар.

- Бывает,- усмехнулся судья понимающе.- Надо беречь здоровье. Говорят, от лихорадки помогает пахучий базилик - рейхан. Может, не поедешь?

- Поеду! Непременно поеду.

- Что ж, в добрый час.- Лицо у судьи суровое, строгое, а в глазах - затаенный смех...

- Это Мухтар, мой письмоводитель,- познакомил судья Омара с высоким худым бледным юношей.- Он из крестьян. Неплохой математик. Хорошо знает сельскую жизнь,- расскажет тебе о здешних делах.

Осень. В малых оросительных канавах воды уже нет, в крупных она неподвижна, прозрачна, ее стеклянная поверхность осыпана палой листвой. И небо стеклянное. И ветер - стеклянный. В пустых садах - тихий шум. Облетают последние листья. В их легком шорохе, в оголенных ветвях, в стылом воздухе - печаль, задумчивость. В эту пору в садах всегда почему-то грустно.

И, видно, от этой грусти землемер, ехавший на ослике, достал из переметной сумы флейту, взглянул на Омаровы губы и сунул ее Мухтару.

Певучий пронзительный звук далеко разнесся по густому холодному воздуху. Казалось, это вскричала забытая людьми дорога, возопили, страшась близких морозов, тонкие ветви плодовых деревьев, обратился в плач нежный смех детей, бегавших в саду еще недавно, летом. Нет, не вмоготу. Флейта захлебнулась низким судорожным стоном. Мухтар, вздохнув, вернул ее землемеру. Омар кивнул ему благодарно.

Слезть бы с лошади, бросить ее и побрести, шурша сухой листвой, в заманчивую, таинственную глубь огромных безлюдных садов. Хорошо бы в самом укромном месте, вдали от дорог, соорудить шалаш и жить в нем. Одному. Нет, с Рейхан. Яблоки есть. Спать. Никого не видеть. Устала голова.

Яблоки? Омар усмехнулся своей наивной мечте. Их нет. Снят урожай. Вывезли его. Он окинул деревья зорким взглядом и заметил высоко на ветке одно забытое крупное бледно-зеленое яблоко. Одно-единственное на весь сад. Вот удача!

Он прыгнул с лошади, подобрал с земли корявую жердь,- одну из тех, которыми в конце лета подпирают ветви, усеянные тяжелыми плодами,- и попытался достать заветное яблоко. Но жердь оказалась короткой. Бросил ее, взял ком сухой земли, кинул - мимо! Второй - мимо! Мухтар не утерпел, присоединился к нему.

Но зловредное яблоко никак не хотело падать. Шуму было, смеху! Причем Омар смеялся, забавно выпятив большие губы: гю-гю-гю!- и уже одно это вызывало неудержимый смех у других. Страж, сопровождавший вместе с землемерами судью судей, сжалился над молодежью, привстал на стременах и сбил упрямое яблоко острием копья.

Веселые, румяные, вновь взобрались на лошадей.

- Грызи,- не глядя, сунул Омар злополучный плод Мухтару.

- Сам?

- Я мало охоч до яблок.

- Я тоже. Сестренке отдам. Спасибо.- Мухтар спрятал счастливое яблоко за пазуху.

Омар вспомнил о своей сестре. Ему захотелось плакать. Вестей от родных все нету.

"Совсем еще дети,- подумал тронутый Абу-Тахир.- И не поверишь, что эти юнцы - лучшие математики в Самарканде. Велик аллах! Он знает, в чью голову вложить свет высокого разума".

Поехали дальше.

- Завидно,- кивнул Омар на крестьянина, сгребавшего под деревьями сучья, сухую листву.- Полезный труд. Всегда на свежем воздухе.

Тот угрюмо взглянул на них, нехотя бросил грабли и туго, как деревянный, согнулся в поклоне. Считалось, что он выражает важным проезжим почтение, но походил-то он скорей на драчуна, который сейчас разбежится и головой разобьет тебе лицо.

- Нечему завидовать,- хмуро сказал Мухтар.- От труда ему никакой пользы. К свежему воздуху нужен еще хлеб. Хоть черствый, если не свежий. Видишь, как он изможден?

- Ну, имея такой сад...

- В том-то и дело, что сад чужой. Он принадлежит ханаке. И сад, и поле вокруг. Знаешь, что такое джуфти-гау?

- Земля, которую пахарь может обработать в сезон парой быков?- сказал Омар неуверенно.

- Да. О аллах! Какими единицами мы пользуемся? Воду мерим, сколько хватит на мельницу, груз - сколько поднимет осел, расстояние - криком, шагами, длину - локтями, пядью. Удивительно, что мы еще что-то создаем! Спасибо простому народу, ремесленному люду, скромным умельцам. Их ясной голове, их зоркости, точному глазомеру, чутким рукам. А то бы мы понастроили... Кто может сказать, чему равен джуфти-гау?

- Тюркскому кошлугу,- припомнил Омар.

- А кошлуг?

- Не знаю.

- Никто не знает. Неразбериха! Будь я ученым, подобным тебе, прежде всего уточнил бы раз навсегда все меры: веса, емкости, поверхности, расстояния. Чтоб не оставалось лазеек для злоупотреблений...

В окрестностях Самарканда, рассказал Мухтар, пятнадцать - двадцать тысяч джуфти-гау земли. Из них крестьянским общинам и городскому торгово-ремесленному люду принадлежит:

по каналу Искандергам - 1486,
по каналу Мазахин - 2750,
по Санграсану - 275 джуфти-гау.
Итого - 4511.

Все остальное - вакуф, собственность мечетей, медресе, монастырей. И шейхов, имамов, ишанов, сеидов (потомков пророка), свободных от всяких повинностей. Налоги за всех вносит в казну бедный мужик.

- Крестьянам не на что жить,- тихо сказал Мухтар.- Им приходится волей-неволей занимать вакуфные земли. И святые отцы не прочь присоединить их участки к своим владениям. Какой-нибудь шейх, располагающий тридцатью джуфти-гау, силой захватывает столько же чужой земли - и потом уверяет, что все вместе и есть тридцать джуфти-гау, на которые он имеет право. Отсюда раздоры. Дело доходит до буйства. Абу-Тахир же человек миролюбивый. Главное для него - спокойствие в округе.

Джуфти-гау, как я уже сказал, мера спорная. Она определяется на глазок. Ведь пахарь пахарю рознь. Как и бык - быку. И земля - земле. Нам надлежит, опросив население, выявить давно и хорошо проверенный участок, который можно взять за образец, поговорить с пахарем, посмотреть быков, с которыми он работал,- и уточнить, наконец, чему же равен джуфти-гау. Будем мерить танапами, потому что танап - более или менее точная мера. В одном танапе - сорок кари, в кари - шесть ладоней, ладонь равна четырем пальцам, палец-шести ячменным зернам. Прости, ты без меня хорошо знаешь, что чему равно, однако, может быть, у вас, в Нишапуре, другие меры. В каждой округе свой курух, свой дирхем, свой танап. Говорю, неразбериха. Будь я ученым...

- Ты будешь им,- заметил Омар.

- Если ты будешь меня наставлять.

- Ох! Кто бы меня наставлял,- вздохнул Омар.

- К весне надо перемерить все участки, чтобы прочно закрепить за каждым владельцем свое. И тем самым устранить споры-раздоры. Задача трудная. Без твоих уравнений ее не решить. Можно, я как-нибудь загляну к тебе? Почитать твой трактат.

- Приходи. И почаще.

...За целый день, в хлопотах на свежем воздухе, перекусывая лишь всухомятку, основательно проголодались. Уже темнело, когда заехали в ханаку подкрепиться горячей пищей.

Ханака представляла собою чуть ли не военную крепость. Волосатые, грязные, но отнюдь не тощие, дервиши, накурившись хашишу и наевшись плову или гороховой похлебки, расплзлись по своим вонючим норам. Из темных смрадных келий доносились вскрики, стоны, всхлипывания. Дармоеды проклятые. Самый вредный, самый никчемный род людей. Вши в человеческом образе. И ведь считается, что они - святые...

Омар не притронулся к еде.

- Справедливо ли это,- обратился он к Абу-Тахиру, когда они отправились по темной дороге домой,- чтобы столько земли, лучшей в округе, принадлежало тем, кто никогда не держал в руках мотыгу? Отдать бы ее крестьянам - какое изобилие плодов, сколько хлеба получило бы государство!

Абу-Тахир долго не отвечал. Омар мог едва различить во мраке его угрюмо склоненную голову.

- Монахи - наши заступники перед аллахом,- хрипло сказал, наконец, Алак.- Их надлежит чтить.- И помолчав еще немного:- Не нами сей порядок заведен, и не нам его менять. И мой тебе совет: таких вопросов больше никому не задавай. Особенно - судье...

Омару не работалось. Надорвался, что ли, от непосильных трудов недавних дней? Или чаша вина сбила его с толку? Или Рейхан? Нет, не вино. И даже не Рейхан. Его отравила ханака. До сих пор он не может забыть тягостный смрад притона святых наркоманов. Если вместе с молитвами монахи возносят к престолу аллаха всю свою вонь, способен ли вникнуть аллах в суть их молитв?

Или вонь - это и есть их суть?

Бедный старик Мохамед,- сколько, верно, таких и в Самарканде!- бьется где-то в горах на жалком клочке каменистой земли, чтоб взрастить горсть ячменных зерен... А тут здоровенные ражие мужчины, на которых бы землю пахать, как на быках, по три джуфти-гау в день, ведут совершенно бессмысленную, праздную жизнь, и за это им - все блага на земле. И еще вечное блаженство в загробном мире.

*Если землю, и воду, и пышный дворец
Получает в награду дурак и подлец,
А достойный идет в кабалу из-за хлеба,-
Мне плевать на твою справедливость, творец.*

Невмоготу! Его охватила жуть, внезапная тревога. Будто потолок в тяжелых балках вот-вот обрушится на голову... Омар взглянул, как на змею, на свернутый под столиком землемерный шнур-танап, который он взял для расчетов, полистал книжицу для записей, швырнул ее в угол и выскочил в сад, повидать Али Джафара.

...Их было четверо. Прежде, чем приступить к делу, они забавлялись мутным дешевым вином, закусывая его ломтиками редьки, посыпанными солью. Увидев чужого, новички, нанятые в помощь Джафару, испуганно прикрыли кувшин одеждой.

- Не бойтесь,- успокоил их Али Джафар.- Он - наш, хоть и ученый. Прошу любить и жаловать: Омар Хайям.

- Аман.

- Усман.

- Хасан.

Омар удивился, увидев среди них синеглазого болгарина:

- И ты здесь?

- Хочу заработать несколько монет. С караванщиками я не поладил. Отстал от них. Надумал жить в Самарканде.

- Ну, на этих пнях-корягах не очень-то много зарабатываешь.

- Оно так. Вот ты человек ученый. Не купишь ли, Друг, у меня книгу? Старинная книга. Румийская.

Он достал с расщепленного пня потертую сумку, порылся в ней, вынул тугой пергаментный свиток. Развязал, отвернул конец широкой полосы и огорошил Хайяма:

- "Атараксия". Изложение Эпикурова учения. Омар даже вздрогнул! Давно хотелось ему ознакомиться ближе с прогремевшим этим учением. Но болгарин, взглянув на Омара, тут же остудил его порыв:

- Нет, пожалуй, такому юнцу оно ни к чему. К Эпикуру прибегает человек усталый, битый, хмурый, который ищет отдохновения от мира с его бескоп-чными дрязгами. У тебя же все впереди. Успеешь.

Омар - с горечью:

- Похоже, мне, при моих повадках, очень скоро придется прибегнуть к нему.

Руки тряслись у Хайяма, когда он взял у болгарина тяжелый свиток. Ровные четкие строки. Какая жалость! Греко-румийского языка он почти не знал,- запомнил лишь то, чему учил его, между делом, шейх Назир. Но ведь то, чего не знаешь, можно узнать!

- Не читаешь по-румийски?- догадался болгарин по досаде в глазах молодого перса.- Буду учить, если будешь, хотя бы помалу, давать на хлеб и вино.

- Смог бы. Когда закончу свой трактат. Но ты... тыто откуда знаешь румийский? И вообще, откуда у тебя эта книга? Среди караванных охранителей грамотных вроде быть не должно.

- Как знать,- усмехнулся приезжий.- А книга... она издалека. Ладно. Я вижу, тут все - свой народ. Так уж быть, расскажу о себе. Я, братья, никакой не болгарин. Я - рус.

- Неверный?- ахнул Аман.

- Да, христианин,- подтвердил гость.- Ты не бойся. Я не кусаюсь. Не шарахайся от меня. Вместе ели, вместе пили,- чего уж теперь. Имя мое - наше, славянское - Светозар. А христианское - Феодул.

- Эх откуда тебя занесло! Пейдул?- переспросил Омар.- Светозар, Пейдул... Не знаю, как по смыслу, на слух Светозар звучит гораздо лучше.

- И по смыслу - гораздо лучше,- ответил Светозар.- Феодул значит "раб божий".

- У нас тоже старые, иранские, имена лучше звучали: Вартазар, Тигран, Ануширван. И тюркские: Алгу, Бейбарс, Тарагай. А нынче...- Он потешно закатил глаза:- Абу Амр Ухайха ибн аль-Джулах,- чуть не задохнувшись, он сглотнул слюну,- ибн Абд аль-Ваххаб ас-Сафа! Кто, не зная арабского языка, может запомнить - и сказать, что это значит? Светозар-Пейдул...

Рассмеялись. И возникла между ними всеми сразу та особая близость людей добрых и честных, когда у них всех - одно сознание: они друг другу свои, и никто никому ничего плохого не сделает. Доверие. Четверо мусульман: ученый математик, дворник и безземельные селяне, совсем забыв о том, что Светозар - чужой по вере, слушали его повесть как индийскую сказку.

Родившись где-то в селе на Днепре, Светозар трех лет попал в печенежский полон. Десять лет пропадал в неволе. Потому-то он так хорошо знает степную речь. Среди волжских болгар может сойти за болгарина, среди тюрок туранских - за тюрка. Однажды русское войско, побив печенегов, освободило пленных. Человек одинокий, безродный, Светозар был определен послушником в Киево-Печерский монастырь.

- Вроде нашей ханаки?- заметил Али Джафар.

- Вроде.

Здесь он заново приобщился к русской речи, научился письму и чтению, и румийский язык одолел, и еврейский. Грамота в почете на Руси. Но зато бит и обижен "многожды и без правды". Всего же обидней бышо ему за смердов,- ведь он сам из них: монастырь захватил всю землю в округе, и мужики через то впали в нищету. От печенегов - терпи. От князей своих - терпи. И еще - от бездельных монахов, ненасытных слуг божьих. Иль оно бесконечно, людское терпенье?

- Все как у нас,- вздохнул Омар.

- Большое зло накопилось в народе!- продолжал суровый Светозар.- Знаешь, в засуху: оброни в траву хоть искру малую, сразу вспыхнет вся степь. Так и тут - подвернулся случай. В позапрошлом году налетело с диких полей новое племя враждебное, кипчаки хана Шарукана,- на Руси их прозвали половчанами. На реке Альте пришельцы расколотили Князей Ярославичей, такого страху нагнали на них, что Святослав утек в Чернигов, Изяслав и Всеволод укрылись в Киеве. Бедный люд сбежался на сходку - вече, запросил у Изяслава коней, оружие, дабы отбиться от скопищ половецких. Изяслав отказал. То ли не захотел, боясь свой же народ, то ли негде было взять.

И сотворился бунт. Хотели убить Коснячка-воеводу, злодея, он убежал. На княжеском дворе устроили погром. Стефана, епископа Новгородского, гостившего в Киеве, удавили его же холопы.

- Епископ - вроде нашего муфтия?- определил Омар.

- Вроде.

- Удавить святого муфтия?- изумился Аман.

- А что? Поделом ему.

Толпа мятежных людей, поведал далее Светозар, напала на Киево-Печерский монастырь, чтоб захватить "в полатах церковных... имение их сокровена".

Он признался:

- Я вел тех людей. Ибо проведаль путь в ризницу, хранилище богатств монастырских...

- Ограбить святу ханаку?- поразился Усман.

- Зачем ограбить? Вернуть свое. И дотла разорить гнездо проклятых истинных грабителей.

Житья от них не стало.

- Как у нас,- отметил Али Джафар.

- Ну, было больше крику, чем проку. Постигла нас неудача,- поник головой Светозар.- Изяслав, бежав за рубеж, вернулся с войском Болеслава, польского царя, и учинил над нами расправу жестокою. Иных ослепил, иных - лишил живота. Мне удалось спастись. Попал я, после долгих мытарств, на Волгу, в славный Булгар, нанялся в охрану караванную - и вот уже здесь.

- А дальше?

- Назад мне путь заказан. Видно, так и буду бродить с караванами. Может, вернусь домой лет через десятьпятнадцать, когда забудется все.

Странно как-то стало у них на душе: будто земля широко раздвинулась и наполнилась гневными голосами. Мы, занятые всегда лишь собою, не знаем, что вот сейчас, сей миг, где-то далеко-далеко, в чужой стране, кипят те же страсти, что здесь, и люди, такие же, как мы, бьются за такой же кус хлеба.

- Похоже, у вас - все как у нас,- подвел черту Омар.- Одного у нас не может быть; князей гонять, монахов бить. Мы народ послушный, смиренный, богобоязненный.

Али Джафар - с хитрецей:

- Не всегда мы были смиренными! Богачи забывчивы. Народ все помнит. Мой дед - мир его праху - рассказывал: в Бухаре бедняки (давно это было) взбунтовались против царя, и помог им пришлый тюрк Абруй. Крепко досталось тогда ханам! Выкинули их вон из Согда. Но другой тюрк, степной правитель Кара-Чурин, подавил восстание. И был еще Муканна, вождь "людей в белых одеждах", который долго и храбро сражался против халифских войск. И не так уж давно, в Табаристане...

- А в Рометане, где селяне напали на Исмаила Самани?- подал несмелый голос Аман.

- У нас, в Самарканде, Исхак ибн Ахмед бунтовал,- тихо заметил Усман.

- И карматы возмущались,- напомнил Али Джафар.- Так что, как видишь, смелости нам не занимать.

- Ну, это когда происходило? Все в далеком прошлом,- уныло махнул рукою Омар.

- То, что хоть раз случилось в прошлом, говорил мой дед,- непременно повторится в будущем. Выпадет случай, опять подымем восстание,- прошептал Али Джафар, оглянувшись.

- Бунтуйте, бунтуйте, что толку?- пробормотал Омар, внезапно задумавшись.

Бунтовать - дело Али Джафара и этих троих. Дело Омара - помочь бедному люду своими знаниями.

Если всего час назад ему было тошно даже думать о работе, то сейчас у него в груди заныло, руки затвердели от желаний скорее взяться за перо и бумагу. Ибо теперь работа приобрела смысл. Чем быстрее он закончит трактат, тем скорее наступит мир на многострадальной земле. Не станет путаницы в алгебре - не станет раздоров среди людей. Ясность - честность. За работу! Сейчас же за работу...

- Вот что! Я тоже изгой. Я куплю твою книгу. Сколько дирхемов тебе дать за нее?

- Считать дирхемами я не умею: у нас монеты не в ходу. Гривны у нас, бруски серебра. От них отрубают сколько нужно.

- Зато мы с Али Джафаром умеем считать дирхемами,- наскреб охоты пошутить Омар.- Мы с ним вместе книгу одну покупали.- (Али Джафар, покраснев, хохотнул).- Что ж, книга твоя старинная, редкая - даю за нее десять дирхемов. На, держи. Ты где ночуешь?

- В караван-сараяе у Ходжентских ворот. Спросишь Хасана-Булгара.

- Хорошо. Я тебя найду. Будешь учить меня румийскому языку. Удобней бы здесь, но здесь я сам чужой.

- Разумею. Верно, придешь?

- Когда закончу трактат.

Пиши, любезный. Пиши свой трактат. Из калитки, ведущей во двор, на них глядел дворецкий Юнус.

С кумиром пей, Хаиям, и не тужи о том,

Что завтра встретишь смерть ты на пути своем!

Считай, что ты вчера уже простился с жизнью,

И нынче насладись любовью и вином. Молодой змей ненасытен.

Он стремителен в порывах убогаторить свою законную прозорливость. Весь мир человеческих знаний и весь мир человеческих ощущений хотел постичь Омар ясным умом и чистым сердцем. Не потому ли такое важное место занимала в его душе Ферузэ, а теперь захватила Рейхан? Отчего бы и нет?

Он не видел ничего зазорного в их отношениях. Как и в той чаше чистого вина, что выпивал с устатку. Они ему на пользу. Он человек здоровый. Он до сих пор не знает - и до конца своих дней не узнает, что такое боль в животе и что такое зубная боль.

- Ты почему не взяла пять монет?- сказал Омар, наливая ей чашу вкусного вина, когда Рейхан опять пришла к нему ночью, распространяя, в оправдание своего имени, пряный запах душистого базилика.

- Пять монет? Э!- Рейхан беспечно махнула рукой.- Все равно их не хватит на выкуп. И еще, ты меня... пристыдил. Я тоже хочу... платить за любовь - любовью. А там... будь что будет.

- Ах ты, златоглазое чудовище!- Он с силой привлек ее к себе.

Напрасно Омар боялся, что она будет ему мешать. Наоборот! Рейхан дополнила, уравновесила жизнь. Работал он теперь без срывов, без сумасшедшего напряжения, перестал шарахаться от каторжного труда к тупому скотскому безделью. Все встало на свои места. Есть Рейхан. Есть вечерний кубок вина в награду за тяжелый труд. От них - спокойствие, уверенность, невозмутимое терпение.

Часто, считай, через день, приходил Мухтар. Позабыв о еде, о питье, о жите-бытье, они час, и другой, и третий колдовали с циркулем и линейкой над широкой доской, посыпанной пылью. Иногда выезжали за город, мерить участки. Но в ханаку, к дервишам, Омар не хотел больше заглядывать. Пусть Али Джафар с друзьями, как время присплет, шарит у них в "полатех", чтоб захватить "имение их сокровена"...

Терпение терпением, но усталость все же берет свое. Железо и то устает, ломается. Зима позади. Если б Омара спросили, какой она была: морозной, снежной, влажной, сухой, он не сумел бы ответить. Он не заметил ее. Проглядел и весну.

И вот однажды, уже в начале необыкновенно знойного лета, взлохмаченный, бледный, Омар, потрясая линейкой и циркулем, накинулся на судью Алака и Мухтара, зашедших его проведать:

- Уравнения третьей степени? Решать их с помощью вот этих безделушек? Нет! Только с помощью надлежаще подобранных конических сечений. Конических сечений!- Он, совсем забывшись, схватил, как драчун, судью за грудь.- Вернее, тех их частей, которые дают положительные корни. А?

- Согласен, родной, согласен!- Судья попятился в шутливо-притворном испуге.- Кто возражает? Уж мы-то намучились с ними, с треклятыми уравнениями!

- Вот.- Омар сунул Мухтару чертеж.

- С помощью конических сечений?- потрясенный Мухтар закусил губу, отер мгновенно вспотевший лоб.- Верно. Иначе и быть не может. Поздравляю! Ты первый сказал об этом. Первый в мире.

...Пройдет 566 лет, прежде чем Декарт в Европе придет к такому же выводу, и еще 200 лет, пока это докажет Ванцель...

Омар опомнился, устыдился своей горячности.

- Разве?- сказал он с недоумением. И радостно:- Да, и вправду! Но... как же раньше не догадались? Так просто...

- Ждали тебя. Не каждый год совершаются открытия.

- Да, да, конечно,- произнес рассеянно Хайям, опять переключаясь мыслью на свой трактат.

...Через десять-пятнадцать дней он выйдет во двор и с равнодушным, как у слепого, безмятежно-тупым выражением на лице, не стесняясь судьи, скажет Али Джафару:

- Сбегай к мугу, принеси большой кувшин вина. самого лучшего! Будем пировать.

Подойдет, как больной, к помосту под вязом, растянется на спине, закинет руки за голову - и с мучительным стоном замотает ею.

- Что с тобой?- всполошится Абу-Тахир.

И дворецкий Юнус, наострив слух, услышит отрешенное, даже враждебное,- так иной с тихим отчаянием, покорностью судьбе и готовностью понести любое наказание сказал бы, что убил жену:

- Я... закончил свой трактат.

Алгебра, алгебра. Альмукабала...

- Омар, вставай! Омар - Молодой математик, проснувшись от крика во дворе, поплелся, еще не совсем отрезвевший, на террасу-айван, изумленно уставился на Али Джафара и Юнуса, сцепившихся в безобразной драке. Вокруг них суетился, ругаясь, Алак.

- Он украл твой трактат!- Али Джафар свирепо рванул дворецкого за рубаху,- на землю, разлетаясь, с шорохом посыпались исписанные листы.- Я все утро следил за ним. Ты спал, он залез и украл твой трактат! За пазуху спрятал, проклятый.

Дворецкий, затравленно озираясь, резко нырнул вниз, живо сгреб листы - и кинулся в сторону. У ворот - стража. Отрывисто, по-крысиному вереща, он заметался по двору. Ни злобы, ни даже страха нет у него в глазах, только какая-то мутная, непонятная возбужденность и поспешность.

"Зачем это он?- подумал Омар.- Зачем?"

Настигаемый Али Джафаром, дворецкий прыгнул под навес летней кухни и швырнул рукопись в огонь открытого очага...

Высоко взлетело пламя!

Обернувшись к Омару, дворецкий мстительно усмехнулся.

"Зачем?"

Бумага, в отличие от дров, горит без особого шума и треска. Но какой беззвучно-страшный вопль взметнулся к небу от этих листов, испещренных вязью четких строк! На глазах у всех обращались в дым и пепел расчеты и траты Абу-Тахира. Упования безземельных селян, нежный лепет их детей. Мечты Омара Хайяма. Надежды Али Джафара на лучшую жизнь.

- Зарублю!- Али Джафар, сумасшедше сверкая глазами, схватил топор и широко замахнулся им на преступника.

И, видит бог, зарубил бы, если б судья не успел крепко схватить его за плечи.

- Пропал твой труд!- заплакал Али Джафар, отбросив топор.- Столько сил, столько времени...

- Не пропал,- зевнул полусонный Омар.- Он украл и сжег черновик. Трактат - под замком, в сундуке.

- А?- Юнус опешил.

Он отчужденно взглянул на очаг, где листы уже превратились в черные хлопья, вновь обернулся к Омару - и вдруг, по-крысиному тонко взвизгнув, ринулся к нему с кулаками. Уж тут-то отрезвел Омар Хайям.

В математически четкой строй его мыслей, где следствие неразрывно связано с причиной, никак не мог уложиться бессмысленно-нелепый поступок Юнуса. Ах, негодяй! С чего тебе вздумалось вредить Омару? Что плохого тебе сделал Омар,- мало денег давал на хашиш? Давал каждый день, сколько мог. Вся ненависть к темному миру, воплотившемуся в этом дурном человеке, горячей волной хлынула Омару в грудь и голову,- и он, закипев, с готовностью рванулся навстречу:

- Давай! Я тебе кости переломаяю...

Удар!- и нет у Юнуса передних зубов. Обливаясь кровью, он упал на колени. Ногою - удар!!- и повержен Юнус на щербатые плиты двора.

- Хватит, убьешь!- вопит Алак. Вдвоем с Али Джафаром они кое-как оттащили озверевшего молодца от жертвы.

Омар, весь дрожа, задыхаясь:

- Долго ты будешь, собачий сын, помнить Омара Хайяма!

- Успокойся, родной, успокойся,- гладил его по плечу Абу-Тахир.- Я сам с ним разделаюсь.

Эй!- крикнул он безмолвной страже у ворот.- Отволоките его в темницу.

- Не надо,- переводит дух Омар.- Довольно с него! Пусть отведут домой.

Судья - с удивлением:

- Жалеешь?

- Жалею.- Омар вытирает слезы.- Я... больше никогда... не буду бить человека.

- Ох, сын мой! Будешь. Иначе - затопчут. Ладно, сделаем по-твоему. Эй, отведите дурака к жене! Он более не служит в этом доме. Идем, Омар, мне нужно с тобою поговорить.- Губы у него белые, руки трясутся.

И Омар подумал, что судья судей со всем своим могуществом совершенно беспомощен в этом неумолимо жестоким мире и ничего по существу не решает в нем. И его, Омаров, трактат, пожалуй, никому ничего не даст.

- О чем разговор?- спросил Хайям угрюмо. Какой еще подвох ему приготовила жизнь? Теперь он никому и ничему не верит.

- Сейчас узнаешь,- ответил Алак загадочно.- Разговор очень важный. Очень. Большой разговор.

- Ну... что ж. Пойдем.- Омар сосредоточенно потер ушибленные пальцы.- Я-то хотел сбегать на базар, в книжный ряд, к переплетчику.

- Ни боже мой! Из дому не выходи. Опасно. Кто их знает. Сейчас же отдай рукопись мне. Я призову переписчиков и переплетчиков сюда, ко мне в жилье, и здесь, на моих глазах, они сделают все, что нужно.

Уселись. "Сейчас он меня ошарашит". Судья - осторожно:

- Сын мой, не наскучил ли тебе Самарканд? "Он хочет меня прогнать! - похолодел Омар.- Отнимет рукопись и выбросит меня на улицу. Из-за Рейхан. Его достояние, может - любовь. Эх, навязалась девка на мою го.-юву! Куда я денусь, если судья откажется уплатить за трактат? Ну, что за жизнь! Когда мне дадут быть самим собою, распорядиться собой по своему усмотрению?"

- Самарканд - город прекрасный,- не менее осторожно ответил Омар.- Он никому никогда не может наскучить.

Судья, помедлив, твердо сказал:

- И все же тебе придется его покинуть! Очень скоро. На днях.

- Почему? Чем я тут не угодил?

- Угодил. Хорошо угодил! Потому и уедешь.

- Эю как же? Не понимаю.

Судья все медлил, тянул, предвкушая, видно, яркий всплеск восторга, который должен был последовать сейчас со стороны подопечного, и, насладившись его нетерпением, объявил торжественно и снисходительно, как помилование преступнику:

- Его величество хакан Шамс аль-Мульк Наср требует тебя к себе, в Бухару!

Но у Омара это вызвало лишь удивление:

- Зачем?

- Ему нужен при дворе хороший математик, ученый собеседник, бескорыстный советчик в сложных делах.

- Откуда он знает обо мне?

- Знает,- усмехнулся Абу-Тахир. Похоже, он сам написал об Омаре хакану. Очень похоже.

- Я - при дворе?! - У Омара низко, сутуло прогнулись плечи, будто- на них взгромоздили тяжелый камень. И он, казалось, растерянно озирается из-под него.- Приживусь ли? В математике, положим, я кое-как еще разбираюсь. Но при дворе, говорят, надо хитрить, угождать, потакать правителю в его причудах. Я не сумею...

- Юнец! - рассердился судья.- Поедешь - и все тут, хочешь не хочешь. Посланец хакана ждет во дворце городского правителя. Между прочим,- Алак исподлобья сверкнул на Омара

степными узкими глазами,- он взял с собою отличную стражу.- И заворчал оскорбленно:- Смотрите, сколь привередлив... Другой бы от радости рыдал! Какой-нибудь несчастный Зубейр мечтать не смеет о такой удаче. Все! Собирайся полегоньку. Завтра я произведу с тобою расчет за трактат. Скажи хоть спасибо, неблагодарный!

Омар - уныло:

- Спасибо! Дай бог тебе всяческих благ...

- Говорят, уезжаешь? - Она поднялась к нему на крышу, где Омар расположился на ночь, поскольку внизу, в жилье, чуть не свихнулся от духоты. На сей раз Рейхан забыла,- или не хотела,- облиться водой и натереться листьями базилика и пахла тем, чем и надлежит пахнуть служанке: пылью, потом, золою.

- Уже говорят?

- У нас, на женской половине, все жалеют, что ты уезжаешь. Всегда любовались сквозь щель в калитке: пригожий, тихий, задумчивый. И судья из-за тебя стал добрее.

- И ты... жалеешь?

- Я? - Он услышал ее резкий смех, сухой и злой.- Мне-то что? Я невольница, ты человек свободный, едешь, куда хочешь. А я родную мать не могу повидать.- Она заплакала, так же сухо и зло, без слез.

- Ну, не надо.- Он присел рядом с нею.

- Ты! - Рейхан внезапно накинулась на него, принялась колотить по голове легкими детскими кулачками.- Откуда ты взялся на мою беду? Жила я себе, как во сне... спокойно, без дум, без мечты... Терпела... Ты мне душу всколыхнул! Разбудил... заронил в сердце звезду... и теперь бросаешь. Что делать теперь? Я же не сумею жить как прежде. Тут горит.- Она провела ладонью по груди.- Эх! Отравилась бы я... отравилась, да жаль умереть, не проведав родных...

- Успокойся, Рейхан, смирись,- бормотал Омар обескураженно.- Я - свободный? Я тоже раб. Раб своих знаний. Взгляни-ка на небо. Ну, хватит беситься, взгляни! Вот так. Видишь, на юге, над горами, высоко над горизонтом, ту причудливую россыпь ярких звезд? Это Аль-Хавва, Заклинатель змей. В западных странах его зовут Змееносцем. Приглядишься. Если крупные звезды соединить между собою черточками, получится человек с острой головой и тонкими ногами. Он держит в руках огромную, яростно извивающуюся змею. Какое дикое напряжение во всей угловатой фигуре! Как дрожат от усилия тонкие ноги. Он бьется, стиснув ее изо всех своих сил, с исполинской царской коброй невежества и мракобесия. Стоит ему зазеваться на миг, ослабить хватку, кобра вырвется из рук - и впрыснет в него весь страшный заряд смертоносного яда. И так - всегда. Он обречен вечно бороться с нею. Именно так бы и надо его называть - не Змееносцем, а Змееборцем. Понимаешь?

Разглядела она что-нибудь, поняла, не поняла - бог весть, но Рейхан, как-то странно притихнув, медленно стянула с себя одежду и со вздохом припала к нему. Золотые глаза ее мерцали, точно далекие, очень далекие звезды. Они и будут мерещиться до конца его дней, чем дальше, тем ярче, в ночных небесах среди недосягаемых созвездий...

- Уезжаешь? - встретил его наутро Али Джафар во дворе.

Омар скользнул по нему отрешенным взглядом и, ничего не сказав, побрел к саду, сосредоточенный, весь углубленный в себя. Три часа он слонялся по саду, недоступный, далекий от окружающих. Казалось, он уже обдумывает новый трактат.

"Не хочет,- подумал огорченный Али Джафар.- Не хочет уезжать. Из-за Рейхан. Или, сделавшись приближенным хакана, он теперь брезгует со мною разговаривать? Нет, не может быть. Просто оглушен человек".

- Здесь тысяча двести дирхемов,- положил перед юным ученым тяжелый кошель судья Абу-Тахир Алак.- Это плата за твой трактат. Хватит, надеюсь?

Но Хайям не спешил взять кошель. Он рассеянно глядел по сторонам, но видел не стены, ковры, резные столбы, а что-то совсем другое.

Судья - нетерпеливо:

- Ну?

- Сколько стоит... служанка? - глухо сказал Омар, преодолев смущение.

Судья - удивленно:

- Служанка служанке рознь. Иная может потянуть и на тысячу золотых динаров.

- Такая... как Рейхан.

- Рейхан?- разинул рот Абу-Тахир.- На что она тебе, чудак? Тысячу дирхемов.

- Хорошо. У тебя... достаточно слуг. Ты дашь мне двести дирхемов, а за тысячу - Рейхан. И мы будем квиты.

- Н-да-а,- протянул судья озадаченно, не найдясь, что сказать. Никогда не знаешь наперед, что может выкинуть такой вот умник.- Станный ты человек. Разве в Бухаре...

Омар - грубо:

- Я хочу Рейхан!

- Ну, что ж.- Сделка, честно сказать, пришлась судье по душе. Рейхан, у которой нет ни особой красоты, ни редкостного телосложения, досталась ему три года назад всего за триста дирхемов.- Будь по-твоему. Эй! - позвал он писца.- Строчи дарственную. С этого дня невольница Рейхан из Ходжента переходит в полную собственность Абуль-Фатха Омара ибн Ибрахима Хайяма Нишапурского. И он волен делать с нею все, что пожелает.- И вновь Омару:- Станный человек! Не могу представить, как дальше ты будешь жить.

- Проживу как-нибудь.

- "Как-нибудь" - это не жизнь.

- Мы ее, господин, понимаем по-разному. Судья приложил к бумаге печать. Омар, свернув ее, спрятал за пазуху вместе с дирхемами, низко поклонился судье. Выйдя во двор, кивнул Али Джафару:

- Пойдешь со мною?

Али Джафар, обрадованный, не стал расспрашивать, куда, зачем. Всю дорогу Омар молчал, угрюмый, холодный, и Али Джафар не донимал его любопытством. В караван-сараяе у Ходжентских ворот они разыскали руса Светозара. Похудел, почернел,- видно, трудно здесь жилось беглецу.

- Есть народ из Ходжента?

- Да. Сегодня туда идет караван. Омар переговорил с главою каравана, вручил ему сто пятьдесят монет, велел Али Джафару:

- Беги домой, вмиг собери Рейхан - и скорее с нею сюда.

...Джафар не узнал усадьбы. Ему показалось даже, что он забрел по ошибке в чужой двор. Нет, это дом Абу-Тахира. Все будто на месте - крыша, стены, навес и метла, которую он бросил давеча у летней кухни. И все же это уже другой дом. Душа дома - близкий тебе человек, нету его - и дом стал чужим, незнакомым.

- Едем? - всполошилась Рейхан.- Омар ждет? Ох! Я сейчас. Долго ли мне собраться? Завяжу в узелочек обувь, платья, платки, и хоть в Хиндустан! - Она рассмеялась сквозь слезы.- Ты посиди, я сейчас...- Рейхан кинулась на женскую половину, но тут же выскочила обратно, боясь, что Джафар уйдет, не дождавшись ее.- Я сейчас! Ох, сейчас...

Голос ее напряженно звенел, переливался от волнения. Разве что у пастушьей свирели бывает этакий легкий, особый, сверляще-певучий и нежный голос. "Чистый жаворонок,- подумал с горечью Джафар.- Эх, собачья жизнь! Мне бы... эту Рейхан. Молился бы на нее".

Второпях ни с кем не простившись и бросив во дворе половину своего убогого имущества, она с легким сердцем покинула постылый двор и в пути щебетала, не умолкая:

- О аллах! Я, когда первый раз увидела Омара сквозь щель в калитке, сразу почуяла, что у меня с ним что-то будет. И не ошиблась, а? Сердце - оно не обманет. Он добрый, правда? Умный. Красивый. А где его вещи - ты уже отнес их в караван-сарай?- И вдруг, потемнев, остановилась.- почему мы идем к Ходжентским воротам,- почему не к Бухарским?

- Идем, куда надо,- хмуро сказал Джафар. Она стихла, понурился голову. Подбили жаворонку крылышко! Рейхан с недоумением взглянула на свой узел и, бурно разрыдавшись, швырнула его через ограду в чейто двор. Джафар, пошумев, вынес узел, крепко схватил девчонку за локоть и не отпускал до самых Ходжентских ворот.

Бедняжка Рейхан. Как она плакала, кричала у тех злосчастных ворот. Билась лбом о глинобитную ограду, во весь рост кидалась на землю, поднималась - и вновь бросалась в пыль. Целовала Омару ступни, обнимала колени.

- Не вопи, глупая! На днях, бог даст, увидишь мать.

- Не отсылай! Что мне мать? Возьми с собою.

- Куда?! Я сегодня не знаю, что будет со мною завтра. Пропадешь со мною.

- Без тебя скорее пропаду.

- Не дури! Вернешься домой, выйдешь замуж (я разрешаю) - тотчас забудешь о несчастном Омаре Хайяме.

- Вовек не забуду!

- Ну, и ладно. Буду жив - какнибудь заеду к тебе в Ходжент...

Поручив девчонку заботам пожилых степенных женщин, отъезжавших в город на Сейхуне, сунув ей в узел дарственную запись и отпускную, а также тридцать дирхемов на еду и прочее, Омар проводил безутешную Рейхан далеко в поле и вернулся безмолвный, с каменным лицом. Что творилось у него в душе, то никому неизвестно. И никому неизвестно, отчего, зайдя в харчевню при караван-сараяе, он вдруг развеселился, взял медный поднос и, стуча в него, как в бубен, приказал мальчишке-прислужнику плясать.

Двадцать последних дирхемов они втроем: Омар, Светозар, Али Джафар - честно пропили в дымной харчевне. Ибо эта их встреча была последней.

*Мы больше в этот мир вовек не попадем,
Вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье,-
Его не подстеречь уж никогда потом...*

"Итак, похоже, мы мало-помалу выбиваемся в люди?

Жизнь - великолепно!

Однако...

Если я поеду в Бухару служить хакану, дадут ли мне думать? Быть самим собою? Или я стану одним из тех бесчестных людишек, что продают разум и совесть за царскую жирную похлебку?

Плохо! Лучше я сбегу по дороге. Куда-нибудь в Баласагун, а то и дальше, в Кашгар...

Но ведь и без них, высоких этих покровителей, бедный ученый нигде ничего не может создать. Ему надо есть. Надо пить. Надо где-то жить, на чем-то спать. И посему - кому-то служить. Проклятье! Жаль, что человек, с его-то разумом, остается все-таки животным. Я не ел бы, не пил и не спал, если б можно было и так обойтись. Зачем все это бродяге-поэту?

Фердоуси - тот мог, ни о чем не тревожась, не торопясь, четверть века писать свою "Книгу царей". Богатый помещик, знатный дехкан, он не нуждался в чьей-либо опеке и способен был сам содержать слуг, переписчиков и чтецов своих стихов. А как быть, куда деваться человеку, у которого всего-то добра - пять-шесть истрепанных книг?

Смирись, бездомный! Необходимость.

Жизнь - торг. Ты нужен хакану, хакан нужен тебе. Поедешь в Бухару. Это и впрямь удача, о которой подлый Зубейр не смеет и мечтать. Хотелось бы мне сейчас взглянуть в его дурные глаза. Ну, погодите, неучи! Я вам покажу.

Э, в том-то и горе, что сколько глупцу ни показывай - ничего не докажешь. Его надо просто избегать. Или, лучше всего, подражать ему? Тьфу! Нет, прав судья: я и вправду странный человек. Сам не знаю, чего хочу.

То есть знать-то знаю, однако... Эти "но" и "однако"! В них вся пагуба человеку".

Бухара. Что сказать о ней? Удивительный город. Единственный в своем роде. Город ученых, поэтов, искусных зодчих. Омар мог часами, не отрываясь, взирать на гробницу Исмаила Самани. Нет нигде больше в мире подобных строений. В плане - проще не может быть: полусфера на кубе. И кирпич - обычный кирпич, тяжелый и твердый, как всякий другой. Но уложен он так хитроумно, затейливо, разнообразно, что видишь перед собой нечто воздушное, легкое, вроде резной шкатулки из слоновой кости.

Здесь и теперь кое-что воздвигалось: медресе, мечети, ханаки. Но знал Омар - при всей красоте высоких зданий, они, будучи опорой духовенства, утверждают не красоту человека, создавшего их, а его ничтожность, бренность, возвеличивая то, чего нет на самом деле - божью премудрость. Это нелепо и потому обидно. За человека.

Может быть, через тысячу лет они и станут народной гордостью, всеобщим достоянием, как пирамиды в Египте, но пока что в них - лишь оплот мракобесия. Сколько сил человеческих, ума, умения, душевной тонкости уходит, по чьей-то неразумной воле, на химеру. Между тем, как нет просторных жилых домов, настоящих школ, светлых лечебниц.

...Говорят, хакан Шамс аль-Мульк крайне возносил Омара, сажая его с собою на трон. Не очень-то похоже на правду, а? Цари, как известно, весьма неохотно подпускают к престолу чужих. Даже своих - сын отца, отец сына, брат брата - безжалостно режут из-за уютного места на троне.

Не вызывает сомнений одно: эти три года при дворе хакана прошли для Омара Хайяма впустую, если не считать, конечно, частых попок, собачьих драк и прочих, обычных тут, ничемных развлечений. Ну, и горьких раздумий. Хотя они как будто и не относятся к делу?

Что угнетало его? Окружение? Низость, наглость и какая-то необъяснимая, прямо-таки фатальная склонность к предательству у царских прихлебателей, всех этих горе-поэтов, лживых звездочетов, бездарных врачей? Пожалуй. Вместе едят, вместе пьют. Вместе злословят о

правителе и его женах. И, едва разойдясь, бегут, сломя голову, к хакану: кто первый, в экстазе подобострастия, успеет донести.

Но жил же на свете честный Авиценна, который рожден был именно здесь, дышал здешним воздухом? Устыдились бы, вспомнив о нем? Где уж. Ведь как раз им подобные и свели его в могилу.

Зависть, спесь, явная и тайная паскудная грызня, удар в спину - разве это могло быть по душе Омару Хайяму? Не потому ли, находясь в священной Бухаре, он написал:

*Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глотать, чем прельститься сладостями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.*

...Сто лет лежит огромный камень на круче. Ни дождь его не может смыть, ни ветер свалить. Но вот однажды, где-то внутри земли, что-то колыхнулось. И камень, качнувшись, падает - точнехонько на голову одинокого путника, что идет себе тихо, ни о чем дурном не думая, из одной зеленой долины в другую.

Пока Омар пребывал при хакане, в Иране и Туране произошли крутые перемены. К ним он вовсе не был причастен, но они, тем не менее, прямо отразились на его судьбе. Наверное, ни у кого еще жизнь не зависела так резко и грубо от внешних причин, от чьей-то злой или доброй воли.

От чьей? Художники, ученые, поэты несут в мир благо, покой и радость. Поэт дрожит над розой, над каждой сочной травинкой, боясь на нее наступить. Не было в мире поэта, что призвал бы в стихах к насилию, убийству, грабежу. Если же был такой, то он не поэт. Это жулик, мерзкий стихоплет. Смуту и смерть несут народу болтуны-лицемеры, самозванные пророки да полководцы, которых до желтизны изнуряет жажда славы и почестей.

Султан Али-Арслан погиб в бою с караханидами. Но сын его, новый султан Меликшах, разбив Шамс аль-Мулька, заставил его признать сельджукское превосходство. После Многих лет яростной вражды наступило как будто затишье. Шамс аль-Мульк женился на одной из туркменских царевен, Меликшах - на племяннице хакана, юной красавице Туркан-Хатун, той самой, что в свое время отравит Омару Хайяму жизнь. И не ему одному.

Новый султан перенес столицу из Мерва в далекий Исфахан. Визирем при нем - его воспитатель, уроженец счастливого Туса, мудрый Низам аль-Мульк...

- Отчего,- спросил визиря Меликшах, безбожно мешая персидскую речь с родной, огузской (до того, как стать мусульманами, туркмены назывались огузами),- в нашей стране столько нищих?

Низам аль-Мульк, отодвинув книгу, вскинул на тюрка внимательный взгляд. Прежде, еще ходя в наследниках, Меликшах не задавал таких вопросов. Что ж, видно, разум его, слава богу, созрел для забот о государстве.

- Мало чести - слыть царем голодранцев! - продолжал сердито Меликшах.- Или у нас перестали пахать и сеять? Нет, я видел: ковыряют землю. Где же хлеб, где плоды? В селениях великий шум. Крестьяне ропщут на вельмож, вельможи - на крестьян. Когда б ни приехали сборщики податей, один ответ: или еще, или уже нечем платить. Кто и что тому виною?

- Виноватых много,- тихо сказал визирь.- Но прежде всего - календарь.

- Календарь? - Удивлен Меликшах! Вот уж не думал новый султан, что благополучие огромной страны может зависеть от каких-то ничтожных бумажек. Но, хвала всевышнему, он, в

отличие от своих предшественников, если и не ахти как учен, то хоть грамотен. Что само по себе уже немало. Для тех, кто сидит на троне. И ему захотелось узнать:- Почему?

- Вот, государь,- визирь положил на книгу ладонь,- "Кудатгу-билиг", сочинение Юсуфа Хас-хаджиба Баласагунского. Он пишет о земледельцах: "Они - нужные люди, это ясно. С ними ты общайся и хорошо обходись. Пользу от них видит всякий".

Просвещенному правителю, о государь, должно быть известно: жизнь траве, хлебному злаку - и, значит, скоту, дает, по милости божьей, не луна, а солнце. И крестьяне Ирана и Турана издревле привыкли рассчитывать полевые работы по старому, давно проверенному, солнечному календарю. Ибо каждое растение знает свое время,- и пахарь должен знать время каждого растения. Ячмень не заставишь зеленеть в стужу, вишня цветет по весне, а сорго созревает лишь осенью.

Однако теперь,- продолжал визирь,- календарь у нас лунный, чужой, который сюда занесли мусульмане. Я не спорю,- может, он весьма удобен в горячих песках, где живут племена кочевых бедуинов,- он хорошо приспособлен к их сонному быту. Но у нас, в стране земледельцев, где, как говорится, летний день год кормит, видит бог, непригоден лунный календарь. Ибо лунный год не совпадает с истинным, солнечным. Он гораздо короче. Между ними разница в одиннадцать с чем-то дней. Повелитель может представить, какой разрыв нарастает в календаре за долгие годы! Отсюда и раздоры при сборе податей: урожай-то еще на корню, скот далеко от хлебных полей, а по новому календарю уже пора взимать налоги. Не все новое, как видите, полезно...

Султан - весь внимание:

- И что же из этого следует?

Уж теперь-то, кажется, уразумел правитель, что ничтожные листы, составляющие календарь, да и любой клочок исписанной бумаги, способны отразить, как медные щиты - ночной небосвод с луной и звездами, весь сложный век с его победами и поражениями, несчастьем ошибок и заблуждений, успехами, неудачами, невероятной смесью правильных и ложных представлений. Отразить и даже - преобразить.

- Нужен другой календарь. Подлинно новый. Потому что и в солнечный, старый, всякий, кто мог из царей, вносил ералаш, то запрещая, то отменяя високосы. Короче, следует год вернуть на место. Лишь тогда в стране наступит мир. Не будет восстаний. Будет прибыль и земледельцу, и царскому дому, и войску.

- Да, войско надо кормить,- вздохнул Меликшах озабоченно.- А кормить нечем. Что станет с нашими владениями далеко на восходе и на закате? Новый календарь. Кто в силах оный создать?

- Астрономы, ученые люди.

- Где они? Я их что-то не вижу в нашей стране.

- Были! Но ваш покойный родитель, да освятит аллах его могилу...

Царь - строго:

- То совершалось ради истинной веры.

Визирь - смиренно:

- Кто знает ее, кроме бога? У людей: что вчера считалось ложью, нынче правда, что сегодня правда, то завтра - ложь. Ежели государь дозволит, я расскажу старую притчу. Она поучительна. Можно? Так вот, некий весьма благочестивый шах решил истребить всех смутьянов, дабы они не сбивали с толку правоверный народ.

- Всех?

- До одного.

- Хорошо сделал.

- Послушные слуги шаха разбрелись по стране, хватали смутьянов и тут же рубили им голову. Шах доволен: уж теперь-то в его державе наступит век благоденствия! Он торопил уставших слуг и наказывал нерадивых. И вот однажды они, заляпанные кровью, донесли: "Повеление ваше исполнено, о государь!" - "Хорошо! - воскликнул шах.- Я награжу вас за верную службу. Но где же народ, почему я не слышу ликующих кликов?" - "Некому ликовать, государь. У нас больше нет народа".- "То есть как?" - "Все обезглавлены"...

- Хм. Злая притча! Но это... похоже на нас?

- Тем хуже для нас! Где это видано, государь, чтобы тридцать-сорок или все пятьдесят миллионов людей, живущих в огромной стране,- людей разных обычаев и преданий, языков, происхождения, навыков и способностей,- думали все, как один, до мелочей, совершенно одинаково? Это невозможно. Не бывало и никогда не будет. Тогда бы зачем они все? Их бы надо и впрямь истребить и оставить в живых лишь одного законника, который может всех заменить. Ибо он непогрешим. Пусть сидит один, любит себя сам и радуется своему единомыслию... Нет, повелитель! Сколько людей, столько характеров. Сколько характеров, столько и судеб. Сколько судеб, столько мировоззрений. Лишь бы они не нарушали общих правил поведения. А думать всяк волен, что хочет...

Ученых найдем, государь. Хвала всевышнему, они народ живучий. В Бухаре, я слышал, служит хакану некий Омар Хайям. Наш, нишапурский. Большого ума человек. И к тому же - блестящий поэт. Не чета Абдаллаху, сыну Бурхани, пустослову (простите), пригретому вами,- подкинул приманку визирь, который сам терпеть не мог ни бойких рифмоплетов, ни всяких суфиев с имамами, считая их дармоедами, но хорошо знал, что новый царь, как и все из рода Сельджукидов, весьма охоч до хвалебных касыд.

- Наш? Поэт? Служит хакану? Почему он оказался в Бухаре, у чужих?

- Но, государь,- да не сочтет его августейшее мнение речь мою за глупую дерзость,- это всякому ясно! Уж коль человек, умный и честный, бежит от своих к чужим, то значит свои - хуже чужих. О повелитель! Верхом на коне можно взять страну, править ею с коня - невозможно. Хватит набегов и грабежей! Власть надо ставить на мудрую основу. Иначе ее - не дай господь! - так легко потерять. Вместе с жизнью. Пусть повелитель вспомнит: его родитель, грозный Алп-Арслан, храбро, как лев, одолев (я, как видите - хе! - тоже поэт) железных румийцев и благополучно, со славой, вернувшись домой, пал, едва перейдя через мутный Джейхун, от случайной стрелы.

- В Исфакане? - встрепнулся Омар.- Строить обсерваторию? О боже! Это... по мне. Низам аль-Мульк... О, мы пойдем с ним друг друга!

Хакан - угрюмо:

- Нам самим тут нужны астрономы. Разве мы тоже не заблудились меж двух календарей? - И с горькой обидой:- Высокомерен Меликшах! Заносчив. Нет отправить в качестве посла вельможу, видного человека,- прислал, в насмешку, какого-то голодранца. О небо! До чего мы докатились.

- Да не будет огорчено сердце хакана моими словами, но... об этом надо было думать раньше.

"Такой нигде не приживется,- подумал хакан раздраженно.- Ни в Туране, ни в Иране, ни в Исфакане, ни в Хамадане. Слишком прям. Как линейка, с которой он не расстается. И дерзок. Но ведь я сам,- смутился, вспомнив, хакан,- просил его наедине со мной честно говорить, что он думает обо мне".

- Начинали вы хорошо, государь. Возводили крупные строения. Отражали врагов. Ограждали селян и горожан от притеснений со стороны ваших буйных сородичей. Но, простите за горькую правду, шайка крикливых славословов, угодников, неучей вскружила вам голову:

"великий", "солнцеликий", "бесподобный", и вы - не в обиду будь сказано - обленились. И не заметили, как попали под Меликшахову пятау...

Хакан, тяжело сгорбившись над своими толстыми ногами, скрещенными на ковре, и отрешенно постукивая указательным пальцем правой руки по кривому носку левого сапога, уныло глядел из-под завернутой полы шатра на летний стан. Человек уже немолодой, суровый, с лицом, дочерна обветренным в степях, он, к удивлению Омара, сегодня по-юношески тих, задумчив, печален.

Невдалеке, за песчаной ложбиной, поросшей верблюжьей колючкой, тянулся пологий холм с остатками старых башен и стен. Варахша - так называлась эта местность.

- У Меликшаха,- глухо сказал Шамс аль-Мульк,- хороший визирь. Человек государственного ума. А мои угодники... терзают страну, губят меня! Меликшах недолго будет довольствоваться данью. Он придет и разграбит державу. Семиреченский Тогрул Карахан Юсуф отобрал у меня Фергану. Еще дальше, в Туркестане, появились какие-то каракитаи (Туркестаном в ту пору называли Кашгар, Алтай и Монголию). О боже! Что будет с нами? Я чувю, грядут неисчислимые беды...- Он повернулся к Омару, схватил его за ворот, крикнул с тюркской горячей яростью:- Оставайся! Будешь при мне визирем. Как твой земляк - при Меликшахе. Разве ты не сможешь?

- Я? - Омар осторожно оторвал от себя его толстую руку, отвел ее в сторону.- Опыта нет, но, оглядевшись, смог бы, пожалуй. Смог бы... если б захотел. Но я,- не гневайтесь, государь,- не хочу.

- Это почему же?

- Ну, не... по душе. Я математик. И поэт. Каждый должен служить своему призванию. Только ему. И только так, как он умеет,- он, и никто другой.

- "Хочу, не хочу!" Привередлив. Надо жить не так, как хочешь...

- А как?

- Как велит аллах!

- Я и живу, как велит аллах! - вспыхнул ученый.- Разве грех - быть самим собою, то есть таким, каким тебя сотворил господь? Сказано: все в руках божьих. Или вы против божьих предначертаний?

Что мог возразить на это степняк, не искушенный в тонких словопрениях? Он согнулся еще ниже, с досадой сбросил тяжелую, скрученную в жгут чалму, будто это она придавила его к земле,- и с мучительным вздохом встряхнул головой.

- Оставайся, а? - сказал он тихо, с мольбою в голосе, как брату, не поднимая глаз, чтоб, не дай бог, не смутить, не обидеть Омара Хайяма.- Разогнал бы всех дармоедов. Собрал ученых. Построил обсерваторию. Взял бы себе в икту любой город с округой - хоть Самарканд, хоть Нур, хоть Несеф. Лучше всего бы - Термез, но теперь он у Меликшаха. Ведь это десятки тысяч золотых динаров...

По медной щеке хакана скатилась слеза. Не понять, о чем он горюет: о том, что эти десятки тысяч не достались Омару или о том, что ускользнули из его, хакановых рук. Омар испугался: вот-вот правитель расплчется в голос, навзрыд, это могут увидеть телохранители. Нехорошо. Цари не плачут. Не должны плакать.

- Успокойтесь! Я... подумаю.

- Подумай! - вскинулся хакан.

- Но что скажет султан, если я останусь?

- Э! - Хакан махнул рукой.- Отпишем ему, что ты уже был назначен визирем. Визиря-то он не посмеет забрать у меня?

- Не знаю. Посмотрим. Я поброжу, подумаю. Мне надо побыть одному.

- Ступай... безбожник,- усмехнулся хакан. О аллах! Почему небо дает одним разум, но не дает им веры, других наделяет верой, но обделяет умом? Неужто разум и вера несовместимы? А может, разум и есть знак высшего божьего благоволения? Как же так, ведь пророк...

Тут от бога он перешел в своих мыслях к служителям божьим, к духовенству. Нет! Хакан боязливо оглянулся, торопливо подцепил рукой и надел чалму. Как бы прикрываясь ею от меча, незримо занесенного над его головой.

Не нужно никаких затей. Только считается, что царь всем и всему в стране господин. Если хотите знать, он тоже раб. Раб жестоких обычаев, страшного времени. Раб жадных священнослужителей, всех этих шейхов, ишанов. И послушных им эмиров, беков, знатных земледельцев. Попробуй их задеть! Сметут. Даже собственному скоту-телохранителю - и тому угождай. А то зарежет, обозлившись.

Омар - он может жить как хочет. Ему-то нечего терять. А Хакану - есть. Пусть все будет как было. Пусть в Европе, где некуда ногу поставить, мудрят над числами и звездами. У нас много земли и воды, много хлеба, нам не нужно спешить. Что касается грядущих бед, аллах оборонит нас от них. Или чет? Хотя...

Запутавшись в сомнениях, правитель велел слуге подать вина и позвать Лейлу, его любимую арабскую плясунью. Забавно глядеть, как, танцуя, она призывно трясет животом и бедрами. Это пока что нам еще доступно.

И радуйтесь, государь, тому, что у вас есть. Никаких новшеств! Пусть едет Омар. Он опасен. Он здесь не нужен.

Хорошо идти, просто идти куда-то, с удовольствием ощущая свое крепкое тело, легкую поступь, ясную голову. Бродя между шатрами по стану, Омар вспомнил о туркменах, приехавших за ним. Надо взглянуть. Опятьтаки просто так, из любопытства. Он еще ничего не решил, но где-то внутри уже знал: в Исфахан не поедет.

Зачем? В Нишапуре еще не высохла кровь его ученых друзей. И теперь-то, когда Шамс аль-Мульк позволяет ему столь неслыханную свободу действий?

Загоревшись, он уже видел гигантский секстант, плавно, отрезком радуги, уходящий ввысь, к небу. Он построит,- может, на том холме? - лучшую в мире обсерваторию. И медресе, лучшее в мире, просторное, светлое. Особое, где молодежь будет заниматься точными науками. Нет, святош он в него не пустит! Пусть изошряются в словоблудии в своих темных кельях.

Он призовет к себе умных людей со всего Турана: астрономов, художников, зодчих, врачей. Всех, способных к творчеству. Противно смотреть на города, похожие на мусорную свалку, с их глухими глинобитными оградами, грязными каналами, с безобразной путаницей тупиков, закоулков и пустырей. На дороги с непролазной грязью, на переправы без мостов.

Здесь возникнут иные города и селения.

С детства часто видел во сне Омар исполинское строгое здание, сверху донизу облицованное ярко-синими и белыми изразцами, изображающими ночное небо и звездный мир,- оно, все как есть, блестящее, стройное, отражалось в прозрачной голубой воде огромного мраморного бассейна, за которым, над белой алебастровой решеткой, чернели густые, в зеленых пятнах, кроны прохладных шелковичных деревьев.

Точно мираж, безмолвно вставало оно, то синее звездное здание у голубого бассейна, в красочных снах.

Иные люди - здоровые, сытые, знающие грамоту, люди, свободные духом, будут с песней трудиться в полях и мастерских. Наука - только она! - способна возродить к новой жизни эту многострадальную землю...

- Сто динаров и три фельса! Грох в грох, трах в прах вашу мать. Хорошо тут встречают гостей. Туркмен без мяса - не туркмен! Нас же кормят пустой просяной похлебкой...

Омар нашел приезжих поодаль, с краю стана, в отдельной палатке.

При виде молодого человека в дорогой парчовой одежде сообразили: перед ними - важное лицо, вскочили, согнулись в низком поклоне.

- Кто предводитель?

- Ваш покорный слуга,- неуклюже выступил вперед рослый воин средних лет в полосатом длинном халате.- Что прикажете, господин?

- Э! - воскликнул Омар удивленно.- Я тебя знаю. Туркмен оробел, попятился.

- Я... вы...- бормочет смущенно,- не припомню, чтоб мы... где-нибудь встречались.

- Встречались! Шестнадцать лет назад на Фирузгондской дороге. Ты - Ораз из племени кынык. Ты просил не забыть о тебе, если я стану большим человеком. Вот я стал им! И не забыл о тебе.

- О боже! - У туркмена подкосились ноги. Он повалился на колени, припал головой к Омаровым сапогам.- Смилуйтесь! Не велите казнить. По глупости...

- Встань! Не таким смиренным ты был тогда на Фирузгондской горной дороге, где зарезал нашего Ахмеда.

Ораз тяжело встал и, не поднимая глаз, сокрушенно развел руками.

- Я тот самый ученый, за которым ты приехал,- добил его Омар.

"Пропал! - похолодел Ораз.- Я пропал, уже умер, будь я проклят!"

- Прикажете... собираться в путь?

- Нет еще,- вздохнул Омар.

Голубой Нишапур, Баге-Санг в цвету. Печальный старик Мохамед. Родные. По пути в Исфahan он мог бы проведать их...

- Пойдем со мною, пройдемся,- тихо сказал Омар. Ораз несмело тащился подле, боязливо поглядывая сбоку, не узнавая его - и уже узнавая.

"Пожалел на свою голову. Прибил бы тогда на Фирузгондской дороге, и не было б нынче хлопот, давно все забылось. Теперь житья не даст".

- Ну, что в Хорасане?

- Все то же. Богатые богатеют, бедные пуще беднеют.

Эх, тоска! Она, давно уже было заглохшая, взметнулась в клубах черного дыма, как из еле тлеющего уголька вдруг вырывается пламя в костре. Даже сей головорез Ораз показался Омару до слез родным. Потому что внезапно, так грубо и зримо, живой и здоровый, с ясными глазами, крепким голосом, явился к нему прямо из детства.

"Убить по дороге в Исфahan! И сказать султану: заболел и умер. Друзья не выдадут. Или - кто знает? Могут продать".

- Ступай назад.- Омар, далекий, как на другой планете, сунул ему, не глядя, золотой.- Купи барана. Зарежь, зажарь, накорми друзей. И собери их в дорогу. Будьте готовы в любой миг выступить в путь. Поеду я с вами, не поеду - тебе тут незачем торчать.

"Э! Ему не до меня. У него своих забот сверх головы. Не станет мстить? Ладно, там будет видно".

По еле заметному, в кустах и песке, руслу древнего канала Омар вышел к холму, влез на обломок стены. Тишина. Черепки. Битый кирпич. Золотисто-белесая охра, глубокие синие тени. И вездесущий янтak, верблюжья колючка. Здесь, говорят, находилось летнее жилье бухар-худakov, славных таджикских правителей. Стояли дворцы, красота которых вошла в поговорку.

Теперь тут пристанище черепах и змей - людоедов-гулей, если верить рассказам, бытующим в окрестностях.

И этот город был уничтожен, как многие другие, свирепыми пришельцами. Ради чего? Ради истинной веры, конечно. Омар подобрал в расщелине крупный обломок - косо отбитый верх кувшина с горлом, ручкой и частью корпуса. Стер ладонью пыль с глазури, и луч солнца, отразившись от гладкой блестящей поверхности, ударил ему в глаза.

Он сел на шершавый выступ стены и впал в оцепенение. Будто сквозь мозг и сердце, вместе с горячим ветром, дующим с песчаных равнин, заструилось само безжалостное время, что грозно течет по вселенной, оставляя повсюду груды развалин. Нигде так явственно не ощущаешь его жестокой неумолимости, как в руинах.

Почему-то вспомнилась Рейхан. Захотелось плакать. По себе, по Рейхан, по людям, женщинам и умершим здесь, по их давным-давно отзвучавшему смеху, угасшим глазам и мечтам. По всему человечеству с обломками его несбывшихся надежд...

Кувшин мой, некогда терзался от любви ты:

Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то,

И ручка, к горлышку протянутая вверх,

Была ее рукой, вокруг плеч твоих обвитой. ...Очнулся он от чьих-то голосов. Кого еще занесло в столь печальное место, кто, кроме Омара Хайяма, может что-то искать в угрюмых развалинах? Он бережно положил обломок в размытую нишу, побрел по откосу из слежавшегося битого кирпича к неплохо сохранившейся башне. Под ногами мелькали ящерицы. С хрустом провалилась глинистая, с солью, корка.

Вот он уже наверху. Вокруг такой простор - хочется голосить во всю мощь! Вдали белеют шатры ханского летнего стана. Справа, внизу, в тени городища, залегло на отдых овечье стадо. У ног, под башней, провал; по ту его сторону, на длинной стене, зачем-то висит яркий ковер, отрезанный по диагонали.

И какой-то человек на корточках сосредоточенно ковыряет палкой в ковре. Еще двое уселись позади, наблюдая за действиями товарища, непонятными Омару.

Что тут происходит?

Омар спустился к ним по сыпучей тропинке и ахнул:

- Что ты делаешь?

...Пятьсот с чем-то лет назад, после того, как был построен роскошный дворец бухар-худата, здесь,- именно здесь, но в другую эпоху, и потому-то кажется, что гдето в чужих краях,- художник (его имени уже никто не помнит) нанес на сырую штукатурку последний мазок, бросил кисть, облегченно вздохнул:

- Все! Одолел. В углу, в стороне от царей и цариц, от придворных вельмож, я изобразил себя с цветком в руке. Может, и обо мне кто-нибудь когда-нибудь скажет доброе слово?

Он был высоко одарен, молод, прекрасен.

Стена составляла когда-то часть одного из залов дворца. Роспись на ней, косо засыпанной сверху, слева, обломками смежной стены, с тех пор безнадежно испортилась. В красочных пятнах с трудом угадаешь бегущих слонов и гепардов, женщин, мужчин в богатых одеждах. Изображения лучше всего сохранились справа, в широком месте стены, в устье провала,- и сей молодой человек в рваной рубахе деловито колукает их острым железным наконечником пастушьего посоха.

Он добрался как раз до больших темных глаз юноши в белом тюрбане,- подперев подбородок левой рукой, художник задумчиво, с горькой печалью глядит на желтый Цветок в правой руке...

- Что ты делаешь? - Омар схватил пастуха за шиворот.- Перестань!

- Разве нельзя? - В больших и темных, как на фреске, красивых глазах пастуха - недоумение.- Это осталось от неверных. Пророк запретил изображать людей.

- Ты кто?

- Мусульманин.

- Вижу, что мусульманин! Тюрк, араб?

- Нет. Я из исконных бухарцев. Таджик.

- Ага! И, возможно, твой пращур чертил эти изображения?

- Нет,- тупо ответил пастух.- Я мусульманин.

Экая непоколебимость, стальная вера в свою правоту! При всем-то его невежестве. Жуть. Это и есть фанатизм.

- Но предки твои отдаленные - они-то не были мусульманами?

- Что?! - вскипел пастух.- Как ты смеешь меня оскорблять?

Поди, растолкуй такому, что прежде, чем их обратили в новую веру, бухарцы поплатились за приверженность к старой десятками, сотнями тысяч жизней...

- Ты кто такой, чего ты пристал ко мне? - вскричал пастух.

"И впрямь, чего я пристал к нему? Что мне до того, что было здесь когда-то? Пусть мир загорится со всех четырех сторон. Если ему так угодно".

- Я совершаю богоугодное дело. Разве не так? - обратился молодой пастух к друзьям.

- Истинно так!

- А! Губить сокровище, наследие предков - богоугодное дело? - Омар отобрал у пастуха тяжелый посох и перетянул его поперек спины.- Приглядишься получше, дурак,- ты исковеркал свое лицо!

Пастух взглянул, оторопел - и взвыл со страху: на фреске был изображен не кто иной, как он сам...

- Беги в ханский стан за стражей,- шепнул один чабан другому.- Это неверный, муг, злодей.

Эх! Как трудно с такими. Хашишу, что ли, они накурились?

- Я джинн, гуль-людоед! - заулюлюкал Омар, обернувшись.- Сейчас я вырасту выше этой башни - и проглочу вас живьем! - И, слепой от ярости, не зная, как выразить гнев, клокотавший в нем, всю досаду свою, возмущение, он громогласно мяукнул - раздирающе-хрипло, с воплем и визгом, как дикий барханный кот: - Мя-я-яу!!

Их будто смерч подхватил! Все трое вмиг очутились за тридцать шагов от него, на пути к бархану, громоздившемуся неподалеку. Робко, дрожа, обернулись.

- Мя-я-яу!!

О аллах! Они уже на вершине бархана. Уже за барханом. Лишь один, самый храбрый, выглянул, укрывшись за кустом,- и разом исчез, растворился в пустыне, подхлеснутый свирепым:

- Мя-я-я-яу!!!

Ну, что за люди! Не знаешь, смеяться или плакать. Тьфу! Омар бросил посох, потащился к стану. "Они и мне глаза отколупают..."

Из ханского шатра до него донеслось пронзительное верещание зурны. Опять развлекаемся? Да-а. Может, не зря даже в среде кочевых отсталых народностей светлых тюркских степей племя Ягма, из которого вышли ханы-караханиды, считается самым темным? Что ж. Развлекайтесь.

Он поплелся к Оразу. За ханским шатром Омар увидел давешних пастухов. Они лихорадочно что-то втолковывали недоверчиво усмехавшемуся воину.

- Мя-яу! - дико рывкнул Омар.

Все трое, дружно закатив глаза, рухнули без чувств. Будто их пробило одной стрелой.

Придя к Оразу, усталый поэт присел у входа в палатку. Его печальный взгляд, бесцельно, как блуждающий луч, скользя вокруг, набрел на отвернутый угол: знакомые с детства четыре зубчатых листа, вышитые зеленым шелком. Цеховой герб его отца Ибрахима...

- Снимайтесь! Едем,- сказал он туркменам.

- Эй! - окликнул их Омар. Он надумал просить у них прощение за свою дурную шутку. Но, завидев зеленоглазое чудище, пастухи, молитвенно воздев трясущиеся руки, повалились на колени.

- Юродивые? - предположил Ораз.

- Правоверные,- уточнил Омар.

Он сытно кормил туркмен в дороге, на стоянках - проникновенно, по-доброму, не кичась высокой ученостью, говорил о земле, о народах, живущих на ней, о планетах и звездах, свойствах вещей,- словом, был своим среди своих,- и у Ораза, заметно пробившись сквозь камень настороженности, расцвел на зеленом стебельке доверия алый мак уважения.

- Великий аллах! Он удержал руку мою. Какую светлую голову я погубил бы, если б тогда тронул тебя! Жутко подумать, сто динаров и три фельса...

- Спасибо. Но... сколько таких светлых голов ты всетаки... тронул?

- Увы мне! Теперь понимаю: напрасно. Султану хорошо. А я, как был голодный и рваный, и нынче такой. Гоняют туда-сюда, кому не лень. Брат мой младший пал в бою. Чем виноват был мой брат? Он умер в девятнадцать лет...

Джейхун. Решив позабавить спутников, Омар окинул сверкающий водный простор мутным взглядом, втянул голову в плечи.

- Не сяду в лодку.

- Боишься? - удивился Ораз.- Вот тебе на! Двадцать тысяч человек каждый год переправляются здесь, и никто не тонет. Садись.

На реке туркмены, хитро переглядываясь, принялись подтрунивать над поэтом:

- Верно, что для утопающего и соломинка - бревно?

- Да. Если утопающий - клоп.

- У одного человека дочь упала в бурный поток. Он ей кричит: "Не трогайся с места, пока я не найду когонибудь, кто сумеет вытащить тебя!"

Благополучно пристали к другому берегу.

Туркмены:

- Неужто и вправду струсил? Эх, грамотей! Выходит, ты не из храбрых, хоть и учен, а?

"И далась же всем моя ученость! Не преминут ею попрекнуть. А еще - ученый. А еще - поэт... Нет, спасибо сказать! Разве мало человеку, такому же, как все - с двумя руками, с двумя ногами, с двумя дырками в носу, одной учености? Золотые рога, что ли, вдобавок к ней я должен носить на лбу, как сказочный олень? Я-то хоть учен..."

- Утонуть не страшно,- ответил Омар невозмутимо.- Страшно, что скажут потомки: "Такой-то бродяга-поэт, вольнодумец, в таком-то году утонул в Джейхуне". Позор!

- Отчего же?

- Поэту больше к лицу захлебнуться вином в кабаке, чем водою в реке.

Покатались туркмены со смеху. Лишь Оразу это не понравилось. Он отвел Омара в сторону:
- Не оговаривай себя! - сказал сердито.- Людей не знаешь? Ты брякнешь что-то в шутку, они подхватят всерьез, разнесут по белу свету - и до потомков, будь уверен, донесут.

- Э!- Омар беспечно махнул рукой.- Поэт не может жить с оглядкой на злопыхателей. Потому-то он и поэт, что живет согласно своему уму и сердцу своему.

- Пожалеешь когда-нибудь, что, не подумав, бросался словами.

- Посмотрим...

Ну, все равно - шутка не пропала даром. Омар после нее лучше узнал новых приятелей. Они раскрылись, как яркие цветы чертополоха под жарким солнцем. И оказалось, когда им никто не угрожает, никто не велит бить, хватать, ломать, туркмены - народ веселый, добрый, верный в дружбе. Давно б, наверное, мир наступил на земле, если б человека не принуждали делать то, чего он не хочет делать.

Всю дорогу - шутки, смех. Лишь в сыпучих песках между Джейхуном и Мургобом наш Омар затих.

- Ты чего озираешься? - спросил Ораз.- Бледный, хмурый. Что-нибудь потерял в здешних местах?

- Да,- вздохнул Омар.- Тебе не доводилось видеть дикой женщины - нас-нас?

- Нет. Слышать о ней - слышал, но, по-моему, люди врут о дивных пустынных девах.

- Не врут. Они есть! Я встретил одну - вот здесь, на бархане.

Он въехал на бугор, слез с лошади. Пожалуй, не тот бархан. Песок ведь тоже бродит по пустыне. Занге-Сахро! Где ты? Отзовись. Нет, никогда он больше не увидит ее. У каждого есть своя несбыточная Занге-Сахро...

- И бог с ней! Нельзя жить одной химерой. В Мерве запаслись вином, пуще развеселились. Омар, ликуя, горланил языческий гимн из "Авесты":

*Сириус ясный, сверкающий,
Идет на озеро Вурукарта
В образе белого коня,
Прекрасного, златоухого,
С золотой уздой.*

За горой - Нишапур. Он скоро увидит родных. И наконец-то сможет им помочь. Затем - Исфакан. Работа по душе. В Исфакане он совершит все то, что не сумел совершить в Бухаре.

...В древнем гимне еще говорится, что навстречу доброй звезде, несущей дождь, "выбегает злой дух Апоша, суховой в образе тощей черной лошади, вступают они в сражение".

Но Омар, чтоб не смущать своих правоверных спутников, пропустил мрачный стих. Они, правда, знают лишь разговорный персидский, и то так себе,- язык старинного писания им не понять. Ну, пусть. Себя побережем. Зачем портить радостный день, поминать нехорошее, когда на душе спокойно и светло?

*Сириус белый, сияющий,
Запевае хвалебную песнь:
Благо, ручьи и деревья,
Благо тебе, страна!
Влага каналов твоих
Пусть течет без помех
К посевам с крупным зерном.*

Но злой дух Апоша, "лысый, с лысыми ушами, лысой шеей, драным хвостом, безобразием пугающей", все-таки вышел ему навстречу...

- Отец? - скрипуче переспросил незнакомый старик.- Чей отец? Ах, твой! Ты хочешь узнать, где он? Зачем, несчастный? У тебя больше нет отца...

"Умер?" - С болезненным шипением, как воздух из туго надутого меха, напоровшегося в реке, на переправе, на острый камень, из сердца Омара в несколько мгновений утекла молодая радость, и он, опустошенный, уныло сник перед старцем.

Весь в клочьях седых, неимоверно грязных волос, в серых отрепьях, старец тихо сидел у входа в мастерскую на драной циновке и глядел куда-то вдаль пустыми глазами. Кто такой, почему он здесь? Не Мохамед ли из Баге-Санга?

Омар, холодея, склонился к нему, чтоб лучше разглядеть - и отшатнулся с омерзением: в нос ударил запах тления. Не Мохамед. Старый пьянчуга был чисто плотен, как юноша. Неужели родители, сами перебиваясь с черствого хлеба на воду, приютили кого-то с улицы?

"Пройду в мастерскую, там все узнаю".

- Омар!

Угрюмая старуха кинулась ему на шею. Чтобы обнять, конечно, а не задушить, как сперва показалось Омару. Он с трудом узнал в ней мать. Вот что с нею стало! Всего за каких-то четыре года. День нищеты равен трем дням благополучия. Ну, тут началось. Крики, слезы, причитания...

- Что с отцом?

- Как? Разве ты не поздоровался с ним? Вот же он.- Мать брезгливо кивнула на вонючего старика, безучастно сидевшего на земле.- Теперь он суфий-аскет...

Обмер Омар.

Ибрахим, усохший втрое против прежнего, завыл, раскачиваясь:

- О аллах! Я изучил шариат и на одну ступень приблизился к богу. И перешел на вторую ступень - тарикат, отказавшись от воли своей и сделавшись в руках вероучителя, как труп в руках обмывателя мертвых. Ныне я прохожу марифат, третью ступень, я близок к познанию высшей истины, я ею уже просветлен!

"Насквозь",- подумал с горечью Омар.

- Я уже по ту сторону добра и зла! Кроме лика твоего, о боже, ничего не желаю видеть. Фана фи-лла!!! Я прозреваю хакикат, четвертую ступень. Все земное во мне угасает, я сливаюсь с богом, погружаюсь в светлую вечность!

Он стих, закрыл глаза, и впрямь погрузившись в нечто туманное, зыбкое, оглушающе-пустое, что, видно, и представлялось ему блаженной вечностью. Уснул? Нет, фанатизм многословен. Его ничем не унять. Разве что смертью. Ибрахим кричит, не открывая глаз и резко дергаясь:

- У меня нет помысла в душе! Я говорю, но у меня нет речи! Я вижу, но у меня нет зрения! Я слышу, но у меня нет слуха! Я ем, но у меня нет вкуса! Ни движения нет у меня, ни покоя, ни радости, ни печали. Только бог... Только бог!!!

- Отец! Что с тобою сделали, отец...- Омар, заливаясь слезами, легко, как давно иссохшую корягу, взял старика с земли и, терпеливо снося исходящий от него тошнотворный дух, принялся целовать желтое личико, маленькое, костлявое, как у покойника.- Я сейчас на руках снесу тебя в баню! Ты сразу оживешь. Принеси чистую одежду,- кивнул он матери.

Она злобно махнула рукой: не возись, бесполезно!

- Оставь меня, нечестивый!- вопил аскет, бессильно брыкаясь в его крепких руках.- От тебя пахнет вином и рейханом. Ты мне противен. Не отрывай от бога чистую душу...

Сын осторожно опустил его на циновку.

- Очнись, отец! Я привез много денег. Теперь все пойдет по-другому. Вы не будете больше голодать.

- Голод есть пища аллаха. Он оживляет ею тела праведных. Деньги? Пыль. Страдание? Это он сам, это бог. Если он, аллах, любит слугу своего, он карает его. Если любит его очень сильно, он совсем овладевает им, не оставляя ему ни семьи, ни состояния. Изыдьте, неверные!

...Зато сестренка Голе-Мохтар порадовала Омара. Никогда он еще не видел такой хорошенькой, умной, мило лепечущей, ласковой девочки. И горько - до слез ядовитых и жгучих было горько ему, что она худа, неумыта, оборвана.

- Позаботься о ней, о ее судьбе!- угрюмо скрипела мать. Они втроем сидели в чулане, покончив с вечерней трапезой, на которую Омар, конечно, не пожалел монет.- Отцу твоему уже ничего не нужно. Он не сегодня-завтра... сольется с богом. Денег ему не давай,- отнесет дармоедунаставнику. Мне оставь. Сумеешь нас избавить от икты - перепиши мастерскую на мое имя. Слышишь?

- Слышу. Так и сделаю, мать. Не знаешь ли что... о Ферузэ?

- Нет! Будь она проклята.

- Как старик Мохамед?

- Умер! Будь он...

- А дом в Баге-Санге?

- Заколотен! Будь...

Омар, тяжело вздохнув, тихо вышел во двор. Под навесом, на куче тряпья, скулил во сне Ибрахим. Омар обратил сухие глаза к ночному небу.

"За что? Чего уж такого, из рук вон непотребного, я успел натворить на земле, чтоб на каждом шагу подвергаться жестоким ударам? О небо! Будь я властен над тобою, я сокрушил бы тебя и заменил другим. Что ты еще уготовило мне? Что?"- гневно, близкий к помешательству, вопрошал он холодное небо, хоть и знал, что оно не ответит ему.

Часть вторая

Сердце Скорпиона

С той горстью неучен, что миром нашим правит

И выше всех людей себя по званью ставит,

Не вздумай ссориться! Кто не осел, того

Она тотчас еретиком ославит...

Исфахан. Золотая пыль. Золотые плоды на базарах. Голубые купола над ними. Светлый город! Счастливый. Впервые попав сюда, Омар и думать не мог, что еще до того, как он смыл дорожный пот, его уже ждал, как змей добычу у входа в пещеру, опасный недоброжелатель.

А казалось бы,- поэт Абдаллах Бурхани, угодивший султану двумя-тремя удачно, к месту произнесенными бейтами и получивший за то более двух тысяч золотых динаров, тысячу манов зерна и, сверх того, звание "эмира поэтов",- должен быть рад его приезду.

*Все-таки поэт поэту - брат.
Но... еще Гесиод писал в "Трудах и днях":
Зависть питает гончар к гончару
и к плотнику - плотник,
Нищему нищий, певец же певцу
соревнуют усердно...*

Бурхани огорчен. Он даже захворал, несчастный. Он мог судить об Омаре по десятку четверостиший, дошедших из Бухары. И вновь и вновь мусолил их мысленно, расчлняя на строки, на слова, стараясь найти в них изъян. Вот, например:

*Нет благороднее растений ч милее,
Чем черный кипарис и белая лилея:
Он, сто имея рук, не тычет их вперед,
Она молчит, сто языков имея.*

Чепуха! На что он тут намекает? На кого? И разве у дерева есть руки, а у цветка - язык? Если под руками подразумеваются ветви, то все равно у кипариса их не сто, а гораздо больше. Несуразность! То ли дело - известный бейт самого Абдаллаха:

*Рустам из Мазандерана едет,
Зейн Мульк из Исфахана едет... Сразу понятно, кто едет, откуда...*

И все же, похоже, этот Омар - человек вредоносный. Ядовитый. Понаторел, должно быть, при хакане в хитрой придворной возне. Иначе бы как он попал в Исфахан? Там, в Заречье, лукавый народ. Берегись, Абдаллах! Он, конечно, уже в пути замыслил худое. Оттеснит, отнимет хлеб. И откуда на нашу голову эти молодые и хваткие?

О боже! Столько терпеть. Угождать султану. Визирю. Ублаготворять их родичей, даже слуг. Трепетать под их глазами, с глупой усмешкой сносить их злые насмешки. Быть вечно в страхе на собраниях (хлеб в глотку не лезет!), - а вдруг повелитель потребует сказать экспромтом стих, подобающий случаю? И потому день-деньской держать наготове мозг, как натянутый лук, тупея от неослабного напряжения. Ради чего? Ради места. И - хлоп! - его потерять?

...Понятно, с какой тревогой, теряя и подбирая на ходу сандалии, Бурхани побежал к визирю Низаму аль-Мульку, который как раз беседовал с приезжим.

Он даже споткнулся на ровном месте, услышав благодушный голос визиря:

- Весь Нишапур с округой принадлежит тебе...

"Ого! Так сразу?"

Хорош, собачий сын! И держится с достоинством. В меру свободно, спокойно, без раболепия, но с должной учтивостью. Ишь, как благосклонно озирает визирь его красивую рожу. С виду скромн, чуть ли не наивен. Будто у него и нет ничего на уме, кроме звезд. Но Абдаллаха ты не обманешь, прохвост! Он видит тебя насквозь. Знаем мы вас, прощелыг. Сейчас поднесет визирю хвалебную оду - касыду, и мне придется надеть колпак бродячего монаха".

Но - каково?- Омар ответил простодушно:

- Я не думаю о власти, о приказаниях и запрещениях народу. Лучше вели ежегодно выдавать мне жалование.

"Хитер! Цену себе набивает".

- Идет,- кивнул визирь одобрительно.- Из доходов того же Нишапура будешь получать... десять тысяч динаров. Доволен?

"А я получаю тысячу двести..."

- Да благословит тебя аллах,- поклонился Омар.- Я и мечтать не смел о такой огромной сумме. Что ж, вся она пойдет в дело. Мне больше не на что тратить деньги - ни жен, ни детей, ни конюшен, ни лошадей. И еще: нельзя ли снять икту с мастерской моего отца?

- Кто иктадар?

- Бей Рысбек.

- А! Знаю. Он здесь сейчас. Будь по-твоему, снимем.

"Пропал!- возликовал Абдаллах.- Ты пропал, Хайям. Ты уже умер. Бей Рысбек, он тебя... ведь это - Рысбек!"

- Пишет ли наш одаренный друг касыды?- с медовой улыбкой спросил он Омара, когда, покончив с делами, все сели за скатерть.

- Нет.

- Почему?

"И верно - почему?- подумал Омар удивленно.- Сумел бы. И сразу угробил этого стихоплета и всю его братию. Но..."

Но кровь у него, при ясном, звеняще-студеном уме, была обжигающей. Несчастный характер! Хуже не бывает.

- Для писания хвалебных од, я полагаю, нужно иметь... спокойную, холодную кровь, ум же - этакий... восторженно-пылкий, что ли, горячий, как у вас. Я устроен по-другому.

- Чем же тогда,- поразился "эмир поэтов",- наш молодой одаренный поэт снискал благосклонность хакана? "Чем?- хотел сказать Омар, сразу увидев, к чему клонит придворный.- Я заменил хакану его охотничью породистую суку, когда та околела".

Но сказал он иное, тоже не ахти что приятное:

- Разве цветистое пустословие - единственное средство заслужить чью-то благосклонность?

- Воспеть достоинства царя - пустословие?!- Бурхани обратил ошалелый взгляд к визирю. Слышишь, великий? Но тот похмыкивал, ел - и молчал. Молчал - и слушал.

- Нет, если есть,- вздохнул Омар.

- Что?!

- Достоинства.

Абдаллах чуть не подавился куском, который перед тем сунул в рот.

- Но царь... уже по рождению... тень аллаха... и нам надлежит... так испокон веков у нас заведено...

Омар - сухо:

- И продолжайте! Я не поэт. В вашем смысле. Я всего лишь бедный математик.

Через час "эмир поэтов", весьма довольный оборотом событий, зло нашептывал бею Рысбеку:

- Пропал, несчастный! Ты пропал, уже умер. Твоя икта в Нишапуре закрылась.

- Э-э...- только и мог произнести лихой воитель, сразу обвиснув в усах и плечах.

- Гаденыш с зелеными глазами, наш новый звездочет, оказался сыном твоего кормильца.

- Э-э. Знал бы... еще тогда...

- Теперь не тронешь! У него великий покровитель. Сам великий визирь.

- Э-э. Сам Низам?- Туркмен со скорбью оглядел свое огромное брюхо.- Как же быть?- спросил он плачуще.- Опять на лошадь? Я и не залезу уже на нее. Нет, нет! Пойду к визирю. Пусть я сам для войны непригоден, зато у меня триста сабель. Откажут в икте - обижусь, уйду в Бухару.

Поэт - удовлетворенно: "Вот и ты, болтун, у меня на аркане".

- Помоги встать,- прохрипел Рысбек.- Сейчас же пойду к визирю. К султану пойду! Пусть только откажут в икте...

Султан и визирь вдвоем, без посторонних, в эту минуту как раз говорили о нем.

- Сей жирный людоед,- негодовал визирь,- до нищеты довел родителей Омара, выпил из них всю кровь! Держатель икты должен знать, что ничего, сверх законной подати, взимать с пожалования не может. И ту брать по-хорошему. Я об этом пишу в своей "Книге управления". На жизнь кормильца, его здоровье, жильё, жену и детей иктадар не имеет права! Если же он превышает власть, его следует укротить, икту отобрать, самого - наказать. Что должно послужить назидательным примером для других. Сколько средств уходит в их утробу,- средств, которые иначе поступали бы в твою казну.

- Расбек затаит обиду,- осторожно заметил султан.

- И пусть! Что у него за душой, кроме былых, весьма сомнительных, боевых заслуг?

- Я, царь, не должен о них забывать,- вздохнул Меликшах.- А триста сабель? И сто раз по триста других, таких же разжиревших, бесполезных иктадаров? Возропсут.

Визирь, подумав, усмехнулся:

- Ну, что ж. Дадим ему другую икту.

- Где, какую?

- Есть у меня на примете одно селение. Это Бойре, тут, близко, на речном берегу. Честно сказать, оно - пропащее, вовсе нищее. Камень сплошной, ни садов, ни полей. Жители режут лозу и камыш, плетут корзины, циновки. Но, какой ни есть, все же доход. Рысбек и без того дороден. Не отошлет.

- Хорошо. Но я уйду. Ты сам разговаривай с ним. "Кто-то уже успел шепнуть,- догадался Низам, когда к нему, пыхтя и отдуваясь, ввалился заплывший салом иктадар.- Это Бурхани. Что делать с проклятыми болтунами? Э, разве мы не сами их развели..."

- Несчастный!- вскричал визирь, терпеливо выслушав Рысбека.- Кто, какой безмозглый ишак сказал тебе, что царь способен обидеть верного слугу? А? Царь, который своей добротой и щедростью прославлен на весь мир? Который день и ночь радеет о благе подданных? О неблагодарный! Не унижить тебя,- а возвысить пожелало их августейшее мнение. Вместо одной захудалой палаточной мастерской - пятьдесят мастерских по выделке циновок и корзин. Товар не менее, если не более, ходовой, чем драные шатры. Вот указ.- Он сунул туркмену бумагу с печатью.- Получаешь в икту целое селение.

- Э-э...- Толстяк, как стоял с разинутым ртом, так и шлепнулся, мягко, почти бесшумно, к ногам хитроумного визиря.

Оставшись один, Низам аль-Мульк долго смеялся, встряхивая головой и отирая слезы кулаком. Ему, конечно, стало б не до смеха, если б визирь мог узнать заранее, чем все это обернется для него со временем. А слезы - слезы он утирал бы, конечно...

...Верблюды в караване, вышедшем за город, с опаской нюхают землю, которую не знает, и яростно стонет, предполагая длинный путь. Омару Хайяму и его новым друзьям - Исфазари, Васити и другим способным астрономам, приглашенным в Исфахан, в пору было стонать со страху,- когда, сойдясь в дворцовой библиотеке, они перерыли еотни книг с описанием вавилонских, египетских, сабейских, индийских обсерваторий.

Оказалось, им предстоит неимоверно огромный, как сам космос, тяжкий труд, состоящий из тысяч мелких и крупных забот. Труд на десять, пятнадцать лет, если не больше...

Исфазари, уныло:

- Омар! Я нашел Аль-Ходженди: "Универсальный астрономический инструмент". Это здесь о Фахриевом секстанте?

- Как будто...

Аль-Ходженди. Рожденный в Ходженте. Там, где сейчас Рейхан. Уже забыла, конечно, об Омаре.

- Попробуйте найти "Астрономию" Аль-Бузджани. Пригодится.

Ох! Затмение. Кратковременное отупение.

- Не пугайтесь! Все одолеем. Давайте чуть передохнем, заглянем, чтоб освежить мозг, в "Геодезию" Абу-Рейхана Беруни, в ее начало. Оно бодрит людей, подобных нам, еще более утверждает их в мыслях и целях.- Омар раскрыл книгу и прочитал вслух первые строки:

- "Когда умам есть в помощи нужда, а душам в поисках поддержки есть потребность..."

Абдаллах Бурхани, с красными глазами, худой и синий от бессонницы, тайком проскользнул в книгохранилище, укрылся за полкой с древними свитками и наострил слух. Омар: "Что на ум приходит из открытий новых..." "Ну, конечно! Хайяму, с его ледяным умом, не хватает воображения одному написать оду в честь Меликшаха, он и собрал всех своих приспешников, чтобы они помогли ему.

- "...окинул взглядом наших современников,- продолжал читать Омар вступление в "Геодезию",- обрели они во всех краях обличье невежества, бахвалясь им один перед другим; воспылали враждою к достойным и принялись преследовать любого, кто отмечен печатью науки, причиняя ему обиды и зло".

"Это в кого же он метит?- оскорбился "эмир поэтов".- Ну-ка, ну-ка..."

Но тут между звездочетами завязался столь непонятный, сложный для него разговор, что у Бурхани в голове помутилось:

- Ось мира. Полуденный круг...

- Горизонт. Азимут. Зенит...

- Апогей. Перигей. Солнцеворот...

- Угол визуального расхождения...

"Неужто они всерьез хлопочут о звездах? Экий несуразный народ! Пойду-ка, напишу на них злой стихотворный пасквиль".

Вслед ему:

"Как удивителен тот, кто ненавидит логику и клеймит ее различными клеймами, не будучи в силах постичь ее! Если бы он отбросил лень, поступился покоем..."

После двух-трех недель изнурительных занятий, тихих бесед и бурных совещаний астрономы доложили визирю:

- С помощью одних ручных приборов новый календарь не составить. Как при осаде стрелой из лука не пробить крепостной стены. Эта работа требует длительных, неспешных, основательных наблюдений. Да, нужно строить обсерваторию. Причем здесь не управиться лишь солнечным секстантом. Как при той же осаде не обойтись одним тараном, поставленным у главных ворот. У крепости много ворот и башен.

- Тем более, что,- заметил визирь,- вам придется заниматься не только календарем, но и гаданием по звездам для его августейшего мнения.

- Тем более! Нужны солидные угломерные приспособления для слежения за шестью - Землю не будем считать - планетами, а также за двенадцатью созвездиями эклиптики, по которой движется Солнце. Восемнадцать крупных обязательных сооружений, не считая подсобных. Пусть великий государь прикажет отвести под Звездный храм подходящий участок земли - каменистый, без пустот и трещин, с твердой и прочной скальной основой. Ибо, случись просадка хоть на жалкую пядь, направление линий сместится на тысячу верст. Инструменты станут непригодными. И все дело, вместе с деньгами, на него затраченными, пойдет насмарку.

- Хвала бережливому!- Визирь, оставив их, переговорил с царем, не забыв при этом нежно пощекотать его честолюбие:- Его августейшее мнение навечно войдет в историю как создатель лучшей в мире обсерватории и календаря, самого точного в мире. "Эра Джелала ибн Али-Арслана", "Меликшаховы звездные таблицы". Неплохо звучит, а?- Мусульманин по необходимости, втайне - ярый поклонник древней иранской веры, считавшей Александра Македонского заклятым врагом, визирь не преминул его уколоть:- Все кричат: Искандер! Искандер Зулькарнайн! А что он создал за свою короткую глупую жизнь? Возвел три-четыре города в наших краях? И те - на месте старых, им же разбитых. Он был разрушитель.

- Разве?

- Конечно.

- И ты думаешь...

- Непременно!

Заручившись милостивым согласием "его августейшего мнения", визирь сказал Омару:

- Я пришлю тебе завтра людей, хорошо знающих окрестность. Возьмешь своих помощников, согласишься с ними всю округу. Попадется удобный участок - заметь, сообщи мне.

- А что, если он уже чей-то и кто-то воздвиг на нем какие-нибудь строения?

- Снесем! - жестко молвил визирь. - Будь то хоть ханское поместье, хоть халупа холопа. Превыше всего - благо державы.

Этот ловкач, осанистый плут - и мыслитель, в душе язычник, поэт, сумел бы сам, не хуже иных стихоплетов, сочинять касыды в свою честь. Он из Туса, как и славный создатель "Книги царей". Богат Хорасан светлыми умами.

При всей заносчивости, хваленой стойкости в бою, в серьезных делах, требующих глубоких размышлений, цари из рода сельджукидов не могут обойтись без персов, точно так же, как и караханиды - без таджиков, без их государственного опыта, хитрости, знаний.

Огонь - друг или враг? В очаге и в лампе, в пастушьем костре, в жаровне зимой он друг. На крыше дома, в деревянном сарае, на хлебном поле созревшем он враг. В руках доброго человека огонь - это жизнь, в руках злого - смерть. Главное - в чьих он руках.

Так же и с грамотой. Просвещение - благо, кто спорит? Но один пишет научный трактат, полезное наставление, толковую сатиру, стихи про любовь, другой - клевету, донос...

Несколько дней терзался Абдаллах над задуманным пасквилом, но у него почему-то ничего не получилось. Видно, яду не хватило. Чтоб жалить насмерть, нужно иметь его побольше. Обозлившись на себя и на других, и пуще всех на Омара Хайяма, он забросил перо и бумагу и вновь побрел к хранилищу книг, подглядывать за звездочетами.

"Что он чертит, что пишет? С него станет - сочинить в честь султана какую-нибудь, еще небывалую, лунную или звездную касыду. Негодяй! Выйдешь ты, наконец, оттуда? Нет, я опять не усну нынче ночью, если не взгляну, чем ты занимаешься".

Омар прикидывал на листах облик будущих сооружений Звездного храма. "Итак... Стоящий прямо широкий прямоугольник с глубоким полукруглым вырезом сверху. Перпендикулярно к нему, к середине выреза, примыкает одной из сторон прямоугольный треугольник... И впрямь, нацеленное в небо, это сооружение будет напоминать осадное метательное орудие. Но вместо тяжелого копья к далекой звезде полетит человеческая мысль.

Поскольку тут глубокий вырез, означающий дугу полусферы... треугольник покоится на ребре... сооружение же - не чертеж на бумаге, оно объемно... и речь идет о немислимо больших

расстояниях, то... нужен расчет равноотстоящих линий". Уже давно хотелось пить. Омар пошарил вокруг себя, нашел пустой кувшин, отбросил.

"Хм... Похоже, мы здесь опять упрямся в допущение Эвклида: "Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, в сумме Меньше двух прямых..."

- Чем изволит утруждать свой драгоценный разум наш ученый друг?- прозвучал над ним чей-то сладостный голос. То "эмир поэтов", крадучись, проник в библиотеку.

Омар даже глаз не вскинул на него. Только дернул щекой: не мешай. Так сгоняют муху, когда руки заняты делом.

"...то прямые, если их продолжать, пересекутся с той стороны, где углы меньше двух прямых".

- Не приказать ли слуге принести шербету? - не уходил Абдаллах.

- Пусть принесет,- услышал его наконец Омар.- И питье, и еду, и свет. И постель,- мы здесь будем ночевать.- Он взглянул на алебастровые решетки окон - за ними синел уже вечер.

"И он еще может есть? - вздохнул Абдаллах.- Ах, чтоб хлеб застрял в твоей глотке острым углом".

Омар, тут же забыв о поэте, вновь склонился к чертежам. Зловредный пятый постулат! - В силу этого каверзного допущения, что подкинул ученому миру хитрый старик Эвклид, через точку вне прямой можно провести не более одной прямой, не пересекающей данную.

Неубедительно. Ибо не доказано. И посему - сомнительно. Треклятый пятый постулат... кто не пытался уточнить его, доказать как теорему! По крайней мере тридцать сочинений, объясняющих Эвклидовы "Начала" и задевающих пятый постулат, накопилось в мире по сей день. Но все они логически несостоятельны. Вообще с ним что-то неладно, с пятым постулатом. Эвклид здесь затронул мимоходом нечто, что не вяжется ни с чем другим в его трудах.

"Жаль, я редко бываю на стройках,- горюет Омар.- У меня мало наглядных представлений. Начнем возводить обсерваторию - буду жить на площадке, думать, смотреть, все делать своими руками".

Темнеет. Где же свет? Омар отложил наброски, потянулся. Поодаль, за опорными столбами, корпят над бумагой Исфазари, Васити. Счастье - работать с такими. Не то, что с полуслова - с полувзгляда понимают, чего ты хочешь от них. Да, ученые - особый мир в этом трудном мире. Особый народ в народе, живущий по своим законам.

Не вызвать ли сюда еще Мухтара? Нет, в Самарканде он нужнее. Пусть хоть один математик трудится в краю, где рожден. Что за жизнь - скитаться по чужим городам.

Омар расспросил людей о шейхе Назире. Оказалось, увы, старый учитель умер два года назад по дороге из Астрабада в Тебриз. Должно быть, опять ему пришлось бежать. Мир его праху! Жаль. Без него Омар никогда не стал бы тем, кем он стал теперь...

Где же огонь, почему не несут? Ага, вот у входа вспыхнуло желтое зарево. Припомним пока кое-что из Эвклида, пять общих понятий к пятому постулату...

- Пожалуйте к столу,- позвал молодой Васити. Оказалось, кто-то уже расставил светильники, принес поднос с едой. Омар, не глядя, что-то съел, что-то выпил и, захватив кувшинчик легкого вина и чашу, вернулся на свое место.

Ну-с, пять общих понятий о сравнении величин.

1. "Равные одному и тому же равны между собою..."

- Милый, не пойдешь ли со мной... подышать свежим воздухом в саду?

Поднял Омар туманный взгляд: перед ним в ярком свете - золотисто-смуглое женское лицо, все в темных точках мелких родинок. Точно румяный сдобный хлеб, густо посыпанный анисовым семенем.

Опустившись на колени, служанка делала вид, что прибирает что-то вокруг столика. В длинных карих глазах - задумчивая боль. Призывно лизнула дрожащую верхнюю губу, нежно шепнула:

- Пойдем?

- Сейчас,- ответил Омар как во сне. Ткнул пальцем в Эвклидову книгу.- Вот, закончу сейчас, и пойдем. Подожди немного. Сейчас...

Не стала ждать. Встряхнула головой, ушла. Обиделась? Похоже.

"2. Если к равным прибавить равные, то и целые будут равны..."

Растекаются талой мутной водой мысли, совсем недавно - ясные, четкие.

"3. Если из равных вычтешь равные, то и остатки будут равны..."

4. Совмещающиеся друг с другом равны между собою.

5. Целое больше части."

Как будто все бесспорно. Однако... до чего же бескрыла эта геометрия! Она боится взлета, неожиданной кривизны, непредусмотренного движения. В ней все настолько иссушающе правильно, что нет места поиску, дерзкой работе ума. Вывиха нет, дикого озарения! Это геометрия циркуля и линейки. А с их помощью, как убедился Омар на своих уравнениях, решишь не всякую задачу. Ведь пространство не может состоять из одних лишь дохлых плоскостей.

Уж так ли непререкаем Эвклид? Омар прочертил мысленно четкую линию к немыслимо далекой синей Веге. И рядом с нею - другую. И провел их далее, в бесконечность. Так неужели в этой жуткой бездне, живущей по никому еще неизвестным законам, вторая линия так и будет покорно следовать за первой, не смея ни отойти от нее, ни приблизиться к ней? Несмотря на чудовищные провалы, смещения и завихрения в космических пространствах?

В излучине реки, текущей мимо Исфахана к юго-востоку, у дороги в Шираз, из глубин земли выдается обширный пологий купол.

Исфазари - восхищенно:

- Камень сплошной! Цельная глыба. Подходит?

- Подходит,- вздохнул Омар.- Но видишь, на ней - селение.- Куча серых лачуг, больше похожих на груды развалившихся надгробных строений, чем на человеческое жилье. Ни деревца между ними, ни кустика. Где-то там, среди голых камней, жалостно, тонко и беспрестанно плачет, и плачет, и плачет больное дитя. Гиблое место.- Найдите старосту.

Староста, под стать селению, весь серый, пыльный и облезлый, повалился Омару в ноги.

- Встаньте, почтенный! Чем вы здесь занимаетесь, как живете?

- Корзины плетем, циновки. Как живем? Коротаем век, кто как может. Лоза и камыш тут скудно растут, приходится ездить далеко на озеро, куда эта речка впадает. Да и там их уже негусто.

- А не хотелось бы вам, всем селением, сменить ремесло?

- На какое, сударь?

- Ну, скажем, камень ломать, тесать. Его-то у вас, я вижу, тут много.

- Много, сударь! Куда как много. От него, проклятого, все наши беды. Ломать его да тесать - пытались. Не выходит. Нечем, сударь! Нету железа, орудий нету нужных. И навыка нету.

- А если дадут?
- Кто? Мы народ пропащий.
- Тут будет стройка. Все мужчины селения смогут на ней работать. За хорошую еду - и малость денег.
- Дай бог! Мы бы рады. Но...
- Что?
- В икту нас берут, наше бедное Бойре. Иктадар уже... ошастливил нас... высоким своим посещением. Важный он человек, м-да, строгий.
- Кто?
- Некий бей, как его... Рысбек.

...Напрасно визирь Низам аль-Мульк битый час толковал толстяку о высшей пользе - пользе государства, обещал дать взамен три других богатых селения. Нет! Рысбек знать не хочет ни о чьей высшей пользе, кроме своей. И других селений в икту ему не давайте - это обман, их завтра тоже отберут.

Просто великий визирь за что-то,- за что, бог весть, по чьему-то злому наущению,- невзлюбил беднягу Рысбека и хочет сжить его со света. Хорошо! Правоверному не нужно благ земных. Старый воин, верный султану, навсегда откажется от них и удалится в общину аскетов-суфиев.

Пусть при царе остаются безбожные звездочеты.

- Пойми, обсерватория...
- Никогда не пойму! Славный тюркский народ без всяких дурацких обсерваторий разгромил сто государств на земле. Среди них - и ваше,- напомнил он грубо.- Наш доход - военный поход. С чего это вдруг теперь нам взбрело строить бесовский Звездный храм? И где? На моей - только подумайте!- на моей земле. И кто? Мой раб...
- Омар Хайям - ученый, поэт. И не может быть рабом. Он человек свободный.
- Что ж,- понурил голову сельджук. (Эх, если б знал он тогда, в Нишапуре!..) Что он может поделывать, темный воитель, раз уж в этой несчастной стране опять началось засилье книжечеев? Он уйдет. И, уходя, он, бездомный дервиш Рысбек, вознесет к престолу аллаха молитву о благе султана, охмуренного персами-пройдохами...

- Прощай! - ехидно сказал визирь, легко расхаживая перед ним, здоровый и крепкий в свои пятьдесят семь, как молодой человек. Остановился, ткнул сельджука длинным пальцем в жирную грудь.-Будешь там, в суфийской общине. которого ты довел до нищеты и безумия.

Через день по дворцу разнеслась дурная весть: Рысбек, забрав свой трехсотенный отряд, покинул Исфахан. Ну, ушел так ушел. Не в том беда, что глупый человек избавил всех от своего несносного присутствия. А в том, куда он ушел. В Нишапур, в суфийскую общину? Как бы не так...

Бей Рысбек, конечно, смешон и ничтожен. Как тряпичная кукла в балагане бродячих скоморохов. Но смешная тряпичная кукла- пузатая, неуклюжая, набитая опилками,- не поджигает свой родной балаган. А живые пузатые пучеглазые вздорные куклы из большого балагана жизни то и дело жгут его. Да, выходит, мир - балаган, причем не столь веселый, сколь страшный, раз уж в нем впереди других самим себе на потеху мечутся, кривляясь в жутком лицедействе, такие страшные куклы. Тут уже не до смеха.

...Перед отъездом бей шепнул кому-то - с явным расчетом, что тот донесет султану,- что спешит под Казвин, на север, в горную крепость Аламут (Орлиное гнездо), служить Хасану

Сабаху. Зима уже настала, но в царском дворце в Исфахане не от нее всем сделалось холодно, неуютно, скорее - от этой черной вести. Особенно султану и визирю. Визирь приказал устроить дворцовую стражу.

- Хасан ненасытен. А что принесет ему Рысбек? Отправь под хорошей охраной,- дал совет он царю,- в дар баламуту из Аламута (визирь не чурался простонародных выражений) вместо обычных двух мешков золота четыре. И - сейчас же, чтобы опередить беглеца,- он будет мешкать, пробираясь на север по бездорожью.

Что до меня, я везде разошлю бывалых осведомителей. Под видом нищих, суфиев, странников, торговцев целебными травами. Государю надлежит знать обо всем, что происходит вдали и вблизи от него, о великом и малом, о плохом и хорошем. Какой ты царь, если не знаешь, что творится в твоей стране? А если знаешь, но ничего не предпринимает, тут уж ты вовсе никакой не царь. При древних правителях, если кто за пятьсот фарсангов от столицы отнимал у кого-то незаконно петуха, торбу сена, государь тотчас получал об этом весть и налагал на виновного взыскание. Дабы все видели: владыка неусыпен! Успокойтесь, повелитель.- Визирь улыбнулся султану как сыну.- Никто и ничего, даже дым, не пройдет незамеченным к Исфахану. И, если того пожелает аллах, мы обезвредим собаку Сабаха...

Но с этого дня над царским дворцом в Исфахане, над всеми, кто в нем обитает, над страницами книг, уже хранящихся или только еще задуманных здесь, над каменной кладкой будущих звездных строений как бы навис чей-то огромный желтый глаз. Днем он сверкал в виде солнца, ночью - в виде луны. Хмурая туча служила ему бровью, легкие перья облаков - ресницами.

Казалось, даже в дверных проемах, в нишах стенных, в пламени свеч присутствует его упорно следящий, хитрый тяжелый взгляд. И нигде не укрыться от злобного ока: ни на совете, ни в бане, ни в спальне. Ни за едой, когда вдруг из чаши в руке оно, ядовитое, может свирепо блеснуть прямо в твои глаза...

Новость по-своему взволновала и "эмира поэтов". "Одного уже выжил отсюда наш звездочет,- сказал себе Бурхани, с тоской Ощущая тошноту и слабость.- Негодяй! Теперь он, конечно, возьмется за меня. И за что такая напасть? Жаль, туркмен не доверился мне, я уехал бы с ним к наркоману Хасану. Ей-богу, я сам, наверно, скоро начну курить хашиш".

Омар же Хайям - тот жалел об одном: что не успел узнать у бея, куда он дел бедняжку Ферузэ...

Ему было в ту пору двадцать шесть с половиной, "Илиаде" Гомера - 1925.

Астроном Птолемей умер 994 года назад.

Христиане убили Ипатию 245 лет спустя, академия в Афинах закрылась через 114 лет после страшной смерти этой ученой женщины.

Галилей родится через 490 лет, Джордано Бруно сожгут на костре через 526.

При халифах Аббасидах, в эпоху кровавых смут, вождь мусульман-отщепенцев шиитов Джафар отказал Исмаилу, старшему сыну, из-за его пристрастия к вину в праве наследовать власть в Иране. Но у пьяницы было много друзей. Они взбунтовались, ушли от Джафара, укрылись в горах.

Начинали вроде они хорошо: сражались против князей, воевод, богачей-угнетателей.

Но, как известно, всякое доброе дело превращается в свою противоположность, если к нему примажутся люди случайные, пройдохи, жадные проныры, болтуны.

Добро - хуже зла, если добро насаждают насильно. Явное зло - бесхитростно. Оно кричит о себе издали, его легко распознать. Добро же, сочетаясь с насилием, превращается в ложь. А где ложь, там уже нет добра. Там уже подлость, смерть и разложение.

...Хасан Сабах принимает у себя тюркского бея Рысбека. Не наверху, на темени исполинской скалы, отколовшейся от горного хребта, в черном замке,- путь наверх посторонним закрыт, да и не мог бы жирный жук-сельджук туда заползти,- а внизу, у подножья, в легкой постройке в садах за мощными стенами, опоясывающими два-три небольших селения, что прилегают к горе.

В обширных загонах под стенами - неумолчный рев, будто в них река бушует на порогах; пять тысяч голов скота пригнал сельджук в дар Хасану Сабаху. Он наградил его по дороге. Точно страшный смерч прокатился от столицы к синему Эльбурсу.

- Звездный храм... зачем? - Хасан Сабах, восседающий, как идол индийский, в глубокой черной нише, единственным желтым оком, изучающе-раздумчиво, спокойно, не мигая, глядит на туркмена, удобно скрестившего ноги против него, пониже, за скатертью. Словно прикидывает, сколько сала можно вытопить из него.

И лицо у Сабаха желтое, худое: человек, знакомый с врачеванием, мог бы сразу сказать, что у властелина гор что-то неладно с пищеварением. Но, как известно, божественный "наш повелитель" никогда не ест и не пьет. Во всяком случае, еще никто (из непосвященных) не видел, чтобы Хасан прикоснулся к еде. "Наверное,- думает туркмен с удивлением,- это правда, что оттого он желтый, что у него золотая кровь. Велик аллах! Воистину, он свершитель того, что пожелает..."

Желтое широкое лицо, черная повязка на левом глазу, густая бровь над правым, янтарно-желтым, с большим черным зрачком, и короткая борода, черная как уголь: в общем-то это даже красиво, черное с желтым. Как у тигра. И голос у Хасана красивый, даже - нежный. Как у тигра, мурлычущего весною.

Должно быть, втайне пожалев о своем неуместном вопросе: "зачем",- ведь святой повелитель сам должен все знать раньше других,- Хасан поправляет дело, хитро добавив:

- Как думает почтенный гость?

Ну, толстяку не до тонкостей.

- Чтоб окончательно погубить мусульманский народ! - вгрызается он в баранью ляжку. Он поглощает мясо и хлеб большими кусками, большими чашами пьет темное вино. Да, и щедр, и добр Хасан Сабах с теми, к кому он благоволит,- не зря о нем идет по земле такая молва.

- Ты отдыхай. Я вознесусь в эмпирию и посоветуюсь с Али, вечно существующим и всюду сущим. И мы поступим с твоими недругами так, как он соизволит повелеть.- Не сходя с кресла, Хасан делает легкий знак рабу - и, на глазах у потрясенного туркмена, мгновенно и бесшумно исчезает вместе с креслом.

"О боже! Неужто я,- сообщает Рысбек, уставившись в пустую нишу,- чем-то угоден тебе, что ты являешь предо мною чудо? - И сельджук, взволнованный, вновь тянется к мясу. Но, диво, скатерти перед ним уже тоже нету! Вместо нее - чудовищный пес с ощеренной пастью.- Куда я попал? - с жутью в спине косится гость на гиганта-раба с черным, точно у джинна, угрюмым лицом.- Как бы меня тут самого не съели".

Взлетая вместе с креслом на веревках по темной трубе внутри горы, Хасан Сабах с отвращением сплюнул голодную слюну. "Дикарь. Пустынный волк. Жрет, как волк, с хрустом

кости дробит. И, скажите, без потуг переваривает такую уйму еды. Дает же бог здоровье всякому ничтожеству".

Хасан недоволен собою. Своим "зачем" и своими людьми здесь и в столице. Сделав знак рабу, Хасан услышал, как снизу, под нишей, чуть скрипнуло недостаточно хорошо смазанное подъемное колесо. Захмелевший сельджук мог не услышать, и веревки черные не разглядеть в черной нише, но Хасан уловил неприятный звук. Рабы обленились! Я ими займусь. В Исфахане происходит что-то необычайное, он же, великий Хасан Сабах, в ком воплотилось божество, узнает об этом чуть ли не последним в стране. И от кого? От тупого беглого бея.

Звездный храм. К чему бы это? Ничто так не пугает человека, как непонятное. Почему-то и сам Хасан окружает себя мрачной таинственностью, пользуется сотней всяких ухищрений, чтоб устрашить простодушных людей. Но обсерватория?

Она представилась ему орудием сатаны. По ступеням секстанта султан норовит взойти на Аламут! Хасан верит в гадание по звездам. У него есть свой звездочет. Но, видит бог, звездочет Аламута не сможет один устоять против десятка звездочетов царских. И Меликшах точнее Сабаха будет знать, когда наступать, когда отступать. Что делать, чего не делать. И станет во сто крат сильнее секты.

Хотя он и без того опасен! Что же, что внес дань в казну Сабаха? Все вносят ее. И все лишь о том помышляют, как свернуть Хасану шею. И если кому-то - сохрани господь!- это удастся сделать, то, конечно, только Меликшаху.

...Но, собственно, при чем тут Меликшах? Он всего лишь темный сельджук, а сельджукским султанам доселе не было дела до звезд. Исправно платили секте, что положено - и занимались тем, что положено: пили, ели, жен целовали, воевали, молились. Звездный храм, конечно, затея Низама аль-Мулька. Умен, проклятый! Он хочет возродить во всей красе (руками туркмен) государство славных сасанидских царей, разрушенное арабами.

Вот он-то и впрямь опасен. Хасан его знает, учились вместе в Нишапуре. И вместе, при прежних царях, служили при сельджукском дворе. Пока Низам не прогнал Хасана прочь, уличив его в злостном сектантстве...

И здесь, наверху, скрипит колесо! Как серпом - по слуху.

- Кушать подано, наш повелитель.- Это уже в "эмпирее", где в потайной комнатке Хасан вышел из подъемного приспособления. "Наш повелитель" чуть не захлебнулся слюной, накопившейся во рту. Он даже забыл о скрипучих колесах,- то есть не забыл, он ничего не забывает! - отложил расправу с рабами на после.

Горячий, нежный, рассыпчатый рис,- его бы, стиснув в руке, запихивать комьями в глотку, а не обсасывать по зернышку. И куропаچه жирное крыло - оно тает во рту! Подлива - пахучая, пряная, но без острых специй, противопоказанных Сабаху. Разохотившись, он уже не мог оторваться от блюда и, махнув рукой на все страхи, очистил его до дна...

- Нет, так недолго и свихнуться!- Омар Хайям зашвырнул циркуль и линейку в дальний угол.- Друг Васити, скажи, чтоб нам принесли барана, целиком зажаренного на вертеле. И чесноку, и перцу, и разной острой травы для приправы. И вино, побольше вина! Я выпью пять чаш.

Он выпил десять. И побрел, шатаясь, искать крапчатую служанку. Искал и читал стихи:

Пред взором милых глаз, огнем вина объятый,

Под плеск ладоней в пляс лети стопой крылатой!

В десятом кубке, ей-же-ей, немного проку:

Чтоб жажду утолить, готовь шестидесятый. Но не нашел ее. И лег спать огорченный.

...Так что же Меликшах? Сытый, умиротворенный, Хасан выпил чашу вина, взял светильник и проник в сокровищницу, откинув настенный ковер и открыв длинным витым ключом железную дверь.

Золото делает хворых здоровыми. Даже Омар Хайям, самый бескорыстный человек в Иране, напишет в своей "Наврузнамэ": "Золото - эликсир солнца. Его лицезрение дает свет глазам и радость сердцу, делает человека смелым и укрепляет ум, увеличивает красоту лица, освещает молодость и отдаляет старость. Золото лечит любую рану".

Казна Хасана Сабаха совсем не походит на сокровищницы индийских сказок, где в глубоких волшебных пещерах, ослепительно сверкая, рассыпано грудями золото, серебро вперемешку с алмазами, жемчугом и бирюзой. Это просто глухое, без окон, помещение,- грот, вырубленный внутри утеса. Ценности здесь заботливо уложены в сундуки и корчаги. Каждый сундук тщательно заперт и поставлен у стены на другой, каждая корчага засмолена, опечатана. У скупого царя византийского нет, пожалуй, в казне такого порядка. На полу - полушки медной не увидишь.

Хасан, чуть пьяный от легкого вина, спустился, мутно улыбаясь, по каменным ступеням к сундукам, склонился к зеленому, самому ближнему. Здесь дар Меликшаха. Открыл, торопясь, задыхаясь. Отраженный свет полыхнул из сундука, будто не золото в нем, а груды пылающих углей. И в золотом этом зареве Сабах стал еще больше походить на индийского истукана - на золотого истукана, сошедшего ночью в храм со стены. Даже борода у него сделалась золотой.

Хорошее золото, чистое. И это-лишь первый взнос! Нет, все-таки надо ладить с Меликшахом. В хранилище еще немало места...

Сабах, блаженно облизываясь, сунул правую руку в груды монет. И дико вскричал, будто в руку ему вцепилась кобра! Страшный, с лицом, слева от нижней челюсти к правому виску, передернутым болью, рыча сквозь косо сцепленные зубы, он скорчился над сундуком, стиснул, шалея, горсть монет и прижал их к животу.

Монеты со звоном посыпались сквозь желтые скрюченные пальцы. Хасана вырвало прямо в сундук. Боясь умереть в одиночестве над этими мертвыми сокровищами, он, чуть отдышавшись, тихо побрел наверх. И сундук зеленый Хасан не закрыл, и монеты, что раскатились по подземелью, так и остались лежать, где какая, покрутившись, легла.

Он кое-как запер дверь, дополз до тахты. Раб, явившись на слабый зов, поднес господину кальян с хашишем. От ядовитого дыма лицо у Сабаха сделалось вовсе шафранным. Зато боль в животе притупилась.

Но совсем она его еще не отпустила. И соответственно ей слагались его размышления. Хасан - из тех, кто из-за своей изжоги способен сжечь родное селение. Нет, Меликшаха не следует трогать. Но в страхе надо держать. И посему - сделать ему предупреждение. Он выпил чашу холодной воды, настоящей на сырых рубленых яблоках, сказал рабу:

- Где Змей Благочестия?

- Я здесь, наш повелитель!

Из-за черной шелковой завесы, расшитой золотыми листьями, вывалился, опираясь на костыль, человек, совершенно необыкновенный с виду. Казалось, сшили его из разных кусков, второпях подобрав на поле боя от кого что пришлось: отдельно голову, глаз, туловище, руку, ногу. Вкривь и вкось по его лицу, шее и телу, обнаженному до пояса, расползались глубокие зубчатые рубцы от старых ран. Однажды их подсчитали, оказалось пятьдесят четыре.

Хасан сделал движение бровью. Раб исчез. Калека, бросив костыль, легко и ловко опустился на черный, с желтыми цветами, мягкий ковер.

- В подъемнике скрипят колеса. И внизу, и здесь, наверху. Трудно смазать? Рабы обленились.

- Скоты! Я их сейчас...

- Зачем? Не так уж их много у нас. Побей,- ну, слеп"а, для устрашения. Пообещай смазать колеса их кровью-.

- Может, Рысбека пустить на смазку? Сколько жира в нем. Хе-хе! Он внизу уже всем надоел.

- Да, назойлив сельджук! Назойлив и глуп. Потомуто и назойлив, что глуп. Но не смей его трогать!

- Что же с ним делать, с ним и его людьми? За что и чем их кормить?

- Овечками, которых они же сами и пригнали. Не обижай их. Пока. Пусть несут службу в дозоре на дальних подступах к Аламуту. Посмотрим после, что с ними делать. Кто от нас в Исфахане?

- Влюбленный Паук.

- Негоден, сменить, отозвать.

- Будет сделано, наш повелитель.

Тут боль как-то сразу отпустила Сабаха. О блаженство! Есть, значит, счастье на свете. И Хасан подумал с грустью: о чем он хлопочет? Зачем и к чему? Что толку в этой кровавой игре ради денег? Но у него уже не было сил и охоты докопаться до ясного ответа самому себе, зачем, и к чему, и что толку.

- Нет, оставь его,- передумал Хасан.- Это может вызвать у визиря подозрение. Один из дворцовых служителей вдруг исчезает. Почему? И как мы сумеем пристроить на его место другого? В Исфахане все теперь настороже. Нет, оставь. Пусть наш человек посмотрит: нельзя ли купить их нового звездочета.

- Велю.

- Сколько у нас молодцов, прошедших девять ступеней посвящения?

- Пятнадцать, наш повелитель.

- Их надо беречь. Для иных, более важных затей. Нам пока никто не угрожает, правда? На сей раз нужен кто-нибудь попроще,- чтобы сделать султану предупреждение. Ну, скажем, прошедший пятую ступень. Неприметный с виду, но крепкий, проворный. И хитрый, конечно. Особенно хитрый.

- Есть подходящий.

- Кто?

- Скорпион Веры.

- Хорошо. Сойдет. Переведи его в "обреченные".

- С пятой ступени - сразу в "обреченные"?- удивился подручный.

- Да!- Сабах вновь схватился за живот и завыл, испуская пену, сквозь косо сцепленные зубы:- Ды-ы-а-а! Приготовишь, покажешь мне... он... о-о-у...

- Приметы?

- Особых нет. Лицо простое. Обыкновенное. Все - как у всех. С виду он совсем зауряден.

- Почему же ты думаешь...

- Глаза! Глаза... слишком умные.

- Экий болван! Каждый встречный с умными глазами - злоумышленник?

- Нет, конечно. Я... неверно сказал. Не то, что бы слишком умные, а есть в них что-то такое... слов не найду, скрытность, затаенность. Ну, чуется мое сердце, есть в них что-то опасное. Его светлость может мне поверить. Утверждать, что он злодей, я, конечно, не смею. Кто его знает. Мое дело - обратить на него ваше проницательное внимание.

- Где ты его засек?

- В Бушире, у моря.

- Как, если человек из-под Казвина, он может оказаться в Бушире, минуя Исфахан?

- Ну, это просто. По западной дороге. Каэвин - Хамадан, Ахваз - Абадан, морем - в Бушир, чтобы запутать след и зайти к нам с юга, через Шираз.

- Все может быть. Надо проверить. Сам разберусь. Я оденусь простолюдином, пойду, погляжу. А ты беги, предупреди звездочета и всех там других, чтобы меня не величали светлостью, яркостью и прочее. Скажем, я - руководитель работ. Будь со своими людьми поблизости,

Незаметный, в простой, но чистой одежде, визирь, уходя в Бойре, приказал начальнику стражи пока что никого не впускать во дворец без его личного указания. И не вышускать. Никого. Даже султана.

Пятый постулат. Ох! Пятый, распятый, растреклятыи постулат. Чертов старик Эвклид, заварил кашу. Пусто у Омара в голове. Едва пригреешь мысль, с натугой вымучив ее,- тотчас же спугнет кто-нибудь. Он сидел на ветру, постелив кошму на камень, и следил за работами в Бойре. Никогда, наверное, здесь не было так шумно, как теперь. Жители Бойре ломают хижины, сносят камень к подножью бугра. Сколько слез у них пролилось, уговоров для них понадобилось, чтобы склонить их к этому.

- Ты хочешь оставить нас зимой без жилья?- кричал староста с яростью.- А еще - ученый...

Ах, эти "а еще!" А еще - поэт... А еще - ученый... Будто у поэта или ученого только и забот, чтобы всем, кто ни есть, угождать.

Омару не терпелось поскорее начать великую стройку.

- Вас в Бойре всего-то сто пятьдесят человек. Поставим тридцать суконных шатров, все в них разместитесь.

- Мы не бродяги, чтоб жить в шатрах!

- Курды живут круглый год и довольны. В них теплее, просторнее, чем в убогих ваших лачугах, где вы ночуете вместе с овцами и козами.

Омар попросил у визиря толику денег в счет годового жалования и послал гонца в Нишапур, в отцовскую мастерскую. Посланец привез один шатер. Вместе с печальным известием, что Ибрахим совсем отстранился от дел, мастерская хиреет, мать просит найти хорошего управляющего.

Зачем ей мастерская? Через нового порученца он велел старухе продать ее и переехать с Голе-Мохтар к нему в Исфахан. Не едет. Не может, видно, покинуть свой дом любезный,- наконец-то заполучив его назад. Ну, мать - бог с нею. Она никогда не была ему другом. Ни ему, ни Ибрахиму. Он не хочет оставить сестренку. Ладно, Омар сам поедет в Нишапур и все уладит.

А для жителей Бойре поставили тридцать добротных тюркских войлочных юрт. Юрты понравились жителям Бойре. В них уютно, тепло. Но больше всего, конечно, им понравилось то, что царский звездочет считается с ними. Жилье им дал, работу и кормит хорошо. Ведь другой бы прогнал их вон без разговоров. Но спасибо ему почемуто они не сказали.

Нет, он не должен сам заниматься досадными повседневными мелочами. Они отвлекают его от раздумий. Ему нужен добрый помощник, умный и дельный руководитель работ.

Итак... ну-ка вспомним Аристотелево четвертое исходное положение,- без него Эвклида не одолеть.

"Две сходящиеся прямые линии пересекаются, и невозможно, чтобы две сходящиеся прямые линии расходились в направлении схождения".

Значит... два перпендикуляра к одной прямой... не могут пересекаться, так как в этом случае,- Омар наклонился, набросал острием ножа чертеж на мерзлом белом песке,- они должны пересекаться в двух точках по обе стороны от этой прямой. Отсюда следует, что два перпендикуляра к одной прямой не могут сходиться.

Далее. Эти два перпендикуляра...

- Дозвольте обратиться, ученый друг?- услышал он над ухом чей-то вкрадчивый голос. Вскинул глаза: Абдаллах Бурхани. Совсем захирел, несчастный. Чем он болен? Эти два перпендикуляра не могут и расходиться, ибо должны б тогда расходиться друг от друга по обе стороны от этой прямой.- Не гневайтесь, что оторвал вас от ваших мудрых размышлений. Но дело мое не терпит отлагательства. Это дело государственной важности.- Поэтому... как же им, этим двум перпендикулярам... не находиться...- Оно, да будет вам известно, ученый друг, имеет прямое отношение к вашему Звездному храму.

- Да?- очнулся Омар.

Бурхани извлек из-за пазухи тугой белый свиток.

- Потрясенный... великим замыслом царя царей Джелаледдина Абуль-Фатха Меликшаха - да не иссякнет над ним покровительство божье!- возвести небывалую в веках и тысячелетиях обсерваторию...

- Бывало, все бывало,- зевнул Омар.

- Разве? Но в нашей стране...

- Было и в нашей стране,- вздохнул Омар.- Все было.

- Хм. Я, тем не менее, охваченный ярким пламенем неугасимого восхищения, осмелился сочинить по сему блистательному случаю касиду. Но, поскольку плохо разбираюсь в звездах, и поэт я, честно сказать, в сравнении с вами ничтожный, то решил отдать оду на ваш беспристрастный суд. Не сочтет ли наш высокоодаренный друг за не слишком великий труд перелистать ее и, где нужно, внесети поправки своей благословенной рукою? Ваш смиренный раб был бы век благодарен. И в случае чего...

- В случае чего?

- Ну, мало ли что! Мы все - под богом и царем.- Он протянул свиток Омару.

Будь это шестью-семью годами раньше, Омар непременно полез бы в драку. Чтоб не мешал думать. Но теперь он серьезнее, спокойнее. Если и злее, то основательно злее, упорнее. В глазах - внимание, пытливость. И не может он обидеть человека хворого.

Он только и сказал с неловкостью:

- Почему здесь?

- А где же вас еще можно застать? Зайдемте в шатер.

В шатре Омар развернул свиток и пробежал глазами посвящение:

"Во имя аллаха милостивого, милосердного, к которому мы обращаемся за помощью!

Хвала и благодарение всевышнему богу, который... озарил страны ислама прекрасной справедливостью и совершенным благородством...

...справедливейшего царя, благороднейшего султана, великого и справедливейшего эмира вселенной, победоносного победителя...

...М-да-а...

...славы царей других народов...

...повелителя страны тюрков...

...Ирана и Турана...

...покровителя... ох... веры, защитника людей, сияния державы, блеска религиозной общины... ы-ы... убежища народа... красы царства... а-а... венца царей тюрков... ф-фу... столпа мира и религии... и-и..."

Господи, помилуй! Омар с вожделием взглянул на костер, пылавший в шатре. Нет, зачем же. Он видел в Самарканде, как делают бумагу. Тяжелый труд.

- Все хорошо,- вернул он свиток Абдаллаху.- Превосходно. Не нужно никаких поправок.

- Но вы не соизволили дочитать?- удивился Бурхани.

- Зачем? И так все ясно. Можете смело поднести касыду его величеству султану Меликшаху. Он вас достойно наградит.- Омар ощутил дурноту. Его охватил неясный страх. Будто в шатер на миг заглянула смерть.

Что происходит на свете?

Из чтения умных книг - а прочитал он их много больше, конечно, чем сей славный "эмир поэтов",- и сурового опыта у него сложилось представление о жизни как о вещи серьезной, именно серьезной, с непроглядно глубоким содержанием. Где же она? Вокруг себя он видит иную жизнь. Не жизнь, ту - высокую, а ее нелепое подобие.

Которая же из них настоящая, та или эта? Где суть, а где - ее отражение?

Никому на земле нет пощады, ни малым, ни старым. Человек, рождаясь не по своей воле, и живет не так, как хочет. Мечется, бьется, точно затравленный, пока не зачахнет. Зачем? Население изнемогает от поборов, вымирает от скудной еды и неведомых болезней. И все - в угоду богу, которого славит с пеной на губах. Какой в этом смысл? Куда уж серьезнее...

А Бурхани пишет хвалебные поэмы.

Может, это и есть то настоящее, чему положено быть? А он, несчастный Омар Хайям, со всеми своими раздумьями, со своей обсерваторией, звездами, алгеброй, геометрией и прочей заумью,- он-то и есть шут, одержимый, вредный мечтатель, оторванный от подлинной жизни и мешающий ей идти своим путем?

Может, ей нужнее Бурхани?

Может, ему, Омару, и впрямь надо руки отсечь, чтоб не мучил воду?

Но ведь алгебра, геометрия, физика, метафизика и вся прочая заумь - они ведь тоже есть.

Как же их увязать, то и другое, как совместить несовместное?

- Победоносный победитель говоришь? - пробормотал он, как пьяный.- Повелительнейший повелитель Справедливейший справедли... тель. Ну, что ж. Сойдет! Раз уж это кому-то нужно. Ступай, приятель.

- Но тут еще... о звездах, о небесах,- не отставал Бурхани.

Ах, о звездах? Ну уж, нет! Хватит. Уж звезды-то вы не трогайте. Это не ваше поле. Тут весь его бунтарский дух, который позже назовут, жалея, невыносимо дурным, скверным нравом, шибанул Хайяму в голову. Осел ты этакий! Я тебе покажу.

- О звездах? Которые ты, конечно, сравниваешь с алмазами в шахской короне? О небесах? Бескрайних, конечно, как справедливость справедливейшего из справедливых? Тьфу! Что тебе в звездах, собачий хвост? Разве можно писать такую дребедень в наше жуткое время? Добро и зло враждуют, мир в огне...

- А что же... небо?

- Небо - в стороне! Проклятия и радостные гимны не долетают к синей вышине. Ясно? Прочь отсюда, о стручок, увядший, не успев созреть.

Бурхани, подхватив и скомкав развернувшуюся ленту злополучной касыды, весь в слезах, дрожащими губами:

- Хорошо... я пойду. Но ты еще пожалеешь! Я доложу кому следует. Шейх уль-исламу - главному наставнику в делах веры...

- Хоть самому сатане! Поэт - бунтарь, учитель, обличитель, это понятно. Поэт-доносчик-таких еще не бывала

От касыды Бурхани у него, похоже, приключилось размягчение мозгов. Омар не мог, хоть убей, восстановить ход своих рассуждений о перпендикулярах - и чуть не заплакал от ярости.

Скрипя зубами, он налил, выпил чашу вина. Чуть отошел, успокоился. И пожалел, что обидел Абдаллаха. Больно вспомнить, как у него дрожали губы. Разве он виноват, бедный "амир аш-шаура" - князь поэтов, что от природы бездарен?

Нет, конечно. Но зато он виноват в том, что берется не за свое дело! Для чего ты пишешь? Для самовыражения? Изволь. Если есть, что выразить. Для самоутверждения? Ради денег? Если так, ты мошенник. Стихи надо писать лишь тогда, когда хорошо понимаешь: если ты это не скажешь, люди останутся в чем-то обездоленными.

Бездарность-преступление, если она сопряжена с властью. Бездарный полководец, вместо того чтобы разбить вражье войско, путем дурных, бессмысленных приказаний губит свое. Бездарный поэт - вреднее: это он делает людей болванами, охотно выполняющими дурные, бессмысленные приказания глупых начальников.

Прохиндеи! Трах в прах вашу мать, как говорит Ораз. Всякий убогий стихоплет почему-то думает, что поэзия - поле, которое все стерпит: и пшеницу, и полынь. Нет, не стоит их жалеть. И сей прохвост хотел прокатиться на нем, подкупив обещанием помочь "в случае чего". Знаем мы вашу помощь! "В случае чего" ты первый швырнешь в меня камешком"

О люди! Почему вы так назойливы?

Ну, Бурхани можно понять. У него семья, дети. Их надо кормить. А ремесла другого не знает. Вчера явилась в слезах жена: "За что вы преследуете моего мужа? Он есть перестал, он ночей не спит". Скажите, я его преследую! Хе.

И тут его с пронзительной ясностью осенило: ему никогда не следует жениться. Чем жена может помочь ему в его размышлениях? С тех пор, как христиане растерзали гречанку Ипатию, ученых женщин на земле не стало. Она не даст ему думать! Изведет его своей пустой болтовней. Но если бы только это водилось за ними. Болтливость - не самый страшный грех жены. Она способна на кое-что похлеще. Нет уж! Увольте. У него есть жена, одна на всю жизнь - наука, она никогда не надоест, не изменит ему. Поэзия? Она тоже входит в науку, составляя с нею целое - душу Омара. Разве можно отделить от цветка его запах?

"Поэтому... как же им, этим двум перпендикулярам..."

Э! К бесу... Он вышел из шатра и увидел сверху, с бугра, вереницу людей и повозок, приближавшуюся к Бойре. Значит, глашатаи не зря едят свой хлеб: отовсюду к Исфахану уже потянулись землекопы, каменотесы, древодеры. Пойду, решил Омар, к вновь прибывшим и погляжу - может, среди них попадется хоть один толковый человек.

Народ подобрался не совсем удачный.

Человек в простой, но чистой одежде, никому из пришлых не знакомый,- похоже, руководитель работ, вместе с царским звездочетом дотошно и нудно опрашивал каждого, кто он, откуда, что умеет делать. Землекопы. Возчики. Ну, ладно, эти смогут хоть камень ломать и возить.

- Экий сброд!- рассердился руководитель работ.- Здесь, видите, всюду камень. Нам с камнем работать. Каменотесы есть среди вас?

- Есть! - выступил из толпы рослый крепкий юнец в меховой шапочке, с переметной сумой через плечо.

Ага, тот самый: осведомитель указал на него визирю глазами. Да. Все как у всех. Два уха, два глаза, нос, две дырки в носу. Обыкновенное лицо с пухлым детским ртом, обветренное, простое. И глаза как глаза: никакой в них особой хитрости. Вполне простодушные, честные.

- Как зовут?

- Курбан, сын Хусейна.

- Родом?

- Из Тебриза.

- Сейчас откуда?

- Из Бушира.

- Где Тебриз, а где Бушир. Ты как туда попал?

- Искал работу. Хорошую работу.

- Что, в Тебризе нет хорошей работы?

- Есть. Я служил у мастера Абу-Зейда. Он стар, ворчлив и завистлив. Слишком долго держал меня в учениках.

- Да, за старыми мастерами это водится.

- А я уже сам могу держать учеников. Рассорились мы. Ну, я и ушел. В Тебризе мне проходу нет. Подрабатывал на разных стройках. В Бушире узнал - в Исфохане нужны каменотесы.

- Покажи руки. Курбан показал.

- Да, похоже, ты каменотес. И хороший?

- Вроде неплохой.

- Можешь доказать?

Курбан, спокойно и уверенно:

- Могу.

- Сейчас?

- Хоть сейчас.- Он оглядел груды белых камней, снесенных к подножью бугра, согласно кивнул сам себе, сказал: - Пусть мне дадут болванку.

- Эй, тащите!- приказал "руководитель работ". "Сейчас посмотрим, какой ты каменотес, чем натер мозоли на руке: рукоятью тесла или рукоятью меча".

Принесли болванку - грубо обрубленную глыбу. Курбан провел пальцами по шершавому ноздреватому камню, сказал весело и пренебрежительно:

- Э! Легкий камень, мягкий. Я его с закрытыми глазами могу разделать.- Он снял с плеча суму, опустил на корточки.

- Что там у тебя?- насторожился "руководитель работ".

Кое-кто из людей, его окружавших, придвинулся ближе.

- Тесло.

- Мы найдем тебе тесло.

- Какой же путный мастер работает чужим теслом?- удивился Курбан.

Он достал из сумы, порывшись в ней, свинцовый карандаш, медный угольник, бечевку с узлами. И увесистое тесло с толстой крепкой рукоятью, оплетенной давно залоснившимся ремнем, с хищным поперечным лезвием, острым как нож.

Да, это был инструмент мастера, отполированный до ясного блеска его мозолистой рукой. Ладный, удобный, сам ложащийся в ладонь. Им хоть камень теши, хоть бороду брей. Его хочется держать у груди, как дитя. Великолепное орудие труда.

- Я к нему привык, не могу без него,- улыбнулся Курбан светлой улыбкой.- Оно понимает мою мысль, мой глаз, мою руку.

- Ты запаслив,- прищурился визирь.- Неглупый, видать, человек.

- Я каменотес,- произнес Курбан, не поднимая глаз от сумы, в которую укладывал назад запасные чуваки, шерстяные белые носки, какие-то тряпки, что вынул перед тем, доставая тесло. Попутно отломил от черствой лепешки кусочек, отправил его в рот.

- Эй, принесите ему поесть,- распорядился визирь.

- Нет, не сейчас,- отказался каменотес.- Поем - отяжелею, в сон потянет, будет уже не тот глазомер.- Он сбросил кафтан, поправил широкий кушак, закатал рукава рубахи.

- Замерзнешь.

- Согреюсь.

Курбан легко подхватил громоздкий, кем-то уже до него давно откиркованный камень, поставил его удобнее, выше, на другие камни. Бечевкой измерил болванку, сделал на ней отметки свинцовым карандашом.

В долине дул режущий ветер. Множество людей, ежась и кутаясь в халаты и шубы, молча стояло вокруг и, бессознательно завидуя Курбану, любовалось им, его крепким, хорошо сбитым телом, уверенным взглядом, неторопливыми точными движениями.

Все как у всех, но есть в нем некое превосходство перед другими. И все его чувствуют, это превосходство, даже визирь и царский звездочет, но не могут еще постичь, в чем оно состоит. Курбан поплевал на руку, взял тесло. И на миг непроницаемо-спокойное лицо с бровями, сошедшимися над переносицей, с впалыми щеками, буграми желваков на крепко стиснутых челюстях, приняло какое-то жадное, даже хищное выражение.

- Без воды работаешь?- ехидно сказал визирь, старавшийся подловить пришельца на какой-нибудь мелочи. - Я слышал, каменотесы, прежде чем рубить камень, обливают его водой.

- Летом,- пояснил, не глядя, Курбан - снисходительно, как ребенку-несмышленишу, отрывающему взрослого от работы наивными вопросами.- А сейчас-то у нас вроде зима? Камень и без того холодный. Вода замерзнет на ветру, лед будет только мешать. Горячей водой поливать - кто и где ее столько накопятит? И все равно будет застывать. Обойдусь.

Вот оно! Вот в чем его превосходство над ними. Это превосходство человека, умеющего то, чего не умеют другие. Превосходство человека, отлично знающего свое дело.

- Камень тесать - не щепку строгать,- сказал Курбан дружелюбно.- Долгое дело. Заскучаете.

- Давай, давай!- поторопил его визирь.

- Во имя аллаха милостивого, милосердного!- Пронзительно звякнула сталь о камень. Курбан осторожно нанес несколько пробных ударов - и тесло застучало размеренно, четко, как пест на водяной рисорухке. Зачарован тут каждый - у всех на глазах корявый каменный брус выравнивается на одном конце, точно продолговатый кусок брынзы, обрезаемый ножом.

Затаили дыхание жители Бойре,- им предстоит учиться этому ремеслу.

- Каково?- кивает визирь звездочету.

Для него и Омара постелили на камень толстый войлок, развели костер. Даже он, сановник, погрязший в дворцовых дрязгах и презирающий чернь с ее убогой жизнью, не безучастен к чуду мастерства.

Омар же - тот уже видит геометрически правильный четырехугольник. И четырехугольник этот ложится в его мозгу на бумагу, образованный двумя перпендикулярами равной длины,

восставленными к одной прямой, и боковыми отрезками. Затем он мысленно делит четырехугольник осью симметрии на две части...

Курбан, разгоряченный, вытирает полою рубахи пот с лица и шеи, колдует с угольником над камнем и приступает к другому концу болванки.

...Та-ак. Сделаем первое предложение. Верхние углы четырехугольника равны между собой. Второе: перпендикуляр, восставленный в середине нижнего основания этого четырехугольника, перпендикулярен к верхнему основанию данного четырехугольника и делит верхнее основание пополам...

Оба предложения складываются у него в голове томительно медленно, трудно - будто он намерен их сделать не кому иному, как царице и жене визиря,- так что проворный Курбан успевает вчерне обтесать другой конец камня и берется за боковую сторону.

...Дальше - сложнее. Верхние углы четырехугольника прямые. Но это надо доказать! Допустим, они тупые или острые. Нет, тут без бумаги не обойтись. Он вынул из-за пазухи тетрадь. На листке чистой бумаги возник торопливый чертеж. Уже четыре смежных четырехугольника, и от точек ДС опускаются вниз отрезки, образующие острые углы... Так, так. Хорошо. Попробуем перегнуть чертеж... Омар вырывает лист из тетради. Нет, получается нелепость с тупыми и острыми углами! Прямоугольник все-таки существует...

Неутомим Курбан, сын Хусейна. Грудь у него - точно кузнечный мех, рука - рычаг на водяной рисорушке: ровно, упорно - вверх - вниз, вверх - вниз. И тесло - со звоном: "раз, два, раз, два" - как железный подпятник на жернове. Или что там стучит, бог его знает,- всего один раз довелось Омару побывать на мельнице. Но стучит равномерно, отчетливо, ясно. И высекает в мозгу Хайяма такие же равномерные, ясные, четкие мысли. И, точно крупа, летит щебенка, белая пыль.

...Раз уж в прямоугольнике противоположные стороны равны, то не является ли любой перпендикуляр к одному из двух перпендикуляров к одной прямой их общим перпендикуляром? Хе! Здесь намечается нечто. Если две прямые равноотстоящи в смысле Эвклида, то есть не пересекаются, то это - два перпендикуляра к одной прямой.

И если две равноотстоящие прямые пересекаются третьей, накрест лежащие и соответственные углы равны, а внутренние односторонние составляют в сумме два прямых угла...

Скажите, как складно, а? Вот, кажется, он и решен, пресловутый пятый постулат. Вернее, заменен более простым и наглядным. Осталось уточнить кое-какие мелочи, выразить все в подробных чертежах. Но тогда - при чем здесь Эвклид?

Это уже не Эвклид.

Это уже Омар Хайям.

Теперь, пожалуй, недолго сказать "Через точку вне прямой можно провести более одной прямой в их плоскости, не пересекающейся с этой прямой".

Он изумился: я это сделал или не я? Не может быть, чтобы я. Не похоже. Нет, все-таки я додумался до этого! Что же я такое?

Жаль, не было тут никого, кто мог бы заметить:

- Ты первый сделал это. Первый в мире! За 754 года до Николая Лобачевского. Чье открытие тоже, кстати, не получит при его жизни признания. Ты сделал первый шаг к открытию новых, совершенно иных геометрий.

...И Курбан, правда, еще не закончил свою работу, но уже завершал ее.

- Хватит!- сказал Омар удовлетворенно.- Золотые руки! Дай обниму, поцелую. Мы берем тебя на работу. Будешь прилежен - получишь учеников. Построим дом и женим, если будет на то соизволение божье. Может, со временем станешь большим человеком, руководителем работ.

- Балле, балле! - засуетились вокруг каменотеса.- Воистину, руки у него золотые.

Никто не заметил, даже визирь, что звездочет тоже не бездельничал это время, черкая что-то в своей тетрадке. Никто не подумал, что его чертеж, через многих других ученых, отразится когда-нибудь на судьбе сотен и сотен тысяч каменотесов. Да никто из них, находящихся здесь, и не смог бы понять, хоть убей, в чем суть его умствования. Даже великий визирь. Хоть он и учен, и сам пишет книгу. Математика - дело темное. А болванка - она вещь понятная, зримая, веская.

- Где мы его устроим на ночлег? - задумался визирь.

- Я возьму к себе!- встрепенулся староста Бойре.- У нас в юрте просторно. Мы с дочкой вдвоем. Только... не знаю, 'чем угостить. Бедность...

- Добро,- согласно кивнул визирь. Это отвечало его замыслу.- Вот тебе динар. Накорми хорошенько.

"Хитер старик!- ухмыльнулся Омар.- Непременно спихнет умельцу свою беспутную дочь. Жених-дурак сам лезет в руки".

Шепнув кое-кому кое-что, визирь взял звездочета с собой и уехал.

- А ты парень не промах,- сказал Курбану староста, когда они пошли к подножью бугра, к войлочным юртам.- Самому визирю сумел угодить.

У Курбана вмиг ослабли ноги. Он с ходу сел на придорожный камень, сгорбился, опустил голову.

- Устал?- спросил старик сочувственно. Каменотес - равнодушно:

- Визирь... какой визирь?

- Он же разговаривал с тобой!

- Тот, который моложе?

- Нет, тот - царский звездочет; который старше.

- Почему же он... в простой одежде, без свиты... без охраны?

- Это у него бывает.

- Бывает?

- Он у нас чудаковат. Не любит торчать у всех на глазах. Всегда в сторонке. Бродит ночью, переодетый, по кабакам, раздает пьянчугам деньги.

- А-а...- Курбан прижал к себе локтем суму с теслом, ощущая его рукоять. Вот незадача. Знать бы... Он уже сегодня мог бы вернуться в рай.

Всю дорогу от Аламута до Хамадана, от Хамадана до Бушира, в повозке и на корабле, ему мерещились три райские девы: белая, желтая, черная. Хотелось рыдать от обиды! Только-только сподобился... и шагай куда-то. Он со скрипом зубовным подавлял в себе крик и стон. Что поделаешь? Надо шагать. Надо! Чтобы скорее вернуться назад, надо скорее идти вперед.

Он готов перерезать весь Исфахан, лишь бы вновь очутиться в объятиях юных гурий...

- Отдохнул? Вставай. Я зарежу в твою честь барана. Курбан сумрачно оглянулся, поискал глазами всадников далеко на дороге, ведущей к городу и рассмеялся, испытывая какой-то смутный разлад в душе. Вот оно как получается! В секте его хвалили за покорность. Хвалили за меткость. Хвалили за хитрость. Но никто никогда ни разу не похвалил за работу.

А сколько камней он перетесал за десять лет! Хватило бы на весь Звездный храм...

- Не очень-то жарко с ним обнимайся,- сказал визирь звездочету по дороге домой.- Если не хочешь получить удар ножом в живот. Это исмаилит.

- Ну, и что?- пробормотал Омар, весь ушедший в свои параллельные.

- Как что? Это смертник, понимаешь?

- Не понимаю.

- Убийца-хашишин!

Омар пожал плечами.

- Федаи - обреченный!

- Ну, и что? Я сам обреченный. Мы все обреченные.

- Экий ты... не сообразительный. Человек Хасана Сабаха!

- Разве?- удивился Омар.- Не похож. Такой-то мастер. Мы сами видели, своими глазами.

- Э! Он может, если захочет, прикинуться кем угодно. Святым старичком. Монахом бродячим. И даже невинной девицей. Он пришел убить кого-то из нас. Может, султана, может, меня или тебя.

- Меня-то за что убивать?- отмахнулся Омар.

- Не всегда убивают тех, кого давно бы надо убить.

Но Омару сейчас не до Хасана Сабаха со всей оравой его безумных подручных. Какое имеют они отношение к старику Эвклиду? Омар благодарен Курбану, будь он хоть джинн, за наитие, волшебное озарение, которое сошло на него, когда математик наблюдал за работой каменотеса. Омар спешит в свою келью занести на бумагу решение пятого постулата.

Так родилось "Толкование трудностей во введениях к Эвклиду", одно из наиболее ценных произведений Омара Хайяма.

Но Омар не ограничился в этом трактате лишь доказательством пятого постулата. Во второй и третьей книге "Толкования" он разработал свое знаменитое учение о числах, противопоставив его античному. Отношение у него выступает как число - либо в старом, собственном, смысле, как целое, либо в новом, несобственном, как нецелое - дробное, не соизмеримое с единицей. Составление отношений не отличается более от умножения чисел, одинаковость отношений - от их равенства, отношения пригодны для измерения любых изучаемых величин.

Он положил начало перевороту в учении о числах, уничтожив существенную грань, отделявшую иррациональные величины от числа:

"Знай, что мы включили в этот трактат, в особенности в две его последние книги, вопросы весьма сложные, но мы сказали все, что к ним относится, согласно нашей цели. Поэтому, если тот, кто будет размышлять над ними и исследовать их, займется затем ими сам, основываясь на этих предпосылках... он приобретет знание с точки зрения разума".

Знание. С точки зрения разума. Именно разума! Как его не хватает человечеству.

Через "Изложение Эвклида" Ат-Туси, изданное в Риме в 1594 году, теория отношений Хайяма и его учение о числах попадут в Европу. Но это будет еще не скоро. Это будет через пять столетий.

...Прекрасной Зубейде, жене багдадского халифа Харуна ал-Рашида, одно платье из узорчатого шелка обошлось в пятьдесят тысяч динаров. Одно из сотен. На путешествие в Мекку и дары мечетям и служителям при них она истратила три миллиона. Дворец Зубейды был весь обставлен золотой и серебряной утварью, туфли усыпаны драгоценными камнями. Она терпеть не могла обычных свечей,- ей делали их из амбры, источающей благоухание.

У вдовы по имени Разия, жившей в том же Багдаде, не было дворца, не было слуг и рабынь. И даже простых свечей у нее не водилось, худая копилка и та не мигала в ее убогой хижине. Потому по ночам она пряла свою пряжу при свете луны.

Однажды в безлунную ночь по улице, где клонилась к земле лачуга вдовы, прошел с фонарем великий халиф. Разия, торопясь, схватилась за веретено, повернула его два раза и успела скрутить две нити. Халиф удалился, вдову ж одолело сомнение: имеет ли право она на эти две нити? Ведь спряла их при свете чужого светильника.

Наутро бедняжка поплелась в тревоге к судье Ахмеду ибн-Ханбалю. Почтенный законник, до слез восхитившись ее бескорытием, подтвердил, что на эти две добротные нити старуха прав никаких, к сожалению, не имеет и должна отдать их халифу. И, еще пуще умилившись, он объявил Разию святой, великой подвижницей благочестия...

Мать Курбана никто не называл святой, хотя благочестием и честной бедностью эта вдова мазандеранская превосходила даже багдадскую Разию.

Вместо платья мать Курбана носила дерюжный мешок, сделав в нем дыру для головы и кое-как приладив рукава из рваных штанин, оставшихся после мужа. С ранней весны, едва подсохнет грязь, до поздней осени, когда уже на все садится иней, она ходила босой, в зимнюю стужу наверхтшала на ступни всякую ветошь. Питалась кореньями, дикими травами. Ее всегда палила жажда, ибо мать Курбана позволяла себе пить не чаще одного раза в день. Она была хилой и бледной, потому что избегала дышать полной грудью, боясь тратить воздух, принадлежащий богу и его наместнику на земле. Она никогда не зарилась на чужое. Более того, свое единственное кровное достояние, десятилетнего сына, дабы угодить аллаху, по доброй воле своей отвела в секту:

- Сына моего зовут Курбаном, то есть Жертвой. Пусть же он станет моей жертвой благому делу.

...Эх, мать!

Курбан бросил тесло, сунул руку в ледяную струю. Каменотесы трудились у ревущего потока, чтобы острый звон их орудий сливался с шумом воды и не досаждал повелителю. Ладонь - огромная багровая мозоль. Надоело! Курбан сел на камень и подставил руку под студеной ветер. Горит...

С тех пор, вот уже десять лет, Курбан не видел мать и ничего не знает о ней. С тех пор он живет в Аламуте. С тех пор рубит, тешет и режет камень. Его, камня, много нужно святому братству - чинить старые стены, строить новые, дабы закрыть неверным суннитам доступ в божью обитель.

Курбан всегда безмолвен. Он всегда по-странному задумчив. И никто не знает, о чем он думает. Поди, догадайся, о чем думает скорпион в расселине. Курбан и сам не сказал бы толком, что его угнетает. Откуда у него внутри это постоянное оцепенение.

Хотя в них, его смутных, но упорных тайных раздумьях, все будто вполне земное, человеческое:

тоска по отцу, с которым, бывало, они выходили весною в поле, и по их небольшому, но уютному полю;

по волю, по мотыге и плугу;

по хижине, пусть закопченной до черноты, но все же - родной, по богобоязненной матушке, не пожалевшей сына ради неба.

Но главное в них - оно же, небо лучезарное. Не само небо, а мечта в образе сказочной женщины. Горячечноострое предвкушение райского блаженства. Молодость! Что с нею делать?

Именно здесь, в Орлином гнезде, укрыта от грешных людей незримая лестница, что соединяет землю с небесами. По ней, хрустальной, "наш повелитель" восходит к престолу аллаха. Когда-нибудь и Курбан вознесется по ее ступеням прямо в объятия райских гурий. Если будет, конечно, терпелив, послушен и прилежен, ни разу не нарушит предписаний.

Да, но в коране сказано, что восхождение в ран длится в течение дня, продолжительность которого - пятьдесят тысяч лет (сура семидесятая, стихи третий, четвертый) .

А Курбан проходит пока что лишь пятую ступень посвящения. Ему строжайше запрещено пить вино, курить хашиш и не только прикасаться к женщине, но даже видеть ее. Третий запрет - самый тяжелый. От него у него, должно быть, и сместилось что-то в голове.

Но он уже многое знает и умеет.

Он знает: смертей человек, душа его бессмертна. Покинув тело, она ветерком поднимается к небу, сливается с тучей и падает наземь вместе с дождем. Что будет с ней далее, куда она угодит: в какую траву вместе с водою, в какое животное - зависит от ее чистоты. Долог и сложен путь в рай. Она может попасть в чрево милой женщины и воскреснуть в новорожденном. Иль оказаться, если стоит того, в презренном зловонном зверьке. Иль, что хуже всего, навечно застрять в придорожном камне, омытом дождевой водою. Уж оттуда в рай не взлетишь.

Но Курбан - человек не такой, как все. Он член секты. И ему уготован особый путь.

Он знает:

одолев пять ступеней посвящения, наполовину приблизится к райскому блаженству; перейдя на шестую ступень, больше не будет тесать известняк и гранит,- начиная с этой ступени, сектанты живут наверху, в чертогах повелителя, какой-то странной жизнью, не известной никому из низших;

самых лучших "наш повелитель" переводит на десятую ступень, они возносятся в рай.

Что он умеет? Слушать, смотреть, замечать. Терпеть голод и холод, пытку огнем и железом. Стрелять из лука, биться на мечах. Метать без промаха -нож. Наносить смертельные удары головой, кулаками и ногами. Влезать по веревке с закидным крюком на высокие стены. Лежать под водой, дыша через полый камышовый стебель. И, конечно, он помнит наизусть все заклинания, которым учил его шейх.

Нет, пожалуй, мать сделала доброе дело, отдав Курбана в секту. И все-таки... лучше б все-таки жить в отцовской лачуге, пахать отцовскую землю. Хе! Землю, которой давно уже нет...

- Эй, Скорпион! К наставнику.

- Он кого-то ждет.

- Сообщника. Или сообщников. Глаз не спускайте! Следите.

- Следим, ваша светлость. Всю ночь лежали вокруг юрты. Старик, наевшись баранины, взял миску с мясом и ушел ночевать к соседу. Хашишин остался с его дочкой.

- И что?

- Лепешки всю ночь пекли.

- Ночью? Какие лепешки?- удивился визирь.

- Как? Разве его светлость не знает тюркский рассказ о лепешках?- удивился осведомитель в свою очередь.- Дозвольте?

- Слушаю.

- Один человек пришел в селение. Где ночевать? Староста ему говорит: "На окраине живет вдова, ночуй у нее". Ладно. Пришел. Вдова постелила ему по ту сторону очага. Он, понятно, не может уснуть. В полночь слышит - у входа густой мужской голос шепчет: "Лепешка". Вдова - шмыг наружу. Ну, возня на песке, охи, стоны. Вернулась, легла, тихо кругом. Гость, не будь дурак, неслышно выполз из юрты, шепчет: "Лепешка". Она тут же вышла к нему. Темно. Ну, все уладилось.

Утром приходит здоровенный мужик, сел с ними завтракать.

"А хорошую мы вчера испекли лепешку!"- мигает он ей.- "Две".- "Как две? Я испек одну".- "Две. И вторая была вкуснее".- "Я - одну!" Ну, начался у них тут спор. "Не шумите,- говорит гость.- Я увидел, что печка горячая, взял и испек вторую".

- Ха-ха-ха! Но ты не забывай, что он не за лепешками сюда явился. Что он делает сейчас?
- Тешет камень.
- Никто к нему не подходил?
- Нет. За целый день никого.
- Если сообщник в городе, уже бы показался. Значит... значит, он - о аллах!- здесь, у нас во дворце. Хашишину надо попасть во дворец. Хорошо! Я устрою проверку. А ты ступай. Следите.
- Вздохнуть не дадим, ваша светлость.

...Вечно затеи, сборища, молебны. Поесть спокойно не дадут! От котла, бурлящего невдалеке, долетает горячий запах вкусной пищи. Сила от черствой лепешки, которую Курбан съел утром, уже вся вышла; сейчас должны разливать просяную похлебку с мясом, но ее, похоже, ему сегодня не хлебать...

Зачем он понадобился наставнику? Опять шейх начнет хитро выспрашивать: "Не одолевают ли тебя, сын мой, нечестивые сомнения, не испытываешь ли ты где-то на самом дне души смутных колебаний?"

Одолевают! Испытываю! Но так я и рассказал о них тебе, почтенный. Разве ты не сам заставил меня затвердить сто восьмой стих шестнадцатой суры корана: "Гнев божий - не над теми, кто приневолен, тогда как сердце их твердо". Значит, дозволено лгать, чтобы добиться своего, притвориться, чтобы спастись, кем захочешь. Не это ли чуть ли не первая заповедь исмаилитов!

"Наверное, здесь обиталище нашего повелителя",- подумал Курбан благоговейно, когда суровый безмолвный сектант старшей ступени провел его в помещение, в каких ему никогда не случалось бывать. Огромная комната с потолком, составленным из совершенно одинаковых ровных балок, со стенами в сказочных росписях - белые облака в синем небе, ангелы- с белыми крыльями, девы в белых одеждах; пол устлан красными коврами, уставлен в углах резными столами, скамьями.

Но встретил его, восседая на золоченой тахте, не повелитель,- встретил его Змей Благочестия.

- Садись, сын мой. Устал? - Наставник кивнул на ковер перед тахтой.
- Я... как есть.- Курбан смущенно обвел руками вокруг себя: он явился, в чем был - в драном халате, грязных дырявых чувяках.

Шейх - отрешенно:

- Что значит земное платье перед запястьями золотыми, жемчужными, перед сверкающими шелками садов эдемских?

Курбан, закусив палец удивления (мысленно), несмело опустил на ковер и выжидательно потупил очи долу. Внутри у него что-то затрепетало. Зачем наставник сказал о райских садах? Хе! Обычные разговоры...

- Не одолевают ли тебя, сын мой, нечестивые сомнения, не испытываешь ли ты в самых глухих тайниках души каких-то смутных колебаний?

Так и есть. Все то же. И Скорпион Веры вполне успешно, не моргнув (после десятилетней-то выучки), выдержал пронзительно-вопрошающий взгляд наставника и бесстрастно ответил

стихом из корана: "Жизнь земная - забава, игра, и красование и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей".

- Балле! - кивнул шейх одобрительно.- Но ты, любезный, проголодался? Сейчас принесут поесть. Хотя... что значит эта пища перед снedyю в трапезных райских, где "плоды и все, что только потребуется", вода без смрада, молоко, которое не киснет, вино, приятное для пьющих, мед очищенный?

"Опять",- насторожился Курбан. Он не знал, что кто-то пострашнее рубленого шейха следит за ним и слушает его. Но он знал: каждый шаг в Аламуте - испытание. Ему, исмаилиту, что бы ни стряслось, надлежит никогда, ни при каких обстоятельствах не выказывать удивления. Он должен быть находчив, словно кот, из любого положения падающий на все четыре лапы, и тверд и холоден, точно камень, который тешет вот уже который год.

Тут и случилось невероятное. Едва шейх умолк, в помещение...- о аллах! - ввалился... медведь? Нет. Бесшумно ступая, проникла горная рысь? Нет. Кобра вползла, зловеще шипя? Тоже нет. Сюда вошла - женщина! Неужто он уже в раю? Женщина с подносом в милых голых руках, закрытая чадрой до черных глаз.

Курбан,- его с детства нарочно держали вдаль от женщин,- вскрикнул, скривился, будто у него разом содрали с ладони, вместе с шершавой корою мозолей, рубцов и ссадин, багрово-сизую кожу. Но лишь внутренне вскрикнул он и скривился. Лишь про себя. Внешне-то у него даже ресницы не дрогнули. И похолодел он и обмер, тоже ничем того не выдав, когда женщина, поставив поднос на тахту, незаметно для шейха... мигнула Курбану.

Так чуть-чуть. Слегка. Даже не мигнула, а сделала еле заметное, почти неуловимое движение веком и бровью,- вроде только хотела мигнуть, да постеснялась...

Шейх, по всему виду, был доволен стойкостью Скорпиона. Он пригласил благодушно:

- Поднимись на тахту, утоли голод и жажду. Медлит Курбан. Никак не вяжется его обличье с золоченой тахтой и коврами. Он привык есть на ветру, у ручья, усевшись на ветхой циновке. Здесь Курбан как осел шелудивый на царском пиру.

- Ну? - Шейх любовно провел обрубленными пальцами по стройному, как девичье тело, с объемистым низом, медному кальяну, поправил чубук, поднес к чашке наверху огонь.

Повиновался молодой сектант. Женщина сняла с подноса белый покров - ив ноздри Курбана хлынул изумительный дух баранины, обжаренной на вертеле, уксуса, лука, отварных овощей.

Уходя, она вновь обратила к нему томный взор и смущенно потупилась.

Будь на месте Курбана другой мужчина, опытный, тертый, он бы сразу раскусил ее, разгадал развратную игру. Но Курбан не знал всех этих хитростей. Однако они сделали свое дело. К чему все здесь и велось. Ему стало не до еды.

- Смелей! - подбодрил его шейх.- Или с устатку и хлеб не проходит в глотку? На, покури. Сразу снимет усталость. Это - хашиш. Святая трава, дар божий.- Он сунул Курбану чубук.- Не соси, не леденец! Вдыхай дым сквозь чуть раскрытые губы...

Стены дрогнули, расплылись, облака шевельнулись и закрубились. Девы в белых одеждах все повернулись к Курбану. Ангелы взмахнули белыми крылами, тихо слетели с росписи, закружились над его головой.

- Курбан, сын Хусейна! - загремел над нею громовой и нежный, задушевно мягкий голос:- Возрадуйся, раб божий. За верную службу ты удостоен лицезреть при жизни рай...

Помнится, Курбан долго кашлял, обливаясь слезами. Затем ему сделалось так хорошо, как не было никогда за двадцать лет. Восторг! Хочется петь, и смеяться, и плакать от радости. Летать. И зверски хочется есть. Ангелы кормили его с рук. Накормив и напоив каким-то душистым питьем, подхватили счастливца и понесли куда-то. Он очутился, нагой, в мраморном бассейне,

и чьи-то руки с ласковым плеском омывали его тело, намерзшее на ветру, теплой благоухающей водой.

Затем он увидел себя в огромном серебряном зеркале - в сверкающих шелках, золотых и жемчужных запястьях. Запела флейта. Он с детства не слышал ее. Грянул гром, полыхнула молния. Голубая звезда вспыхнула в мозгу Курбана. И прозрел он великую истину. Единую на свете. Если б только это мгновенное озарение разума можно было удержать и запомнить, он смог бы завтра изменить весь мир.

Но тут Курбан потерял сознание и очнулся в голубой пещере, сверкающей самоцветами. Он возлежал на белоснежном пушистом войлоке под развесистым, причудливо искривленным золотым деревцом с атласными листьями, с колокольцами из серебра вместо плодов. Перед ним, в золотых блюдах, плавилась в янтарном масле куропатки и куры, горою лежали яблоки, груши, гранаты. И еще какие-то плоды, названия которых он не знал. Потому что не знал их вкуса. И здесь дымился кальян.

"Ох, ах!" - мягкими размеренными порывами, как из большого кузнечного меха, дул теплый ветер. "Дзинь, дзень!" - тонко звенели колокольцы в ярко-зеленой шелковой кроне. За красными деревьями на краю малахитовой, гладкой до блеска, поляны утопал в голубой нежной дымке необозримый простор, где расплывчато синели рощи, тихие реки, озера. Здесь нету снега, нету палящего солнца. Откуда-то сверху льется весенний лазурный свет. Это рай.

Курбан, вошедший во вкус, придвинул к себе кальян, сделал затяжку, другую. Снова кашель. Затем - какое-то странное, особое, напряженно-обостренное прояснение в голове. Колокольцы над нею зазвенели отчетливей, громче, и глубокий их звук переродился в звон струн незримой арфы. И струны арфы расплавились, пролились на малахит россыпью певучих капель. И будто из них, томительно звенящих капель, пред помертвевшим гостем небес возникли въявь... три нагие райские девы.

Ветер: "Ох, ах! Ох, ах!"

Бубенцы: "Дзинь, дзень!"

Повинуясь ритмичным вздохам ветра, они туманно-долго, то ли век, то ли миг, извивались над поляной, ясно отражаясь в ней, плавно взмахивая руками и делая бедрами упругие круговые движения.

Похоже, они и есть средоточие рая, весь сад эдемский - лишь их обрамление.

Обезумел Курбан. Он не знал, что делать, Зато знали они. О, они все знали, многоопытные райские девы. Хотя с виду им было лет по двенадцать, не больше. Но, может быть, и по тысяче лет. Ведь это рай. Здесь не стареют.

...Черная гурия. Пухлые губы дрожат, страстно раскрыты, округлены. Смычок притронулся к струне, извлек из нее долгий мучительный стон. Курбану казалось, он превратился в кальян, и черная дева сосет терпкий белесый дым.

...Дева янтарного цвета, похоже - тюрчанка, неслась верхом на горячем коне сквозь черную степь. И ветер всхлипывал: "Ох, ах", и колокольчик звенел на узде: "Дзинь, дзень".

Струна испустила низкий рыдающий рокот. И Курбан погрузился в жгучую красную тьму меж двух белых сугробов. Боль и безумие. И грянул гром, и полыхнула молния. И вспыхнула кровавая звезда в мозгу Курбана. Вот теперь он прозрел самую главную истину. Дикий крик разнесся под сводами райского грота, и Курбан опять потерял сознание...

Очнулся он как в тумане, хворый, слабый. Дым уже почти весь улетучился из головы. Не примерещилось ли ему все это? Нет, вот зеленая поляна, золотое дерево, лазурная даль. Он в раю.

Где же девы?

Кто-то сопит у него под ухом. На правой его руке - голова с охапкой золотых волос. Он не знает, сопят ли во сне земные девы - эта явно сопит. Хм. Ему сделалось как-то не по себе. Он побрел, потерянный, на край поляны, чтобы лучше разглядеть лазурную даль. И уперся в гладкую стену. Провел дрожащей ладонью по облакам, озерам и рощам. Так-так. Рай-то нарисован. Неужто он - самодельный? Зимнее, так сказать, помещение.

- Очнулся, милый? - В губы ему уперся чубук кальяна. И вновь - рыдающий голос струны. Не от печали рыдающий, а от истомы, от вожделения. Или от печали?...

Трах! Он в какой-то мрачной холодной нише, в драном халате своем, рваных чувяках. И нет у него на руках золотых и жемчужных запястий. Перед ним, на камне, шейх-наставник:

- Хорошо тебе было в раю, сын мой?

У Курбана помутилось в глазах. Он, впервые забыв о выдержке, вцепился зубами в руку и хрипло завыл, как пес, брошенный уехавшим хозяином.

- Не горюй! - утешил его наставник. - Ты скоро вернешься в рай. Навсегда. Очень скоро.

Курбану хорошенько объяснили, что и как он должен сделать, чтобы вновь попасть к трем сказочным девам. И предупредили напоследок:

- Помни, в любой миг над тобою око господне...

Не по себе нынче Курбану. Он опустошен. Он стал умнее. Трезвее. Повзрослел на пятнадцать лет. Ох, эта Экдес... Его уже не тянуло так сильно в рай. Райские девы, со всеми их прелестями, потускнели в его глазах. Вся их сладость забылась за новой. Его начинало томить ощущение какой-то великой неправды, подлой лжи, жертвой которой сделали его. Камень, - он возненавидел камень за десять лет, - казался сегодня почему-то желанным, добрым, родным, хоть целуй.

Он отложил тесло, сел к костру. В нем смутно пробудилась кровь его дальних предков-огнепоклонников. Огонь. Земля. Вода. Воздух, Как можно без них? Куда уйдешь от них? В раю хорошо, спору нет. Но... почему, чтобы вновь туда попасть, нужно сложить голову? И ради чего? Ради сытной еды, чистой воды, красивой девицы? Все это есть на земле.

Он потрогал шею. Все-таки лучше, когда голова у тебя на плечах.

К костру с другой стороны подсел какой-то человек, немного старше Курбана. Кто его знает, кто он. Протянув руки к пламени, человек беспечно замурлыкал короткий веселый напев.

Курбан вздрогнул. Знакомый напев! Условный знак хашишинов.

Делая вид, что греется, прикрываясь от огня, отмахиваясь от искр, сообщник закрутил руками так и сяк, то берясь за ухо, то за подбородок, то сгибая пальцы один за другим, то расправляя их. Никто со стороны не усмотрел бы в этих обычных движениях людей, сидящих у костра, ничего зазорного.

Но это был! язык. Язык жестов. Тайный язык исмаилитов.

"Почему медлишь?" - Не знаю, как попасть во дворец". - "Разве не вышел Влюбленный Паук?" - "Нет. Дворец закрыт". - "Неужто у них есть подозрение?" - Может быть". - "Староста с дочкой?" - "Они туда не вхожи". - "Думай! Наставник недоволен". Курбан, покрасневший от жара костра, сразу побелел, будто лицо ему обнесло инеем. "Хорошо, придумаю что-нибудь. Ты иди, тут не мелькай. Где ночуешь?" - "В городе, в караван-сараяе. Шевелись! Я утром приду".

Вот что значит быть феодал - обреченным. "Что делать? - размышлял наутро усталый Низам аль-Мульк. Всю ночь спалось. - Сколько лет я с ними бьюсь! Что толку? Подумайте, люди, чем должен заниматься второй человек в самой огромной в мире державе! Возиться с какими-то проходимцами. Будто у него мало других, более важных забот".

Но, увы, в государственных делах нет мелочей. Схватить Курбана (если он Курбан, а не какой-нибудь "Улыбчивый Гад",- слыхали о таких), подвергнуть пытке? Но что, если он вовсе не сектант? Визирь уже склонен верить ему. Обидеть безвинно каменотеса - смертельно обидеть Омара Хайяма. Уйдет. Характер у него самый скверный.

Или, если сектант, то не главный исполнитель, просто связной, и сам ничего толком не знает? Схватить мелкоту - спугнуть крупную дичь. Главный замрет, затаится до поры - и нанесет удар, когда не ждешь.

Но и сидеть сложа руки опасно! Визирю хотелось поторопить события. Чтобы скорее развязать замысловатый узел, отделаться от него и взяться за другие дела, серьезные, неотложные.

Что ж, если сообщник - во дворце... устроим им встречу.

- Открой ворота - и выпусти всех, кто пожелает,- сказал он начальнику стражи.- И до вечера никого не впускай. Сегодня солнечный день, у нас большая уборка. Пусть отдохнут, развлекутся, кто, где и как может. А ты, - велел он главарю своих осведомителей,- следи за всеми. Но прежде сделай так, чтобы все во дворце узнали, что я буду сегодня в Бойре.

В секте, где жизнь и смерть, земля и рай перемешались в наркотический дым, Курбан очень смутно понимал, что будет с ним, когда он выполнит задание.

Наставник сказал:

- Ты бессмертен, ибо отмечен богом. Ничего не бойся! Еретикам-суннитам будет казаться, что они схватили тебя, подвергли пытке, казнили - а ты, расставшись с этой брэнной телесной оболочкой, тотчас вернешься в рай, где уже побывал и где тебе так понравилось. И все тут! Не бойся. Иди с радостью навстречу судьбе...

И все тут? Как бы не так. Не очень-то похоже. Теперь, когда он вышел из многолетнего заточения в Орлином - вернее Стервячем, гнезде, вкусил, как говорится в писаниях, иного хлеба, испил другой воды, узрел других людей, познал земную любовь, все, что было с ним в Аламуте, начинало казаться Курбану нелепым сном.

Ветер стих. Солнце греет спину. В голых ветвях трех тополей у подножья бугра оживились птицы. Скоро весна. Хорошо. И Курбан с омерзением подумал о сообщнике, который вот-вот подойдет к нему. "Придумал?" Ничего не придумал Курбан. Что он может тут придумать? Перелезть без подручных через дворцовые стены? Чепуха. И, честно сказать, ему не хотелось ничего придумывать. Хотелось работать. Спокойно работать. Жить этой новой жизнью.

Но ведь сейчас приползет этот гнусный гад из Аламута! Может, выдать его? Нет. Сам влипнешь, как муха в тесто. Простит визирь - никогда не простит Хасан Сабах. Отвести незаметно к реке, будто для разговора, и - теслом? Хорошо бы! Но что толку? Гость, пожалуй, не один. Конечно, не один. За каждым исмаилитом всегда тянется длинный хвост. Кровавые шакалы! Плохо дело.

...Короткий веселый напев. Мимо Курбана, трудившегося над камнем, ленивым шагом человека, которому некуда спешить, прошел горожанин в добротной одежде. В Бойре каждый день толпились зеваки. Чернь искала и находила тут работу. Люди обеспеченные, прослышав о Звездном храме, отирались меж работающими, надеясь увидеть чудо. Но чуда пока что не было. Был труд - нелегкий, скучный. И они слонялись, вот так, не торопясь, заложив руки за спину, помахивая прутиком или покручивая пальцами ради собственного удовольствия.

Но этот говорил им: "Внимание! Я свой".- В Курбане он признал хашишина по особому надрезу на мочке левого уха. У него самого надрез был на нижней губе. Осведомитель визиря

видел надрез на Курбановом ухе, но не придавал ему значения,- мало ли людей со шрамами, рубцами, а то и вовсе калек ходит по дороге. Горожанин оглянулся, рассеянно скользнул глазами по бугру, по Курбану и, зевнув, двинулся дальше. Оставайся на месте. Я сяду у костра. Подойдешь. Поговорим".

Этого Курбан узнал сразу. Будь ты проклят! Глаза навькате, нос - точно крюк. Лицо мохнатое, руки, ноги кривые. "Влюбленный Паук". Ну да. Паук, влюбленный в муху. Дрянной человек. Но не смертник. Простой лазутчик. Он, помедлив, спустился по откосу и присел к костру, у которого среди прочих уже грелся - делал вид, что греется,- вчерашний, второй.

Курбан, руками - третьему, тому, что явился сейчас:

"Разве ты не получил весть обо мне?" - "Получил". - "Почему не вышел?" - "Не мог".- "Мне надо попасть к визирю".- "Не надо. Сегодня он будет здесь. Приготовься".

Курбан потерянно взглянул на тополя. От судьбы не уйдешь. Воробью - хорошо. Вспорхнул и улетел. А ты... раз уж родная мать отдала тебя в шайку преступников, преступником и подохнешь.

Он встал.

"Ты куда?" - "Точильный камень свой оставил в юрте. Пойду принесу. Тесло затупилось".- "Не мешкай".- "Успею..."

Бойре - селение нищее. Сох всю жизнь от нищеты и староста селения. Эكدес, его дочке, как и всякой девчонке, хотелось нарядных платьев, украшений. И просто хотелось есть. Потому что она никогда не наедалась досыта.

Городская старуха-сводня, по словам Эكدес, посулив ей райскую жизнь, определила к богатому старику в Исфохане. Что ж, поначалу юной красотке было хорошо. Но когда ее мать умерла, прокляв беспутную дочь, Эكدес опомнилась и вернулась к отцу, в Бойре. Теперь ей хотелось замуж, жить человеческой жизнью, служить мужу, растить детей. Но кто возьмет такую?

...В первую ночь, сразу отдавшись Курбану, она честно рассказала ему обо всем. Пусть. Курбан рад бы жениться на ней. Умна. Красива. Сладостна. Ничуть не хуже райских гурий. Оба несчастны. Может, из двух больших несчастий получилось бы одно, хоть небольшое, счастье?

Он предупреждающе кашлянул у входа, откинул дверной полог. Эكدес, на коленях у очага, лепила на широкой доске круглые пирожки с рубленным мясом, бараньим салом, луком и перцем. Всполошилась:

- Уже вернулся? Ах, не успела! Вот, мать когда-то учила. Хотела к твоему приходу...

Учила ее не мать, ей не с чем было учить дочку стряпне,- учили Эكدес на кухне богатого исфоханца, но она уже больше не смела о нем поминать.

- Я... ненадолго, за... точильным камнем,- глухо сказал Курбан, рассеянно оглядев сырые пирожки.

Испеченные в круглой печке, румяные, сочные, с блестящей корочкой, они были бы обедением.

Были бы...

Рад бы...

Получилось бы...

Ничего не будет. Не получится ничего.

Она кинулась к нему:

- Что с тобою, кто обидел? Я глаза им вырву.

- Им - не вырвешь. Вырви лучше мне.- Он взял ее за голову, склонившись, зарылся в густые блестящие волосы.- Прощай. Я должен уйти.

Встрепенулась:

- Куда?
 - Далеко. Очень... далеко.
 - Вернешься?
 - Н... нет, скорее всего.
 - А я? Как же я?!
 - Ты?- Он отстранил ее.- Сиди в юрте. За мной не ходи. Потом все узнаешь.
- Уходя, уже на тропе, он услышал ее пронзительный горестный крик:

- А точильный камень?

Курбан, не оглянувшись, махнул рукой. Какой точильный камень? К шайтану. Сердце его превратилось в шершавый точильный камень, о который с отрывистым визгом шаркает стальное лезвие обиды.

На бугре - оживление. Курбан зашепел: пожалуй, визирь уже здесь. Явился. На свою голову.

Да, визирь явился. Он больше не мог находиться в неясности. На улице - светопреставление, а ты сидишь в глухом, без окон, запертом чулане. Нестерпимо! Им нужна приманка? Хорошо. Я буду ею. Пора их выявить. Выявить - и выловить.

Курбан подобрался ближе.

Визиря заслонял от него столпившийся народ. Насупив брови, осторожно скользя холодными глазами влево и вправо, Низам аль-Мульк, в своей обычной дорогой одежде, терпеливо внимал рассказу царского звездочета о каких-то башнях и астролябиях. Сопровождаемые толпою, они ходили по бугру, что-то мерили танапами, отмечали кольями. "Звездный храм, Звездный храм..."

Нехорошо Курбану. Вот, люди думают о земном, хоть и говорят о звездах,- думают, что-то делают, что-то хотят построить. Староста поведал вчера: Омар намерен создать в Звездном храме новый календарь, при котором, если и не наступит рай на земле, то народу будет хоть какое-то послабление.

"Народу. Простому люду. Таким, как мы с тобою". Бедный старик. "Уже сейчас, еще не построенный, Звездный храм принес нам удачу. Стали досыта есть, и то великое благо". И хашишин Курбан должен все это сокрушить одним ударом своего тесла. Хотя мог бы, с его же помощью, укрепить стены Звездного храма.

И вдруг с жутью, с ледяной, как зимний ветер, ясностью, исмаилит осознал: он ничего не сможет сокрушить. Он может убить одного человека, пусть человек этот - видный и важный. Но разве с гибелью одного человека погибнут все звезды и звездочеты, звездные храмы и календари?

"Зачем я здесь, почему я здесь?"

- Почему медлишь? - прошипел ему в ухо второй.
- Я... не могу, я хворый.
- Давай!
- Не могу! Видишь, он обступлен со всех сторон. Боюсь - промахнусь.
- Шевелись! Учти, мое прозвище - Яростный Шмель. Слыхал?

Слыхал. Скорпион веры слышал о его подвигах. О них в страхе шептались на низших ступенях секты.

- Я... хворый. Боюсь...

- На, сделай пару затяжек.- Яростный Шмель сунул ему из-под полы медный горячий чубук.

Вот чего не хватало Курбану! Он жадно припал к заветной трубке и сделал не пару - три пары глубоких затяжек.

- Хватит, окосеешь. Давай!

Закончив осмотр работ и беседу со звездочетами и строителями, визирь, удовлетворенный, собрался ехать ко двору. Вот и все. Никаких исмаилитов. "С чего это стали страхи тебя доносить?" - сказал он себе с грустной усмешкой, - Стареешь, Абу-Али Хасан, - вспомнил он свое настоящее имя, давно забытое всеми за пышным титулом Низам аль-Мульк - Порядок державы. Почему ты решил; что вслед за бегством Рысбека сюда тотчас пожалует хашишин? Хасан Сабах человек злой, но не совсем же дурак. Ему лучше жить с нами в мире, получать золото и не тревожить нас".

Доволен и Курбан. Обошлось. Ничего не случилось. Пусть едет визирь. А с этими двумя паршивцами, "пауком" и "шмелем", Курбан, сын Хусейна, как-нибудь управится сам...

Визирь спустился к коновязи, где слуги уже приготовили лошадей в роскошной попоне.

Между коновязью и почтительно замершей толпой открылось свободное пространство, и Курбан, скорее бессознательно, чем с умыслом, прикинул расстояние от себя до Низама аль-Мулька.

И тут он почувствовал на себе чью-то улыбку. Эkdес? Она почему-то тоже здесь, в толпе. Но она не улыбается. Эkdес глядит на Курбана огромными от ужаса глазами. Они у нее от природы разные - серый и карий, и от этого ужас в них - невысказанно дикий. Неужели, подумал Курбан, у него от хашиша так страшно изменилось лицо?

Нет, не Эkdес. Ему улыбался... четвертый. Маленький тощий человечек с морщинистым желтым лицом. Но жилистый, крепкий. И всегда веселый. "Озорной Клоп". Тот самый, который всего несколько дней назад собирал его в путь. И, благодушно посмеиваясь, рассказывал, как он попал к хашишинам:

- Меня, знаешь, с детства держали в страхе. Хотя я и был не озорнее других, разве что малость нетерпеливее. Отец запугивал плетью, мать проклятьем, учитель тростью. Я вырос, стал землю пахать - кто только мне и чем не угрожал! Староста - стражником, стражник - темницей. Священник - адом, небо - неурочным градом. Помещик - что землю отнимет, эмир - голову снимет. Женился - жена взялась страшить: то она утопится, то она отравится. То пойдет к судье - кадию. То убежит к своей матушке. Живого места во мне не осталось! Внутри все почернело от яда, как у рыбы-маринки. Нельзя человека то и дело пугать. Однажды, со страху, я зарезал жену, перебил половину селения и укрылся в секте. На рай, загробное воздаяние мне наплевать. Я мститель. Отчаянный. Самому повелителю нашему шею могу свернуть, если обидит. Теперь я уже никого не боюсь. Сам навожу ужас на всех. Убиваю и буду убивать, кто встанет поперек дороги. Отцов, матерей, учителей. Старост, священнослужителей и прочих. Я ненавижу всех! И буду их убивать, пока живой...

Улыбаясь веселой, чуть хитрой улыбкой, он держит руку за пазухой. Курбан понимает, что это значит. Теперь - все. Все кончено.

Визирь уже сунул ногу в стремя.

Курбан отрешенно взглянул на тихую Эkdес. Жалко улыбнулся ей мертвыми губами. Яростный Шмель, отираясь позади, кого-то двинул плечом, кого-то прижал, оттолкнул и расчистил Курбану место развернуться.

- Ну?

Курбан поудобнее перехватил рукоять тесла, для уверенности встряхнул им, с удовольствием ощущая привычную тяжесть. Во имя аллаха милостивого, милосердного! Скорпион, широко развернув плечо, замахнулся... и, уже сам не зная, что делает, крикнул, прежде чем метнуть свое смертоносное орудие:

- Визирь, берегись!

...Удар пришелся не по голове, а по левому плечу, так как визирь, подхлестнутый внезапным окриком, резко распрямился в стремени. С такой силой был нанесен удар, что лезвие тесла разрубило железную кольчугу, надетую под бархатную шубу.

Зато нож Яростного Шмеля вошел Курбану в спину точно между лопатками. Второму тут же скрутили руки, но он держал на сей случай во рту некий синий шарик, который и проглотил, раскусив, во славу Хасана Сабаха. Озорной Клоп, переставший улыбаться, сделал быстрый знак Влюбленному Пауку: "Ни звука! Оставайся на месте".

Визиря, облившегося кровью, унесли в шатер.

Курбан, точно пьяный слепец, качаясь и беспомощно ощупывая пустоту перед собою, медленно побрел сквозь расступившуюся толпу. Его никто не трогал. Зачем? Он брел, шатаясь, захлебываясь кровью и сплевывая ее, к вершине бугра. Поближе к небу. К раю.

Он бросил Экдес, земную женщину. Он обманул Экдес, не оставшись с нею. А мог бы! Стоило только открыться визирю. Э! А Хасан Сабах? Поздно теперь о чем-то жалеть. Раз уж ты обречен, то обречен. Он сделал свое дело. У него в запасе - рай. Сейчас... сей миг он вознесется в голубую, сверкающую долину с золотыми деревьями. Сейчас...

Холодно. Жутко. Где же рай? Где райские девы с их горячими объятиями? Красная муть в глазах. Он рухнул, споткнувшись, на камень, что обтесал в первый день. Нет рая. Нет гурий. Только боль, дурнота. Смерть.

Кровь обрызгала белый камень.

Экдес, присев подле трупа, пугливо оглянулась на безмолвную толпу и, как бы желая загладить вину Курбана, запачкавшего такой красивый белый камень, стянула с головы чадру и принялась вытирать ею кровь. Но только еще больше размазала ее.

- Такого мастера... такого мастера загубили...- Омар, сцепив руки, заломил их над ними, над Курбаном с Экдес, ударил себя по склоненной голове.- О боже! Где я живу, с кем живу - и зачем?

Омару уже 27.

Пифагора сожгли на костре за неверие 1575, Абдаллаха аль-Мукафу - 316 лет назад.

Джордано Бруно сожгут в Риме через 525 лет.

Знаменитый поэт Хагани просидит в тюрьме 14 лет;

Роджер Бэкон - 14;

Томазо Кампанелла - 27.

Узбекский поэт Турды умрет в нищете и одиночестве через 625.

В Аламуте как будто все по-старому. Юнцы угрюмо тешут камень. Сонно чешут живот и спину, сучая в эмпиреях без дела, нечесанные и немывтые, с пахучими ртами, райские девы. Но это лишь как будто.

- Как это так? - Взбешенный Сабах схватил за тонкую шейку кальян, из которого перед тем глотнул изрядный клуб приторного дыма. Казалось: кальян сейчас упадет, искореженный, скрученный в жгут. Но в своей-то руке у Сабаха - жалкая слабость.- Плохо! Не можем всецело овладеть их душами. Десять лет натаскивали стервеца, и всего за каких-то несколько дней он вдруг пошатнулся в единственно истинной вере?

- Кто знал, что он с червоточиной? - пожал изрубленными плечами Змей Благочестия.

- В них всех сидит от рождения проклятый мужицкий дух. Травить! Глушить! С первых дней приучать к хашишу.

- Тогда и вовсе не будет проку.

- Э! Раз в жизни смогут нанести удар. На что они больше нужны?

- Но...

- Но к женщинам - еще строже не допускать. Жирно кормить. Чтоб бесновались, как скоты в течку. Сатанели, мечтая о райских девах. Чтоб у них не заводилось мыслей, опасных для нас. Нам не нужны задумчивые. Учти это, когда будешь готовить к делу новых людей.

- Учту. Но у нас в запасе - Влюбленный Паук. Визирь, по всему видать, не умрет. Повторим попытку?

- Зачем? Предупреждение сделано. Будем теперь пожинать плоды. Мы потеряли двоих,- я за них с Меликшаха два каравана золота взыщу. Бедный Яростный Шмель! Он-то зачем раскрыл себя?

- Озорной Клоп говорит: Скорпион был настолько ослаблен, что не убей его Шмель, юнец бы не выдержал пыток и выдал султану все наши тайны.

- Хвала Яростному! Он до конца остался мне верен. Дай бог ему и впрямь проснуться в раю.

- Есть еще Сухой Чертополох с его распрекрасной дочерью...

- Молчи о них! Забудь!

- Забыл.

- Звездочет?

- Неподкупен. Он - блаженный.

- Все равно оплетем.

- А этот, который... бей Рысбек. С ним что делать?

- Он здесь не нужен.

- Ест и спит, спит и ест. Женщин ему поставляй. "Райские девы" плачут от него. Прогнать? С ним уйдут его люди.

- Его люди - нужны. Хорошие добытчики скота.

- Как же их отделить? Не может человек умереть в гостях у Хасана Сабаха! Мусульмане ездить к нам перестанут.

- В гостях не может. Но может, выбравшись с горсткой самых верных людей на прогулку, попасть в засаду к султановой шайке.

- На прогулку?! Хе. Его с боку на бок еле перевернешь.

- Пусть присмотрит себе в икту одно из окрестных селений.

- О! Тут он сразу встанет. Но султанова шайка... откуда ей знать, когда и где он проедет?

- Разве нет у султана в наших краях... доброжелателей?

- Найдутся, пожалуй.

- Должны найтись.

Через десять дней бей Рысбек, катавшийся в легкой повозке, попал в засаду и был убит в короткой стычке. Его тяжелую голову увезли в Исфахан. Так Рысбек, недовольный всеми на свете, получил в бессрочную икту не какую-то захудалую мастерскую, а весь рай небесный с его вечностью, обильной едой, чистой водой, золотыми деревьями и нагими гуриями в придачу.

Омар, лечивший визиря, делал ему перевязку, когда проведать страдальца пожаловал сам Меликшах.

- Ну что, будет жить? - спросил царь напролом, не стесняясь ясных визиревых глаз,- Низам аль-Мульк, хоть и морщился, терпеливо и даже усмешливо сносил боль.

- Милостив бог,- смиренно ответил Омар, не отрываясь от дела.- Горячка проходит. Его светлость проживет много лет.

- Не останется сухоруким? Кость-то перебита.

- Мощь воина - в правой, не в левой, руке, - поспешил Омар сгладить неловкость.

Они, звездочет и царь, еще не встречались так близко,- лишь на пышных приемах, пирах, среди множества разных людей. Только теперь Омар сумел разглядеть его как следует.

Молод султан. Лет двадцать ему или чуть больше. Смуглый, носатый, глазастый, он похож на кого угодно - араба, перса, армянина, но никак не на тюрка. Тюрки огузской ветви, из которой туркмены, еще на Сейхуне сильно смешались с древним оседлым населением.

Это очень интересно (Омар наблюдал в Бухаре) - смешение народов двух рас, узкоглазых тюрков с таджиками и персами, близко родственными между собой. Оно происходило двумя путями: прямо через здешних женщин, и косвенно, посредством неизбежного перехода местных жителей на язык многочисленных завоевателей.

Тюрки издревле, с гуннских времен, проникали из Сибири в западные страны, оседали у рек и морей. Те, что ушли за Волгу, слились с окрестными светлыми народами и, большей частью, выцвели сами, почти утратив степной облик. В Туране, в Иране от них тоже рождался новый народ, на редкость красивый - что было особенно ярко видно у женщин.

Но, перенимая у коренных жителей полезные навыки земледелия, грамоту, даже напевы и танцевальные ритмы, пришельцы с востока, вместе с тем, к сожалению, теряли кочевую бесшабашную щедрость, широту души, веселую беспечность и приобретали расчетливость и бережливость, переходящую часто в черствость, скупость, досадную мелочность. Сохраняя, однако, как в данном случае, степную неотесанность.

- Меч державы - царь! - строго заметил султан.- Визирь ее щит. А щит надлежит держать в левой руке.

- Да, конечно,- согласно кивнул Омар, заканчивая свою работу.- Кто спорит? Была бы только голова над ними, и над левой рукой, и над правой.

- Голова над ними - аллах! - И, не найдя, что к этому добавить, царь нетерпеливым движением выставил Омара за дверь.- Хорошо лечит?

- Хорошо,- тихо ответил визирь.- Чем встревожено ваше величество?

Меликшах, беспокожно расхаживавший перед его ложем, встрепенулся:

- Как чем? Разве не видишь, что творится у нас? На себе испытал. Я подыму все войско, осажу Аламут - и кожу сдеру с проклятого Сабаха! Неужто мы не разнесем его убогую крепость? Не такие брали твердыни. У него и войск-то путных нет.

- Не надо! - скривился визирь.- Мощь Сабаха не в жалкой твердыне его и не в ничтожном его войске. Она в ином, как мы знаем. Уж теперь-то хашишины не станут остерегать: "берегись", прежде, чем кинуть в меня или в тебя, сын мой любезный, тесло или нож, метнуть стрелу, подсыпать яду. Остерегли уже. Не забывай: кто-то из них - у нас во дворце. Кто, нам не удалось узнать. И, может, мы так и не узнаем, кто. Пока он не убьет кого-нибудь из нас. Но, пожалуй, и тогда не узнаем. Сей не станет себя раскрывать, все сделает тайно. Ах, если б узнать!.. Конечно, это один из конюших, сокольничих, постельничих, чашников, псарей, стремянных и множества прочих дармоедов. Всю эту ораву надо исподволь сменить. Брать проверенных, верных, таких, как твой сородич Ораз.

Так что,- устало вздохнул визирь,- будем пока жить с Аламутом в мире. Платить щедрую дань. До лучших времен.

- Я бы их всех!.. - Султан укусил себя за стиснутый кулак. И уже чуть спокойнее: - Явились святые отцы из Нишапура, от шейх уль-ислама, главного наставника в делах веры. Может, мы зря,- султан нерешительно остановился перед визирем,- затеяли эту... обсерваторию? Богословы в обиде на нас: "Сколько средств государь тратит на никчемный Звездный храм. А медресе, мечети, ханаки прозябают в горькой нужде..."

- Знаем мы их нужду! Доводилось бывать в ханаках. Звездочеты нужны государству не меньше, чем богословы. Если не больше. Но будь по-ихнему: я построю для них медресе. Лучшее в мире. Вот поднимусь и построю за свой счет в Багдаде.

- Почему в Багдаде, а не здесь?

- Учение пророка пришло к нам оттуда,- пусть богословы там и славят его в своих молитвах и писаниях. И заодно приглядывают за халифом, который не очень-то жалуется нас с тобою, а?

Султан, смеясь, покачал головой:

- Хитер же ты, отче!

- Я визирь.

- Лучший в мире! - с чувством воскликнул султан, довольный тем, что у него есть теперь что сказать назойливым ревнителям веры.- Медресе мы назовем в твою честь - "Низамие". Согласен?

- Сойдет.

Меликшах с легким смущением:

- Я потому о Звездном храме... что о звездочете нашем... слухи дурные.

- Дурные слухи? - удивился визирь.- Какие, например?

- Заносчив, неучтив. Груб, резок, дерзок. На язык невоздержан.

- Великий Абу-Рейхан, при всей своей высокой учености, тоже был до крайности запальчив. Все можно простить человеку: дерзость, строптивость, насмешливость, лень и даже распущенность, если он умен. Но только - не глупость! Ибо те пороки - суть человеческие, а глупость - качество скотское. И невежество. Человек, который, проучившись сколько-то лет в медресе, путает Иран с Ираком, Сейхун с Джейхуном, для меня перестает существовать. Омар заносчив? Он человек приветливый, скромный и добрый. Просто он ненавидит глупость. Но, жаль, не умеет это скрывать.

- Пусть научится! Иначе... ему будет худо. Не в том беда, что умен. Умен? Хорошо. Пусть будет умен. Но в пределах нашей веры. И не больше. Пусть обращает свой ум не во вред нам, а в пользу.

- Ум, государь, не терпит ограничений. Потому он и ум, что не знает пределов. И разве главное достоинство поэта - не талант и разум, а покорность? Вот баран - он покорен, но поэтом никогда не станет.

- Он безбожник!

- Тоже нет. Но понимает бога по-своему.

- Мне передали несколько его четверостиший. В них слишком много вопросов: "Почему, и к чему, и зачем?" Вопрошает людей, вопрошает царей и даже - небо! По какому праву?

- По праву... одаренного человека.

- Что, у одаренных есть такое право - бога вопрошать?

- Есть. Разве они одарены не самим же всевышним? Бог создает одаренных для того, чтобы ему было с кем беседовать на земле.

- Хм. Верно! - Султан покраснел.

- Омар - человек с трезвым, холодным, как лед, умом, но кипящей пьяной кровью. И все его недостатки, столь неудобные для нас, есть обостренное до крайности продолжение его же

достоинств. Разумеешь? У людей одаренных это часто бывает, но никто не хочет - или не может - их понять.

- Все же... скажи ему, чтобы он... поменьше, полегче... не все способны увидеть то, что видим... мы с тобою вдвоем. Кстати, у них, в Нишапуре, объявился еще один одаренный. Твой земляк. Из Туса.

- Тус - город счастливый,- улыбнулся визирь.- Ему везет на одаренных.

- Его зовут... А-а... Абу-Хамид Мохамед Газали. Кажется, так. Точно не помню. Еще ничем не проявил себя сей одаренный. Шейх уль-ислам в письме советует выслушать юношу - и пристроить к делу, если мы найдем это возможным.

- Хорошо. Пусть явится ко мне. Совет шейх уль-ислама для нас уже закон. А слухи дурные... их распускали даже о пророке! Царю не пристало внимать пустым разговорам.

- Абдаллах Бурхани...

- Знаю. Вот еще одно светило в небесах персидского стихосложения... Слов в стихах Бурхани куда как много! Но это - досужее нагромождение слов. Ни ума, ни души в них нет. Много слов, мало смыслу. Говорю, пустозвон. Кстати, где он, почему я его не вижу!

- Хворает.

- Пусть обратится к Омару. Может, Омар угодит ему, вылечив от всех болезней. Что касается слухов... царю надлежит карать злопыхателей, разносящих сплетни о его достойных слугах. Он должен быть рад, что у него в стране много умных, одаренных людей.

- Я и рад, благодетель! Выздоровливай скорее. Я без тебя как без рук - и без левой, и без правой...

- Поговори с этим Газали,- приказал визирь звездочету.- Посмотри, к чему его лучше приспособить. Может, он пригодится тебе в Звездном храме?

Сердце дрогнуло у Омара, когда он увидел Газали. Он увидел - себя! Таким, каким он был в семнадцать. Вернее, почти таким. Тоже сух, лобаст, узколиц. Но Омар в семнадцать был полнокровен, был выше, крепче, шире в плечах. Щеки его отливали здоровым румянцем. А этот - худой, болезненно-бледный, хилый.

Лишь некое подобие Хайяма, вдвое меньше и бесцветнее. Но в черных глазах,- черных, а не зеленых, как у Омара,- та же опасная бездна холодного ума.

- Ну, рассказывай, кто ты есть, что ты есть. Газали, будто прижатый к стене, сверкнул глазами исподлобья:

- Я хочу познать природу вещей! "Ишь, какой прыткий".

- Весьма похвальное желание. А зачем?

- Чтобы выявить истину, отличить ее от заблуждений и опровергнуть эти заблуждения.

- С какой целью?

Газали взглянул на него с удивлением:

- Как с какой? С единственной целью, достойной правоверного: обратить ложь в прах и утвердить во всей славе имя господне! Разве ты не с той же целью изучаешь звезды?

"А-а. Вот оно что. Теперь я вижу, кто ты такой".

В глубоких глазах Абу-Хамида, сквозь пропасть ясного разума, всплыло, как у сумасшедшего, нечто темное и грозное.

"Это изувер",- похолодел Омар.

- И что тебе нужно для этого здесь, в Исфохане? - спросил звездочет осторожно.

- Я хочу постичь науку о звездах,- ответил Абу-Хамид уверенно. И - доверительно, как единомышленнику:- Ведь, чтобы лучше судить о пороках той или иной науки, нужно знать ее, не правда ли? Так знать, что можешь спорить с известными знатоками. И, превзойдя их в знаниях, доказать, что их знания - ложь.

"Э, братец! Да ты негодай! Лазутчик мракобесия в стане наук. Тоже, на свой лад, хашишин".

- Ты говоришь о пороках наук, об их лживости,- терпеливо заметил Омар.- Разве в них одни пороки и нет никаких достоинств?

- Всякая наука уже сама по себе порок.

- Это почему же?

- На ней клеймо безбожия. Ибо она - от разума. А бог - это дух.

"Этот опасней всех шейх уль-исламов, вместе взятых! Потому что неглуп, собачий хвост. Но бес его знает, какие пороки могут примерещиться его воспаленному мозгу,- кто из тупых его почитателей в них разберется, если он раструбит об этих мнимых пороках на весь мусульманский мир? Вредитель".

Омара уже подмывало дать юнцу по шее, схватить его за шиворот и, поддев коленом, выкинуть за дверь. Но, памятуя о своем месте во дворце, о великих замыслах своих, он решил до конца, хоть умри, держаться в пределах приличия.

- Иначе говоря,- хрипло произнес Омар осевшим голосом,- ты явился ко мне, чтобы научиться кое-чему и затем облить грязью вместе со звездами!

Газали еще больше побелел (куда еще белеть?), сник под его свирепым взглядом и промолчал. Ему, пожалуй, было даже невдомек, отчего сердится придворный звездочет. Похоже, он хотел найти в Омаре Хайяме соратника по яркой борьбе с вольномыслием...

- Звезды - они далеко, друг мой,- вздохнул Омар печально.- Так далеко, что трудно даже представить. До них не долетит земная грязь. А я... я уже и так весь обляпан тебе подобными. Отмоюсь. Оставайся. Учись, Вдруг там, где ты тщишься сыскать щебень пороков, набредешь на алмаз истины? Подлинной истины. Не заумной.

"Ведь не дурак! Ум у него пытливым. И это главное. Побудет среди нас, может, просветлеет? Сколько умных людей губит свой ясный разум лишь потому, что не находит в нужный срок, где его применить, кроме как в бреду богословия, которое всегда под рукой и одобряется властью.

Или он просто хвор? Ученый, поэт в наш век - это драчун, воитель, он должен иметь здоровое тело и крепкую голову. Хвор? Ничего. Чистый ветер Бойре выдует из него мистическую блажь".

- Ступай. Я завтра поведу тебя туда, где мы возводим Звездный храм.

- Хорошо. Но знай: я тверд в моей вере. Ну, что ж. Каменная твердость в убеждениях - первый признак их несостоятельности. Ибо нет правды без противоречий. Так иной человек упорно верит в чудотворно-великую очистительную силу воды и не знает, бедный, что именно вода и есть рассадник самых страшных болезней.

- Добро. Ступай.

Понятно теперь, почему за него хлопочет шейх уль-ислам. Богословы, конечно, в неистовом восторге от юнца. Вот как все относительно в мире! Люди не могут, не распустив слюней, говорить, например, о фламинго. А ведь, по существу, это совершенно безобразная птица - с невероятно тонкими и длинными ногами, с уродливо тонкой и длинной шеей и нелепым клювом. Куда краше наш обычный воробей. У него все ладно; все на месте. Все соразмерно. И оперение красивое, узорное. Только приглядишься.

"Эх! Попадись ты мне лет восемь назад..."

И все же Омар доволен. Не Газали - собою. Что сумел себя превозмочь, не расправился тут же, на месте, с этой бледной немочью. Трудно далось! Внутри камни друг о друга скрежетали...

Уже потом, через много лет, он горько пожалеет, что не оторвал ему голову. Но кто бы мог подумать, что сей заморыш своим гнусным сочинением "Опровержение философов" нанесет почти смертельный удар остаткам древней восточной учености?

После затяжной, сухой и холодной весны сразу, как здесь нередко случается, загорелись знойные дни. Не было нынче долгожданной весенней свежести. Потому что не было дождей. По селениям ошеломляюще, как слух о войне, пронеслось:

"Засуха... воды нет... засуха".

Крестьяне с утроенным рвением чинили, чистили подземные каналы - кяризы, по которым грунтовые воды текут из предгорий в долину. Но если всю зиму нет снега, весной нет дождей, земля остается сухой, а небо - пустым, то откуда же взяться воде под землей?

- О боже, что будет с нами? - вздыхали селяне. Во дворце это никого не тревожило. Главное - золото, железо. И богословие, разумеется. А поесть что-нибудь они всегда себе найдут.

Во дворце затевается пир по случаю обрезания малолетнего царевича Баркьярука.

- Знаешь,- смущенно сказал Меликшах визирю, который уже ходил.- Будет сам шейх уль-ислам. Нельзя ли сделать так, чтобы он... не столкнулся на пиру... с нашим звездочетом? Омар... нрав у него... сам знаешь, какой. Выпьет чашу вина и брякнет одно из своих злых безбожных четверостиший. Нехорошо.

- И без вина может брякнуть.

- Ты бы сказал ему, только так, чтобы он не обиделся... после втроем посидим, сотворим холостяцкую пирушку...

- Шейх уль-ислам? - Омар, стиснув зубы, опустил голову.- Ведь это бывший главный шейх-наставник медресе? Знаю его. И он меня знает. Жив еще людоед? Это головорез! Он устроил избиение ученых в Нишапуре. Нет, если б меня даже позвал сам. султан, я не пошел бы на пир, где будет тарашить глаза старый стервятник. Не то, что есть и пить с одной скатерти - одним воздухом с ним не смогу дышать! Пусть Газали, любимчик шейх уль-ислама, в его обществе пирует. Хотя куда ему, бедолаге? Ест за троих, спит за четверых и все равно чуть живой. Никак не растолстеет. Только и остается, что мусолить вопросы богословия. Мир вам! Счастливо пировать.

Он уехал в Бойре. Знойно. Небо утратило яркую синеву, точно выцвело, по краям - совсем белесое. Как будто на дворе уже месяц Льва (июль - август). Хотя солнце совсем недавно вышло из созвездия Тельца. Телец, Телец... Один - наверху, второй, бык-телец, внизу - подпирающий, по мусульманскому поверью, плоскую матушку землю.

Один Телец среди звезд сверкает в небесах,

Другой хребтом поддерживает прах,

А между ними,- только поглядите! -

Какое множество ослов пасет аллах... Дуракам, конечно, трудно с умными. Но - эх! - если б знали они, как трудно умному среди дураков. Доказывать им, что дураки, драться с ними? Их много, забьют. Остается только жалко усмехаться, когда они бьют, полагая, что это - тебе же на пользу.

Но... может быть, ты слишком придиричив? Может, глупость и есть норма, обычное человеческое состояние? А разум - болезнь, отклонение? Кто-то сказал: если власть возьмут горбатые, они перебьют всех прямых, объявив их калеками.

Не потому обиделся Омар, что ему не придется отведать тонких вин и редких яств. А потому, что в его лице оскорбили науку. Всякий святоша, от которого стране никакой

совершенно пользы, бездарный поэт, шут-кривляка будет зван на богатый пир, даже рабы урвут свое, а для ученого, видишь, места у них не нашлось.

Ну, погодите. Придет когда-нибудь время, когда ханы, султаны уже не смогут без нас обойтись, будут бегать за нами, учеными, искать нас, просить, иначе сгинут без нас. Или их уже и не будет тогда, всех этих вождей, султанов и ханов?

Сухо было весной, не сухо - природа все же преобразилась. Три зеленых минарета возвышаются у Бойре тройка мощных тополей. Нет краше дерева, чем тополь. Омар долго сидел на горячем камне, вскинув голову. Струющийся на теплом ветру серебристо-зеленый шелк листы. Там, наверху... сколько тайн там, наверху.

Тополь - это особый мир со своим птичьим населением, со своими преданиями. Крылатые вестники, облетев сады и поля, спешат к нему отовсюду и, щебеча, рассказывают сказки об уютном сумраке под лопухами, о чутких ежах в кустах ежевики, о запахе мяты, об одуряющем запахе, который источает рейхан, прогретый солнцем. У подножья - цикады, трава-мурава, муравьи, выюнки бледно-розовые. Хочется влезть на тополь, укрыться в нем - и никогда не слезать.

Спокойный и мудрый, он тихо беседует с богом мягким шелестом листьев - далеко-далеко в голубой высоте, не доступной ни чертополоху, ни даже прекрасной розе. При всей ее красоте. Налетит ураган: как мечется, как упруго гнется тополь, как стонет, ропща на судьбу возмущенным шумом кроны, чуть не ложится на землю и - выпрямляется, не ломаясь. Четкий и ладный, в хризопразовом наряде, он весь, копьевидным стволом и ветвями, устремлен ввысь, к небу, к солнцу и звездам. Но корни-то у него в земле, крепкие корни, он питается земными соками...

Какой же нынче день?

Омар подозвал главу Бойре, старика Хушанга, спросил. И тот назвал... его день рождения. Э! Омар подтянул подпругу у лошади, собираясь отбыть.

- Куда, ваша милость? - поразился Хушанг.- А как же... работа?

- Я, наверно... поеду сейчас в Нишапур. Что-то грустно, отче.

- Эх! Если вам, большому человеку, тягостно жить на свете, то что же сказать о нас, несчастных? Дочь моя, Экдес,- старик отер слезу,- плохо с нею.

- Что такое?

- После того... захворала.- Старик стукнул себя двумя пальцами по виску.- Никого не хочет видеть, ни с кем не хочет разговаривать. Забилась в юрте за полог целый день молчит. Правда, поет иногда, но лучше б не пела: сердце рвется на части от таких ее песен.- И, в слезах, Омару: - Посмотрели б вы ее, а, ваша милость? Ведь вы, я слышал, не только звездочет, но и лекарь хороший. Визиря за месяц поставили на ноги. Посмотрите, а? Может, лекарство какое дадите. Может, ей полегчает, а?..

- Что ж, пойдем. Посмотрю.

- Нет уж, сударь! Идите сами. При мне она вовсе дуреет. Возненавидела. А за что? Я-то чем виноват? Утром нож в меня метнула. Идите сами, юрту нашу знаете.

...Кружась между юртами, откуда-то прилетел и ужалил Омара в сердце чей-то печальный зов. Он замер у входа, как никогда расположенный нынче к тоске и жалости. И понял: зов доносится из кибитки. Казалось, ребенок, оставленный матерью, устав кричать и плакать, тихо, икая и всхлипывая, продолжает тоненьким голосом скулить, изливать обиду.

Это поет Экдес. Кашлянув, он откинул входную завесу. Пение сразу прекратилось. Ему почудился легкий приторный запах. Будто здесь курили хашиш. Принюхался - нет, показалось. Если и курили, то давно.

За пологом - судорожный вздох.

- Эkdес...

Ни звука. Он отвернул полог. Она скорчилась у старого облезлого сундука, натянув на лицо чадру в чернобурых пятнах. Ту самую. Которой вытирала окровавленный камень.

- Эkdес...

- Уйди, проклятый! - глухо крикнула она из-под чадры.

- Это я, Омар.

- Омар?! - Она вскочила, сбросила чадру, кинулась ему на шею.- Омар, милый... тебя еще не убили?

- Кто и за что? - Он отер ладонью слезы с ее бледной худой щеки.- Почему меня должны убить?

- А как же! Обычай у них - убивать всех хороших.

- Ну, не такой уж я хороший, чтобы стоило меня убить,- усмехнулся Омар, продолжая гладить ее по щеке, плечу, по голове.- Ты почему плачешь?

- Ты хороший! Ты лучше всех. Пожалей меня, Омар. Пожалей...- Ей лет пятнадцать. Она схватила его ладонь, жадно прижала к себе. У него помутилось в глазах, он сделал шаг назад - убежать.

- Уйти хочешь? - зашипела она со змеиной яростью.- Даже ты, умный и добрый, не хочешь меня понять. Да, конечно, ты добрый. Тебе совестно воспользоваться моей слабостью? Не бойся. Я не сумасшедшая. Они сами все сумасшедшие. Весь этот темный мир. Рождаются сумасшедшими, живут сумасшедшими и умирают, так и не узнав, что весь век свой перебивались в бреду. Нет уж, милый, просто так я тебя не отпущу! - Она засмеялась, глухо и загадочно, со светлой радостью вожделения, сверкая разными глазами, обольщающе и обещающе, с великой правотой своего назначения.- Пожалей меня! Пожалей.

Ну, пожалел он ее. Она - его. Пьяный от любви, как от вина, он вышел из юрты, враждебно взглянул на город. Веселитесь? Что ж, веселитесь.

Обидно! Если уже сейчас, в двадцать семь, его бояться позвать на пир, чтобы он не испортил им удовольствие, то что же будет дальше? Заклеймили. И черт с ними! У него нынче тоже праздник. Праздник Эkdес. Давно такого не случалось. Он думал еще вчера: "Лучше Ферузэ не было и не будет,- лучше Ферузэ и Рейхан. Все остальные - совсем не то. Так себе". Но, оказалось, бог припас и для него утешение.

Омар усмехнулся, довольный, покачал головой. Он вернулся в юрту. Эkdес, успев ополоснуться, на корточках, сосредоточенно разжигала очаг. В такую жару?

- С этим кончено.- Скомкав чадру в сухих кровавых пятнах, девушка сунула ее в огонь не поднимая глаз, но всем своим доверительно-покорным, принадлежностным видом щемяще-беззащитно выражая верность, любовь - и жаркую готовность.

Он хотел оставить ей денег. У нее дрогнули губы. Все так же, не поднимая разноцветных загадочных глаз, она прошептала с болью:

- Не... обижай. У нас - любовь за любовь. Омар наклонился, поцеловал ее в мочку уха с небольшим, почти незаметным надрезом и ушел без слов, пристыженный. Наверное, она была бы хорошей женой.

- Почему бы тебе... не жениться, а? - сказал с хитрецей Меликшах.

Втроем: царь, визирь и звездочет, они укрылись в одной из дальних комнат дворца и похмелялись после вчерашних возлияний.

Им прислуживал мальчуган лет десяти, из детей эмиров, очень хорошо прислуживал. Умело, сноровисто. Видать, не первый раз приходилось ему угождать сильным мира сего. Что и отметил вслух Омар.

Султан - снисходительно:

- Происхождение! Цыпленок, вылупившийся из яйца, сразу клюет зерно.

- Всякий великий вдохновлен! - кисло восхитился Омар его словами. И, уже горько, подумал: "Может, и впрямь у них, высокородных, это в крови - угождать, блюдолизничать?" - Что касается женитьбы... зачем это мне?

- Как зачем? Чтоб испытать счастье супружества, семейной жизни. От холостяцкой неприкаянности все твои сумасбродства.

"Какие, например? - хотел спросить Омар.- Чем это я никак не могу вам всем угодить? Не такой, как вы? А вы-то сами такие, как надо?"

Но не спросил. И без того ясно.

- Обзаведешься детьми,- поучал Меликшах,- остепенишься.

"За дурачка-мальчишку, что ли, он принимает меня?" - потемнел Омар. И сказал угрюмо:

- Что-то я не вижу счастливых семей.

- Ну! Я, к примеру, счастлив со своими женами. Особенно - кхм - с божественной Туркан-Хатун.

- В самой с виду благополучной семье таится хворь былых или будущих разногласий.

- Ого! - Меликшах похолодел. "Неужели Туркан-Хатун бесплодна? Почему до сих пор не тяжелеет? Не хочет?"

- Я математик, государь. Дважды два - четыре, не больше и не меньше. А у женщины: утром дважды два - три с половиной, днем - четыре с четвертью, к вечеру - пять, ночью - семь. И ничем ей не доказать, что это не так.

"Если я и женюсь, то только на Экдес. Эта хоть знает свое место и назначение".

- Ох, эти поэты, ученые! Мы найдем тебе невесту, воспитанную в строгих правилах. Послушную. Скромную. Дочь эмира, шейха или даже одну из младших царевен.- Султану, видать, очень хотелось привязать Омара душистой женской косой к своей колеснице.

- Еще хуже! Породнившись с людьми знатными, я буду обязан вести их образ жизни. Содержать богатый дом. Ораву слуг. Лошадей. Каждый день принимать гостей, самому ездить в гости. Пить, объедаться. Вот уж тогда - прощай, математика, не загорайтесь, звезды! И сверх того помогать любезному тестю во всех его плутнях?

- Зато и он будет тебе прочной опорой.

- Пока не попадет в опалу? Слетит и меня за собой увлечет.

- Э, как ты дрожишь за свою голову!

- Не за голову! А за то, что в ней есть. Это не только мое достояние. Я и хочу сохранить его для всех. Оттого, пожалуй, и терплю, молчу, когда надо мною издеваются. А то бы... при моей-то отваге...

- Хитер! - приснул царь.- Вполне можешь быть придворным. Причем великолепным. Лукавства у тебя, я вижу, хватает.

- О государь! - вздохнул ученый с горечью.- Поэт, настоящий поэт и ученый, в качестве придворного - такая же нелепость, как ручной медведь. Который, будучи способен одним ударом вдрызг сокрушить укротителя, все же пляшет, как скоморох, кривляется, изображая разных лиц на потеху сбежавшейся толпе. Жалкое зрелище! Это противно его естеству и потому - отвратительно. При доме хорошо домашнему животному: козе, барану, ослу. Дикий же зверь... ему бы жить - и пусть он живет - в пустыне, в лесу и в горах.

Султан - озадаченно:

- А-а! Хм...- И выжидательно взглянул на визиря.

- Жена - что попугай,- важно, однако не совсем уже к месту, изрек великий визирь.- Друг, пока в клетке. Открой клетку, оставь - больше ее не увидишь.

А думал он свое:

"Хворь былых и будущих разногласий? Наш чудакезвездочет... куда острее и дальновиднее, чем мы полагаем. Эта Туркан-Хатун - надо к ней присмотреться, к чужачке".

...На вершине бугра в Бойре взлетает к небу косою белой парус солнечных часов. Подойдя к обширной площадке циферблата, выложенного из светлых и темных мраморных плит и долек, увидишь, что на нем обозначены не только часы и минуты, но и секунды. Ниже по склону - круглая главная башня обсерватории, и к ней от подножья взметнулся большой секстант Звездного храма.

Строители - греки, персы, армяне, китайцы, арабы, которых Низам аль-Мульк и Омар Хайям собрали со всей сельджукской державы, от Кашгара до Палестины,- возвели поистине великолепное, как по отделке (четкость линий, изразцы, орнамент), так и по точности, измерительное приспособление.

Многие сооружения оставались еще незаконченными, или к ним даже пока не приступали. Но Омар, дописав геометрический трактат, вместе с Исфазари, Васити и другими, пользуясь тем, что уже есть в Звездном храме, а также ручными инструментами Абу-Рейхана Беруни, теперь, уже который год, корпел над астрономическими таблицами и новым календарем. Было установлено:

лунный год состоит из 12 оборотов Луны вокруг Земли, и равен 354 суткам 8 часам 48 минутам 36 секундам;

солнечный год - один оборот Земли вокруг Солнца - равен 365 суткам 5 часам 48 минутам 46 секундам.

Разница между ними - примерно 10 дней, так что на 100 солнечных лет приходится 103 лунных года. В нихто, в этих десяти недостающих днях с часами, и заключается главный изъян чисто лунного арабского календаря. Он слишком укорочен.

Не лучше и юлианский календарь, которым пользуются в Европе. Он слишком удлинен. По христианскому календарю год длится 365 дней 6 часов - на 11 минут 14 секунд дольше, чем один оборот Земли вокруг Солнца. Из ежегодных мелких погрешностей за 128 лет набегает лишние сутки.

Куда их девать? Церковники против изменений в календаре, утвержденном еще Юлием Цезарем 1125 лет назад. Ведь известно, что самые тупые люди на земле - богослужители.

Омар вернул год к Наврузу, празднику весеннего равноденствия - 21марта, когда Солнце в полдень вступает в созвездие Овна.

Здесь, в Звездном храме, Омар доложил визирю:

- Мы предлагаем календарь с 33-летним промежутком времени, из которых 25 будут иметь 365 суток каждый и 8 по 366 суток, что означает продолжительность года в 365 суток 5 часов 49 минут 5,45 секунды. Високосными годами должны быть четвертый, восьмой, двенадцатый, шестнадцатый, двадцатый, двадцать четвертый, двадцать восьмой и тридцать второй. Ошибка всего в один день наберется теперь за пять тысяч лет. Для повседневной.человеческой деятельности, ваша светлость, один день в пять тысяч лет не имеет значения.

Простой календарь, ваша светлость, стройный, очень удобный. Конечно, над ним стоит еще подумать. И мы подумаем о високосах, внесем со временем в них уточнения.

Но народ, ваша светлость не может ждать. Ему надо пахать и сеять, снимать урожай. Надо жить. Пусть великий визирь напишет указ о новом календаре. Назовем его "Летосчислением малики или джелали" в честь нашего славного султана. Он будет доволен. Через десять дней как раз наступает солнечный новый год, праздник весеннего равноденствия. Удобно сразу ввести новый календарь.

- Э! - уныло скривился визирь.- Минуты, секунды. Что могут решить на земле какие-то дохлые секунды?

- Как? Из них, секунд, слагаются часы и сутки. Годы, Века, тысячелетия. Вечность, сударь, состоит из секунд.

- Указ, конечно, нетрудно написать. Однако...

- Что значит - однако? Нужно! Вы же сами затеяли это дело. Для чего же тогда мы старались?

- Вот именно: для чего?- вздохнул визирь.- Изменить календарь - это мы можем. Но ни секунды, ни минуты, ни века, ни тысячелетия ничего не меняют в человеческой природе.

И вправду!

Омар видел мир земледельцев, которые с детства знают: не посеешь - с голоду умрешь и в поте лица, по слову писания, добывают хлеб. Для себя и для других.

Видел он и мир мастеров, создающих все необходимое: топор, мотыгу, молот, нож, посуду, ткани, украшения.

И видел мир ученых, врачей, художников, зодчих, поэтов, учителей, певцов, канатных плясунов - их умение тоже служит человеку.

Но где-то возле них и среди них, вокруг и над ними копошится мир иной, плохо известный Омару: мир бездельников, дельцов-ловкачей, умелых льстецов, неумелых работников, скользких выскочек, проныр-краснобаев, убогих писак и всякого рода толкователей всякого рода явлений, которые, не производя на свет ничего, кроме хворых и глупых детей, все же - живут и живут, по слухам, припеваючи.

За счет чего? И зачем? Бог весть. Они все казались ему проходимцами и мошенниками. Таким не нужен точный календарь. С любым календарем им хорошо.

Ну, что ж. Где растет гордый рис, в той же почве, в той же воде благоденствует и поганый ручейник. И это неотвратимо. Нет никакой возможности удалить сорный злак. Лишь тогда, когда нужно приготовить плов, хозяйка, терпеливо перебирая зерно, отделяет мелкие глянцевито-зеленые семена ручейника и выбрасывает их вон.

Зря горюет визирь! Хозяйка-жизнь когда-нибудь сумеет отделить подлинно низких от истинно благородных и выкинуть их на свалку. Может быть, сумеет. Ручейник живуч, он-то, пожалуй, считает себя злаком более ценным, чем рис...

Омар - осторожно:

- Что-нибудь случилось?

- Эта чужачка Туркан-Хатун... служанки у нее только из заречных племен: ягма, халлук, аргу, чигили. Она ненавидит нас! Смеется над нами, над нашим древним языком, нашей пищей. Даже над огузским говором своего супругатюрка. И разве ты не заметил, сколько молодых здоровых заречных тюрок объявилось в нашей дворцовой страже? И гости к ней зачастили из Бухары. Царица ведет дурную игру. Султан же ей во всем потакает. Любит, видишь, ее. Это тебя не тревожит?

Омар прилежно оберегал свой звездный мир от дворцовых дряг.

- Если верить астрологическим бредням,- сказал он с усмешкой,- звезды еще как-то влияют на судьбы людей. Но сами-то звезды,- это уж всем известно,- для людей недостижимы.

- Зато для этих людей,- свирепо оскалился визирь,- легко достижимы те, кто занимается звездами! Разумеешь, ты, несчастный математик, физик-метафизик? Над нами сгущаются черные тучи. Как бы не грянул гром и не развалил твой Звездный храм.

- Да-а.- Омар потемнел, увидев Абу-Хамида Газали, который медленно, украдкой поднимался к ним по четким ступеням секстанта.- Я из дому выйти боюсь! Этот собачий хвост Газали... нельзя ли отослать его куда-нибудь подалше?

- Дай срок, отошлю. В Багдад, в новое медресе. Он тоже нужен государству.

- Эх! Оно бы вполне обошлось без таких...

Омару уже 31.

Он схоронил отца, перевез мать и сестру в Исфахан. Мастерскую они продали. Дом в Нишапуре, по настоянию предусмотрительной родительницы, остался за ними. От греков-строителей Омар научился их грамоте - кафаревуса и благозвучному их языку.

Славный поэт Цюй Юань из южнокитайского царства Чу, яро боровшийся против бесконечных междоусобных войн, был изгнан правителем и с камнем в объятиях бросился в реку 1357 лет тому назад.

154 года назад умер Абу-Бекр Закария Рази, один из самых- блестящих умов Востока, который, за его учение о вечности мира, был так безжалостно избит богословами, что утратил зрение.

Саади родится через 105 лет, Коперник - через 394 года. Джордано Бруно сожгут на костре через 521 год.

Абу-Наср ан-Насави, когда-то случайно оказавшийся в числе учеников Абу-Али ибн Сины и даже прославившийся одним из его последователей, весьма тяготился этой сомнительной честью. Она вовсе ни к чему преуспевающему судье округа Фарс. Решив совершить в свое оправдание богоугодный подвиг, он, обуреваемый верноподданническими чувствами, надумал избрать орудием для сего высокоблагородного дела известного еретика Омара Хайяма.

И обратился к нему с грозным письменным запросом относительно мудрости благословенного и всевышнего аллаха в сотворении мира и, в особенности, человека и об обязанности людей молиться.

Омар озадачен. Это ловушка. И чего тебе не сидится спокойно в твоём знойном Фарсе, осел ты этакий? Алмазный чертог великой славы хочешь построить на моих костях? Эх, ответил бы я тебе...

Даже в самой тайной глубине души Омар не считал себя ярым безбожником. Но понимал он бога по-своему: никто не смеет утверждать - "Есть бог", так же, как никто не вправе сказать: "Нет бога". Ибо ни то, ни другое еще не доказано.

...Уже давно определено, что все состоит из пустоты и бесконечно малых частиц, различных по форме и размерам. Так? И частицы те несутся в пустоте, где более крупные, наталкиваясь на мелкие, отесняют их вверх. Так? И из этих движений образуется вращение атомов, вследствие чего возникают бесчисленные миры, одним из которых является наш мир и все разнообразные по качеству предметы. Так?

И к тому же все на свете - относительно. Мир мелкой тли на зеленом листке иной, чем у слона, поедающего миллионы зеленых листьев. Черепаха, что ползет в степи кудато, видит

землю иначе, чем большой орел, что парит над степью в зените. Навозный жук, катящий грязно-зеленый шарик, воспринимает степь не так, как черепаха.

Даже в священных писаниях есть намек на относительность понятий: мир в ореховой обычной скорлупе, "день, длящийся пятьдесят тысяч лет". Это не чушь, не поэтическая блажь. Тут что-то есть. Так?

И если разложить живую природу и неживую на мельчайшие составные доли, то уже не разберешь, какая доля откуда - это одни и те же частицы. То, может быть, вся это необозримая Вселенная, крохотную часть которой мы видим и в тайны которой тщимся проникнуть, хлопочем о ней, шумим - всего лишь пылинка на голой пятке какого-то живого Высшего существа? Оно и есть бог, если оно есть. И, конечно, оно воздействует на окружающее, в том числе и на нас. Как и мы воздействуем на то, что нас окружает. Может быть, и мы сами для кого-то - боги? Для тех, кто неизмеримо меньше нас?

И может случиться, что вот нагнется оно, то Высшее существо, на чьей пятке мы примостились со всеми планетами и звездами, почешет пятку - и весь мир наш погибнет в грохочущем пламени. Для него, божества, это будет движением в несколько секунд, для нас пройдут миллионы, миллиарды лет...

Вполне возможно, что наш мир уже давно погиб. Но до нас, мелкоты, это еще не дошло. И не скоро дойдет. Омар, расположившийся писать ответ судьбе, расхохотался. Все может быть! Мы ничего еще не знаем.

Меня философом враги мои зовут,
Однако,- видит бог,- ошибочен их суд!

Ничтожней много я: ведь мне ничто не ясно,

Я даже не пойму, зачем и кто я тут? Если когда-нибудь, через пять или шесть тысячелетий, люди сумеют на чем-то облететь Вселенную (и это будет), может статься, они обнаружат бога. Который сам - тоже всего лишь пылинка на чьей-то еще голой пятке.

Во всяком случае, если бог есть, то он - совсем, совсем не такой, каким его изображают в святых писаниях. И если он разумен, то с ним можно говорить на равных.

И Омар говорил с ним на равных:

Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем,

Назначил гибель ты своим твореньям всем!

Ты плохо их слепил,- но кто ж тому виною,

А если хорошо, ломаешь их зачем? Еще он верил в закон возмездия. Обида, ненависть - не просто чувства, нечто неуловимое. Они материальны, это ток души. Исподволь набираясь, сгущаясь, нависают они плотной тучей над головой проклятого обидчика и однажды - поражают его незримой молнией! Многие обижали Омара. Где они ныне? Давно сгнили в земле. А если и живы, то гниют на ходу.

Но попробуй все это написать судьбе. Вот будет шуму на весь мусульманский мир! Малейшее отклонение от корана - и ты уже преступник. Сочтут сумасшедшим, посадят на цепь. Или живьем сожгут на костре.

Ну, что ж. Ответим как следует. Ты будешь посрамлен, ничтожный ученик великого учителя. Хочешь? Получай. И Омар, без всякого интереса, чуть ли не зевая от скуки, наката "Трактат о бытии и долженствовании". Где, согласно тогдашним представлениям, чинно, вполне благопристойно, обосновывает необходимость божества как первопричины причин - иначе получился бы порочный круг, что нелепо.

Божество создает чистый разум, который творит душу, душа - небо и так далее. Скажите, на что вынужден тратить дорогое время в наш век ученый.

И язык он выбрал соответствующий: "О единственный, достославный и совершенный глава, да продлит аллах твое существование..." А-ах, чтоб тебе сгинуть как можно скорее! "Всевышний смог создать эти сложные существующие вещи только в течение некоторого времени в силу необходимости избежать соединения взаимно противоположных, но встречающихся вместе свойств в одной вещи в одно время с одной стороны". Ахинея! Но что поделаешь?

*То не моя вина, что наложить печать
Я должен на свою заветную тетрадь:
Мне. чернь ученая достаточно знакома,
Чтоб тайн души пред ней не разглашать.*

Но даже здесь, в богословском трактате, не удержался он, чтоб не заметить:

"Большинство людей принимает то, что им должны другие, как необходимое и верное, и настаивает на своем этом праве, не видя того, что они должны другим; каждый из них считает свою душу лучше душ многих людей, более достойной благ и власти, чем другие".

Сходные трактаты: "Ответ на три вопроса", "О существовании", "О всеобщности существования" он писал уже позже, со скрежетом зубным. Хуже смерти, когда делаешь то, чего не хочешь делать. Все равно, что через силу есть, например, тараканов. До конца дней он не смотрел на свои эти книги всерьез и сам называл их "мертворожденными".

Но Омар написал в те годы и дельные вещи:

"Трактат о музыке",
"Трактат о физике",
"Географический трактат",
"О трудностях в арифметике".

Прошли они незаметно, ни славы большой, ни денег больших ему не принесли и в конце концов затерялись. Кто-то сетовал:

- Трудно читать!

Еще бы. Конечно, трудно. Писать их было еще труднее. Не сказки. А ты не берись за книгу, которую не можешь одолеть. Глотай легкое чтиво, над которым не нужно думать.

Староста бывшего Бойре, Хушанг, уже не тот серый, пыльный, облезлый старик, каким увидел его Омар при первой встрече. Правда, по-прежнему сух, оживлен, подвижен, весь день хлопочет о деле, но и о себе не забывает. Чист, ухожен, хорошо одет. Построил белый уютный домик и ухитрился, выдолбив лунки, вырастить во дворе три-четыре виноградные лозы. Под ними не раз доводилось Омару отдыхать с Экдес от трудов праведных.

Экдес - та чуть подросла, поправилась. Омар с каждым днем любил ее все крепче. Она не могла надоесть. Ибо умела сполна угодить своему изощренно-прихотливому любовнику. Глаза Экдес при самом исступленном порыве оставались сухими - и злыми. Она относилась к телесным радостям, тут уместнее - мукам,- серьезно, вдумчиво-деловито, с какой-то странной, огненно-студеной жадностью, хорошо зная наперед, как и чего она хочет. И всегда добивалась обоюдного умопомрачения.

Ее холодный, медленно сжигающий огонь, хотя и был невероятно сладостен, порою даже пугал звездочета. У него возникало подозрение в жутком опыте, постыдной выучке. Э! Откуда? - махал он беспечно рукой, отлежавшись.

Вовсе не нужно учить женщину делу любви. Своим умом до всего дойдет, от ненасытного воображения.

Увы, эта женщина оказалась... бесплодной.

А как он любил детей! Чужих, поскольку не было своих. Они слетались к нему со всего Бойре, точно птицы к высокому тополи, и он, угостив их чем-нибудь вкусеньким, часами щебетал вместе с ними, посмеиваясь над тем ребяческим, что вдруг обнаруживал в себе.

Это ребячество, пожалуй, больше всего и влекло к нему Эkdес. Правда, трудно сразу его угадать. Молчаливый, спокойно-медлительный, избегающий резких движений, задумчиво сосредоточенный в себе, ученый выглядел основательно. Но его выдавали глаза, в каре-зеленой глубине которых таилось нечто лихое, и серьезность готова была в любой миг смениться здоровым весельем и даже глуповатой игривостью. И - вольность, беспечность в самой его неторопливости. И усмешка в правом углу рта. И на редкость легкая поступь. Так и казалось порой, что он, при всей своей степенности, вдруг, расхохотавшись, сорвется с места и с маху взбежит на тополь, к вершине, или пустится догонять скачущую лошадь.

Чтобы пресечь дурные разговоры о его незаконном сожителстве с Эkdес, Омар надумал заключить с нею хотя бы временный брак "мут'а", по обряду шиитского вероисповедания, которого придерживались Хушанг с дочерью. Но, поскольку он был суннит, это дело не выгорело.

- Я, конечно, заставил бы шейхов вас сочетать,- хмуро сказал визирь.- Но лучше не трогать их. Время опасное, смутное. Диких воплей не оберешься...

- Я сам шейх!

Вот нелепость. Два перса, мужчина и женщина, оба мусульманской веры, говорящие на одном языке, подданные той же страны, не могут жить вместе, потому что он - с одной ветви одного и того же дерева, она - с другой. Шииты - суровый народ. Непременно зарежут - если не Омара, то Эkdес.

- Сделай так,- посоветовал ему старик Хушанг, переговорив с дочерью.- Раз уж вы не в силах ни сойтись, ни разойтись: составь купчую, дай мне при свидетелях сколько-то денег и возьми Эkdес как рабыню. Будто бы я продал ее тебе. Когда все уйдут, я верну тебе деньги...

И разговоры сразу прекратились. Ибо с рабыней, согласно мусульманскому праву, "мужчина волен удовлетворять свою страсть каким угодно образом, без ее согласия, ибо власть господина над нею - безгранична". Обычай соблюден. Велик аллах!

К сестре Омара, зеленоглазой Голе-Мохтар, посватался Мохамед аль-Багдади, способный математик, юноша скромный, толковый и дельный. Редкость по нашим временам. И Омар отдал сестру за него с легким сердцем.

Все идет как будто хорошо. Если и плохо кому при дворе, то Бурхани, "эмиру поэтов". Вот человек, которого ученый не может постичь. Смог бы, пожалуй, но ему недосуг вникать в извивы темной чужой души, неведомо отчего восплавленной к Омару ненавистью. Нет охоты! Есть дела поважнее. Пусть Абдаллах,- человек он взрослый, гораздо старше Омара,- сам разбирается в своих чувствах и побуждениях. Что до них Омару? Ведь он-то и пальцем не шевельнул с целью досадить Бурхани!

Глубоко искушенный в тонкостях алгебры и других точных наук, Омар по-детски наивен в делах житейских, в быту. Его разум просто не замечает, а если и замечает, то не воспринимает пустяковую возню окружающих. Это у разума способ самозащиты: иначе его собьют с пути и увлекут в трясины повседневных мелочей.

Бурхани совсем зачах, несчастный. Он даже утратил способность к стихосложению и больше никогда уж не выдаст что-либо подобное его знаменитому бейту:

Рустам из Мазандерана едет,

Зейн Мульк из Исфахана едет... "Давно хворает, худо ест, худо спит,- говорили его домочадцы визирю.- Пристрастился было к хашишу, но и тот не принес ему пользы". Одно утешение осталось Абдаллаху: разбирать построчно стихи Омара Хайяма и ядовито поносить их за сложность, заумность и грубость.

- Как, как? - изводил он десятилетнего сына, не отпуская его от себя ни днем, ни ночью.- Повтори.

Мальчуган, лобастый и бледный, с тонкой шеей, бубнил устало и тупо, одеревенелым голосом:

Что мне блаженства райские "потом"?

Прошу сейчас, наличными, вином... - Проклятый пьянчуга, безбожник! - бушевал Абдаллах.- Пройдоха! Что дальше?

Внезапно вошедший Омар закончил за мальчугана:

В кредит - не верю! И на что мне слава -

Под самым ухом барабанный гром? Его заставил заглянуть к больному визирю. "Может, сумеешь помочь". И зря он это сделал! Увидев недруга, Абдаллах вскочил, скорчил приветливо-злобную улыбку:

- Изыдь, шайтан. Добро пожаловать! Изыдь...- упал, захрипел - и умер.

Между тем в сельджукской державе, как селевые воды в горах, назревали, исподволь, подспудно копясь, крутые события, которые, в конечном счете, обрушились - на кого же, как не на беднягу Омара Хайяма, ни в коей мере, как ему казалось, не причастного к борьбе султанов и ханов за власть.

Визирь явился к нему озабоченный.

- Из Самарканда,- показал распечатанный свиток.- Тебе тут приветы и добрые пожелания. От судьи Абу-Тахира Алака, твоего старого друга.

Рад Омар:

- Жив, здоров?

Пожалуй, нигде ему не жилось так спокойно, отраднo, как в Самарканде. Это невероятная, прямо-таки ахинеяская удача, что среди тех, кто обладает хоть маленькой властью, попадаются, пусть не так уж часто, не совсем уж злые и глупые люди.

Впрочем, никакой в мире судья не помог бы тебе, Омар, если б ты ничего не умел, был всего лишь бедным просителем. Никакой! На порог бы тебя не пустили. Так что не очень-то умиляйся. За поддержку - спасибо, конечно. Но всем на свете, Омар, ты обязан самому себе.

- Он-то жив и здоров... но хан Ахмед, новый правитель караханидский, видно, вовсе тронулся умом. Перенес столицу в Самарканд, возмутил тихий степенный город. Восстановил против себя духовенство и тюрокских военачальников. Норовит, злодей, отторгнуть Заречье от нашей державы. Будто врозь ему будет лучше. Не понимает, пес, что его тотчас же сожрет какой-нибудь новый хакан, волк из восточных степей. Не понимает! - Визирь скомкал свиток, потряс им, шурша, над головой. Сел. Швырнул письмо на ковер, положил руки на колени.- Я день и ночь пекусь о государстве. Хочу его укрепить. Навести хоть какой-то порядок в хозяйстве, в денежных делах. Уберечь князей от злобной черни, а чернь - от жадных князей. Угодить и тебе, математику, и Газали - богослову. Чтоб мир и покой наступили в нашей стране.

Но эти мерзавцы,- визирь повысил голос до крика,- тупо и слепо, точно скоты, разрушают то, что я создаю! - и уже потише: - Брошу все, уйду в отшельники. Ты должен попятить. Сам страдаешь от них.

Ведь, если уж в корень глядеть, все, что ты делаешь это, в конце концов, для блага страны, для блага людей. Не так ли? И у тех же людей ты первый безбожник, блудник, отступник, еретик. И бес тебя знает еще, кто ты такой.

Уйдем, а? В ханаку - дервишскую обитель. Молитвы знаем, с голоду не умрем.- Он вздохнул, достал ногой растрепавшийся свиток, придвинул пяткой к себе, расправил, вновь туго свернул.- Эх! Куда мы пойдём? Мы с тобою - те же рабы. Рабы жестокого века.- И ударил свитком, как дубиной, по глубокой, с узорами, чаше самаркандской работы.- Вот султану - ему самое время идти за Джейхун, навести порядок в тех местах! Пойду, скажу.- Убежал долговязый, ядовитый и резкий.

Нет, он еще цепляется за свою треклятую службу! Хоть уже и начинает сознавать, что в ней никакого смысла. Муравей, упавший в ручей, тоже цепляется, отчаянно перебирая лапками, за клочья пены, за тень от прибрежных ветвей - пока его не проглотит где-то у отмели юркий пескарь.

- Я сам давно уже подумывал нагряться в Заречье, страху нагнать на караханидских упрямец,- ответил султан визирю.- Но... дело непростое. Нужно спросить звездочетов, будет ли удачен мой поход.

- Нет,- сказал Исфазари, сделав расчет.- Расположение звезд возвещает не "выход", а "возвращение".

- Что ж, потрудитесь выбрать благоприятный день,- огорчился визирь. Ему не терпелось отправить султана в Заречье.

От Абу-Тахира тем временем - новая весть: бунт в Самарканде. Визирь в ярости - в Звездный храм. За расчеты берется Васити. Небо опять сулит неудачу.

- Не гневайтесь, ваша светлость! Расположение звезд не изменилось к лучшему. Не можем выбрать подходящий день...

- А ты смеешься над астрологией! - налетел визирь на Омара, который записывал итог своих наблюдений над "Чашей нищих"- Северной Коронай: "Знак Зодиака - шестой, 29 градусов б минут..." - Мол, звезды - сами по себе, они не влияют на нас. Влияют, как видишь! Из-за какого-то дурацкого расположения каких-то там глупых звезд срывается дело большой государственной важности. Неужто в этой прорве крупных и малых звезд не найдется ни одной, пусть самой невзрачной, что решила бы его в нашу пользу?

Похолодел тут Омар! Вот, человек не верит ни в какую звездную чертовщину,- он, что ни говори, сам ученый,- но, в угоду султану, делает вид, что верит в нее. Сколько же умных людей на земле притворно-бессовестно "верит" тому, что долбит вероучитель-законник,- ибо так удобнее жить, это выгодно?

И верит ли сам вероучитель в то, чему он учит других? Если верит, его еще можно простить: охмурен, несчастный. Но если не верит - и все же учит, то это мошенник, его надо сечь на базаре у всех на глазах.

- А? Навечно обяжешь.

- Поищем,- сухо сказал Омар.

Как надоели ему они со своей бесплодной суетой! Прямо-таки безумие какое-то: изо дня в день кровожадно стучать копиями о щиты. Можно подумать: Вселенная рухнет, если клочок обожженной солнцем земли, именуемый Заречьем, отпадет от сельджукской державы...

Разве мало у вас золота, хлеба, роскошных одежд?

Некий чудак по прозвищу Двурогий тоже метался, как ошалелый, по белому свету, сколачивая копьем и мечом великую, на весь тогдашний мир, державу. Дарий шумел, бесновался Ксеркс. Рим бушевал. Аттила гремел за Волгой.

И каждый, конечно, кричал, что городит свой огород навечно.

Что значит навечно? Это не на десять лет, и не на сто, и даже - не на тысячу. Вечность понятие страшное. Космическое. Вечного нет ничего на земле! Так что не бросайтесь словами, не понимая их смысла.

Разрушь хоть три царства вблизи и вдали,

Пусть кровью зальются в дыму и в пыли,-

Не станешь, великий владыка, бессмертным:

Удел невелик - три аршина земли. Омар - с досадой:

- Война? Я без всяких звезд могу сказать: она будет неудачной.

Визирь - подозрительно:

- Это почему же, откуда такие сведения?

- Не бывает удачных войн! Война сама по себе уже неудача. Великое бедствие. Сколько людей погибнет. Ради чего? Ради ваших... ваших... Нет, визирь, нет минут и часов, благоприятствующих кровопролитию. И лучше царю никуда не ходить. Ни сегодня, ни завтра. Никогда. Визирь - грубо, с презрением:

- Ты... уткнулся носом в звезды и держи его среди них! Не суй, куда тебе не следует! Наше государство создано войной и держится на войне.

- Ну, а если,- вспыхнул Омар,- звезды скажут, что Меликшах, перейдя Джейхун, тут же погибнет, как погиб его родитель Алп-Арслан?

- Нет! - оскалился визирь.- Этого звезды не скажут. Они не должны так говорить. Ясно?

- Вполне.

Трудно ладить с царедворцами! Ну, что ж. Я - звездочет, я служу вам за деньги - и услужу, так уж быть. Он взял астролябию.

- погоди! - остановил его визирь.- Я приглашу султана.

Под полудетски-внимательным, даже чуть робким, взглядом султана, которому он, со своим диковинным медным инструментом с кругом и делениями, казался, наверное, чуть ли не колдуном. Омар поправил на алидадной линейке диоптры, спокойно определил высоту солнца, высчитал градус царского гороскопа, установил по таблице расположение звезд:

- Та-ак. Козерог. Альфа. Знак Зодиака - девятый. 21 градус 46 минут долготы, 7 градусов 20 минут широты. Действие - благоприятное.

Омар повеселел. Царь и визирь вздохнули с облегчением.

- Водолей. Ага! Вы ошиблись, Исфазари и Васити. Вот она, та, что на левом плече, бета Водолея! Ее название - Счастье счастья, не так ли? Знак Зодиака - десятый. 10 градусов 56 минут долготы, 8 градусов 50 минут широты. Указан север. Действие - благоприятное. Понятно? - Омар отчеканил: - Бла-го-при-ят-но-е!

Что городит главный звездочет? Васити попробовал робко возразить:

- При чем тут Козерог и Водолей? Ведь речь идет о Стрельце...

- Да, да, о Стрельце! - поддакнул ему султан, который все-таки помнил, что рожден под этим знаком. Омар - снисходительно:

- О повелитель! Извольте взглянуть.- Он ткнул астролябией в звездную таблицу.- В Стрельце - дом воителя Мирриха (Марса). И тут еще - Счастье счастливых. Все сходится наилучшим образом! - Он полистал толстое астрологическое сочинение.- Поход будет удачен. Не забудьте одно - взять хорошее войско и надеть на средний палец правой руки кольцо с топазом.

- Топаз - мой любимый камень!- воскликнул царь.

- А-а,- начал было Исфазари, но Омар резко его оборвал:

- А Исфазари еще молод! - И бросил на помощников такой взгляд исподлобья, что им показалось: глаза у него превратились в холодные жемчужно-зеленые топазы.

И, не решившись ему перечить, они, хоть и видели, что их наставник несет околесицу, сочли за лучшее промолчать и исчезнуть.

Султан - восторженно:

- Если ты прав и поход будет удачен, я награжу тебя как пять царей!

- И я - как пять визирей,- отер лоб визирь побелевшей рукой.

Итак, султан Меликшах, надев на средний палец правой руки кольцо с топазом и прихватив к тому же огромное войско, переправился через Джейхун.

В звездах он, конечно, не разбирался, но зато был человеком храбрым, в пух и прах расколол караханидов, захватил Бухару, затем Самарканд, последний - после долгой осады. Хан Ахмед был взят в плен. Но, поскольку он родич Туркан-Хатун, любимой жены Меликшаха, султан подарил ему жизнь, вернул престол и с великой славой и добычей, нагнав страху на всех в Заречье, отбыл домой, в Исфахан.

Узнав об этом, Музафар Исфари, осунувшийся от бессонных ночей, явился к Омару, потрясенный, и рухнул перед ним на колени.

- Учитель! - воскликнул он со слезами.- Разреши мое недоумение. Иначе я заболею. Ведь по звездам не было "выхода", они указывали "возвращение".

- Разве султан не вышел - и не вернулся в блеске славы? - сказал Омар невозмутимо.

- Да, но как ты сумел это предсказать? Я сколько ночей не спал, заново высчитал градусы и минуты Стрельца, ничего не упустил, проверил все звездные таблицы и астрологические сочинения. Расположение звезд до сих пор отрицательно! Может быть, я чего-то не знаю? Объясни, ради аллаха, как ты рассчитал "выход"?

- Никак,- зевнул Омар. Он тоже плохо спал в эту ночь, был у Экдес.- Я ничего не рассчитывал, сказал, что в голову взбрело. Звездам, друг мой, нет дела до нашей земной суеты. Солнце всходит не оттого, что кричит петух. Нужно султану побить хакана - пусть идет и бьет. Чего выжидать? Я знал, будет одно из двух - либо это войско победит, а то будет разбито либо это будет разбито, а то победит. Будет разбито то войско - ну, и слава богу, это - с меня некому будет спросить.

У Музафара - ум за разум: все его астрологические представления вмиг улетучились из головы.

Кто-то подслушал их разговор,- скорее всего Газали,- и донес о нем султану. "Вот как он играет судьбою царей!" - возмутился Меликшах. И Омар не получил обещанной награды. Султан перестал его замечать. И заодно - выплачивать жалование. Но у Омара оставались деньги с прошлых лет, да и визирь, довольный исходом дела, выдал ему из своей казны десять тысяч динаров.

Так что работы в Звездном храме продолжались.

Умерла мать.

Мир ее праху! Отбушевала. Отмаялась. Он всю жизнь не ладил с нею. Никак и ничем не мог он ей угодить.

И только теперь до него дошло, что он, сам не ахти какой мягкий, одаренностью своей обязан ей - никому другому, а именно ей, ее бурному нраву. У женщин смиренных, тупо-спокойных не бывает способных детей.

Спасибо, мать.

Туркан-Хатун до того огорчилась из-за неудачи брата, хакана Ахмеда, что несколько дней, вернее - ночей, не подпускала султана к себе. Собственно, Туркан-Хатун - это скорее титул, "мать-царица тюрков", зовут-то ее - Зохре.

- Или ты хотела, чтобы твой родич побил меня? - рассердился Меликшах.

- Нет.

Лоб упрямо опущен, озирается из-под него, как волчица. Волчица и есть. Степная. Пригожая, молодая, с красивой родинкой на лбу,- поймал он однажды такую на охоте. Так ему приглянулась, что он, глупый, вздумал погладить ее - и отскочил с окровавленной ладонью.

Ту он убил. А эту? Ничем, ни злом, ни добром не проймешь, когда стих на нее найдет. А находит он часто. Но - хороша, чертовка!

К буйной алтайской крови Зохре примешалась коварно-покорная бухарская кровь, и удачная эта примесь сгладила ей скулы, выпрямила нос, смягчила жесткий разрез яростночерных глаз, выбелила кожу. Только губы резко очерчены, чуть оттопырены, всегда полураскрыты, как у многих тюрчанок. Все же, оставаясь тюрчанкой, она по облику уже не та, какой была, скажем, ее бабка. Сопоставь ее с хозяйкой юрты откуда-нибудь с верховьев Улуг-Хема, сразу увидишь разницу. И в язык уроженки Мавераннахра примешалось столько таджикских и арабских слов, что та с трудом поняла бы эту.

- Я хочу, чтобы ты не трогал его!

- Пусть не бунтует...

Ну, после обычных в таких случаях жалостных слез, охов и всхлипываний состоялось примирение. Оно было столь горячим, что царица сразу же затяжелела. И сказала она, когда об этом узнала, великому султану Меликшаху:

- Рожу тебе сына - сделаешь его своим наследником? И, в положенный срок, родила она ему сына. И дали ему имя Мухмуд.

И султан Меликшах хотел объявить его наследником своей царской власти.

Но тут взбунтовался визирь:

- Никогда!

Хватит с нас этих ягма, карлуков, чигилей. И без того от них проходу нет во дворце. Сядет на престол нашей державы чужак - она уплывет из наших рук. Заречные тюрки народ неумный и наглый, не успеешь мигнуть, как залезут на шею. Наследником должен быть Баркьярук, чистокровный сельджук...

Не знал Низам, что этими словами вынес себе смертный приговор.

Не знал он и того, что между Ираном и Заречьем в ночной темноте замелькали туда и сюда тайные гонцы. И того, что иные из них, добравшись до Рея, сворачивали под Казвин, к Орлиному гнезду.

А мог бы узнать. Если б так же прилежно, как прежде, выслушивал своих осведомителей. Но он перестал их слушать. Ибо султан охладил к великому визирю.

Омару Хайяму, положим, все равно, замечает его султан, не замечает. Бог с ним, с царем и его поистине царским непостоянством. У Омара - звезды. А для Низама аль-Мулька немилость

владыки горе. Придворный! У него надломилось что-то внутри. Руки упали. Он сразу и заметно постарел, ослаб, утратил обычную зоркость.

- Султан-то наш... недалек,- сказал он Омару невесело.- Подвергает опале человека, который один из всех по-настоящему верен ему. И не видит, бедный, что рубит сук, на коем сидит. Мне его жаль. Похоже, намерен сослать меня в Тус. Пусть! Хоть отдохну на старости лет.

Но в Тус ему не хотелось. Старый визирь боялся за судьбу государства. Оно погибнет без него!

Однако и в царском дворце торчать у всех на виду ему опротивело. И у себя во дворце не сиделось. Говорят, опешившая утка начинает нырять не головой, а задом. Визирь приютился в Звездном храме. Здесь часами вдвоем с Омаром они охотились за звездами.

- Я жизнь испортил себе, увлекшись государственными делами! Из меня получился бы неплохой ученый, а?

- Тогда б ты и вовсе погубил свою драгоценную жизнь.

Газали им уже не мешал, визирь отправил его в Багдад, в медресе "Низамие".

"...Из Малого пса. Та, что на шее, то есть Привязь. Знак Зодиака - третий. 9 градусов 26 минут долготы, 14 градусов 00 минут широты. Величина - четвертая. Действие - благоприятное.

Из Корабля Арго. Последняя из двух на заднем весле, то есть Сухейль..."

Иногда, когда им надоедало высчитывать градусы и минуты, они укрывались в доме Хушанга, выпивали по чаше-другой вина, играли в шахматы, вели спокойную беседу об атомах, звездах, о древних греках.

Низам - высокомерно:

- О древних судить не могу. Но те, что живут сейчас, по-моему, самый бестолковый народ на земле.

- Ну! Народ не может быть бестолковым. Сбитым с толку - пожалуй. Христианство сбило их с толку. Как и нас - чужое вероучение.

Визирь - с неизжитой за века - древней арийской спесью:

- Греки, евреи, армяне, цыгане и еще всякие там апказы-капказы - все они для меня на одно лицо. Я их не различаю.

Омар стиснул зубы. Вот уж такие речи ему не по нутру. Ибо в сердце его навсегда оставили след и цыганка Голе-Мохтар, и еврей Давид, сын Мизрохов, и тюрк Абу-Тахир Алак, и таджик Али Джафар, и рус Светозар - и оно осталось открытым для всех.

Конечно, персы - великий народ, кто спорит? Древний народ, одаренный и мудрый. Несмотря на все страшные испытания, сохранились сами, сохранили родную землю и родной язык, один из прекраснейших на свете. Но ведь это можно сказать почти о любом другом народе!

...Вот когда пригодилась книга, которую Омар купил в Самарканде у Светозара. Омар читал визирю Эпикура, пересказывая "Атараксию" как можно проще и понятнее.

Человек всегда стремится к счастью. К высшему благу. Одни видят его в одном, другие - в другом, третьи - в третьем. В чем же оно состоит, истинное счастье, как отделить полезное от вредного? Как избежать страданий и разумно распорядиться жизнью?

Обратимся к этике. Этика, согласно Эпикуру, учение о выборе и отказе. Высшее благо как этическую цель, следует отличать от прикладных житейских благ.

Чувство! Вот высшее мерило морали. Ведь всякое благо и зло - в ощущениях, верно? И начало счастливой жизни есть удовольствие, оно первое и прирожденное благо.

"Приятное - враг полезному",- слышим неоднократно.

Не возводите глупость в закон железный!

Знайте, полезно лишь то, что приятно,

А то, что приятно - уж, конечно, полезно... Однако по Эпикуру, "нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно, справедливо". Человек, имеющий все жизненные блага, тем не менее часто бывает несчастен.

- Как я,- вздохнул визирь.

Порок заключается в самом сосуде, то есть в душе человека, загрязненной страхами и низкими страстями.

- Христиане толкуют о том же! И наши суфии-аскеты.

- Они исказили Эпикурово учение. У них - все для бога, у Эпикура - для человека. Нужно очистить сердце от всего, что мешает спокойно жить. Обретает покой, достигает чистого удовольствия душа, освобожденная от вредных заблуждений.

Одно из вреднейших заблуждений - страх смерти. Ибо он, этот страх, и есть родитель всех религий и суеверий. Но смерть к тому, кто жив, не имеет никакого отношения! Она - с мертвыми, смерть - всего лишь распыление атомов, ранее скрепленных в едином теле.

Боги? Они, как и мы,- сочетание атомов, они блаженны и вечны, живут где-то в межмировых пространствах, их не касаются наши горести, печали, гнев и желания. Нет Ахеронта, нет загробного воздаяния...

- Скажите! - рассмеялся Омар.- Я, оказывается, всю жизнь, сам того не зная, был завзятым эпикурейцем.

Высшее благо - независимость, свобода духа, достигаемые скромностью и самоограничением.

Будь скромн! Довольствуйся тем, что есть. Для малого нет бедности. Проживи незаметно, в мудрых беседах в кругу друзей, вдалеке от внешних треволений.

Превыше всего - свободный полет ума, возможность мыслить отвлеченно, постигать беспредельное пространство. Философия - здоровье души. Мудрый живет как бог среди людей. Человека следует ценить не за богатство и знатность, а за ум, красоту и силу.

Дружба? Человек, не мешай другому человеку жить по его усмотрению, и ты ему - лучший друг.

Общество? Оно должно быть мирной совокупностью отдельных, независимых друг от друга, свободных людей, договорившихся не причинять друг другу вреда...

- Вот! - воскликнул Омар. - Тут все, что нужно человеку. Я верю: настанет время, когда люди, устав от пророков, от которых нет и не будет проку, возьмут на вооружение Эпикурову этику. Уже все придумано,- зачем еще что-то иное придумывать?

- Ты, братец, не знаешь людей. В какую пещеру забьешься, спасаясь от них с их оголтелой жадностью? Они не отстанут. Попробуй, договорись с такими! Возьмем Библию. Уже наши отдаленные предки лгут, крадут, убивают друг друга. Удивительно, а? Змеи одной породы, и те не жалят себе подобных.

- Не знаю, не знаю! - Омар сокрушенно разводит руками.- Я ничего не знаю...- Что он может еще сказать? Все как будто верно. Но от этих речей визиря мутится в голове. Хочется бросить все и впрямь укрыться в пещере.

Осень. Солнце вновь переместилось в созвездие Скорпиона. Крестьяне рады, вместе с ними рад и визирь: урожай в этом году на редкость хороший. Ибо никто не мешал селянину спокойно

работать, было вдоволь воды в каналах. Действует новый календарь. Много лет не случилось в нашей стране, истерзанной смутами, такого благополучия.

Ликуй, древний народ! Воздай, обливаясь слезами умиления, хвалу золотому солнцу. Но помни: где-то возле него, укрывшись в ясных лучах, зловеще глазеет на землю кровавый Антарес - Сердце Скорпиона.

- Милый! - Они ночевали с Экдес на главной башне Звездного храма,- с весны до зимы Омар не терпел иной крыши над головой, чем звездное небо.- Погадал бы ты мне по звездам, а?

- С чего это вдруг?- буркнул Омар. Чертовщины, земной и небесной, он тоже терпеть не мог.

- Ну, так. Чтобы знать, что сулит мне судьба. Ты всем гадаешь. Можешь хоть раз мне услужить? Я никогда ничего у тебя не прошу.

Это правда. Ничего не просит. Ни колец золотых, ни монет, ни платьев парчовых. Что он даст по своему усмотрению, тем и довольна.

Омару - 44.

Гесиод написал "Теогонию" 1800 лет назад. "Книгу исцеления" Абу-Али ибн Сины по приказу халифа публично сожгут в Багдаде через семь, без двух лет, десятилетий. Поэт Имад ад-дня Насими будет зверски замучен, как еретик, через 325 лет в Халебе.

Джордано Бруно погибнет в огне через 508 лет.

- Хорошо, услужу,- ответил Омар, пристыженный. Прав султан: черств Омар,- сказал ему как-то на днях.- Какой у тебя гороскоп?

- Кто мне, бедной, мог его составить? У нас тут звездочетов сроду не водилось.

- Знаешь год, месяц и день рождения?.

- Знаю. Мать говорила.- Она назвала точную дату.- Старею, мой изумрудноглазый! Мне уже тридцать два.

- Разве трудно поверить. Сколько лет мы уже вместе?

- Семнадцать.

- Ого! Я не заметил как они пролетели. Как во сне. В сказочном сне. Но вот что необыкновенно: за семнадцать лет мы ни разу с тобою не повздорили! Ни разу.

- А зачем? - удивилась Экдес.- Нам вдвоем отрадно и спокойно. Ведь соряется с теми, кто надоел? А мы друг другу надоест не можем. Возьми, родной, свои гадальные книги, посмотри, под какой звездой я родилась.

Омар усмехнулся. "Гадальные книги". Наверное, он для нее - что-то вроде алтайского шамана, который верхом на бубне летает в потусторонний мир.

Что ж, посмотрим.

- Достань из ниши светильник, подай вон те тетради. - Он взял карандаш, чистый лист, перелистал таблицы, сделал расчет - и свистнул.

Экая нелепость!

Дурацкое совпадение. Хоть он и не верит в гадание по звездам, ему сделалось не по себе: будто укуса хлебнул случайно вместо вина.

Выходила - Алголь. Ведьма. Голова Медузы Горгоны, которую Зевс вознес вместе с Персеем и Андромедой на небо. Страшный взгляд ее даже мертвых глаз обращает все живое в камень...

- Что, плохо? - обеспокоилась Экдес. Омар - в замешательстве:

- Нет! Выходит... Сунбуль из созвездия Девы. Знак девичьей чистоты и невинности. Эكدес - простодушно:

- Это я-то? - И рассмеялась - совсем не греховно, скорее по-детски.

Он подхватил ее смех:

- Действие ее - вполне благоприятное!

- А вот мы сейчас проверим...

Сторож Звездного храма, находясь далеко внизу, под башней, шептал, озираясь, заклинания и молитвенно проводил руками по лицу: стоны, смех, приглушенный визг, что за бесовская свадьба там, наверху? Не зря, видать, вчера заезжий шейх говорил: "Звездный храм - прибежище гулей, и правоверному служить при нем не следует". Но жить-то надо! И если Звездный храм угоден даже визирю, то ему, червяку, и вовсе не пристало сомневаться в нем.

...По черно-синему лазуриту ночного неба, усеянному крупными точками золотистого колчедана, скользнула яркая капля падающей звезды.

- Милый, правда, что когда падает звезда, это знакто-то умер?

- Как будто.

- А появляются... новые звезды?

- Вроде.

- Может, кто умер, превращается в звезду?

- Все может быть.

- Я бы хотела после смерти превратиться в звезду. Ты каждую ночь смотришь туда, в эту даль,- она провела по звездам рукой,- ты бы каждую ночь видел меня, а я - тебя. И мы всегда были бы как будто вместе, а? Она заплакала.

- Что ты, что ты? - Он нежно погладил ее по спине.- Что за блажь? Я скорее могу... стать звездой. Гораздо старше. '

- Ну! Ты человек железный. Ты долго будешь жить. А я... чего-то боюсь.

- Ничего не бойся! Ты и без того уже звезда. Самая яркая, какую я знаю.

На следующий день, устав от хлопот по Звездному храму (не мудрено, с утра по сотням ступеней - снизу вверх, сверху вниз), визирь и Омар, как у них повелось, зашли к старику Хушангу похлебать горячего жидкого варева с бараниной, рисом и морковью. Осенью это хорошо.

После еды прилегли было немного вздремнуть, но вдруг Омар, нащупав что-то за пазухой, спохватился:

- Э! Приказал Кириаку-греку начать угломер для созвездия Рыб, а расчеты отдать забыл. Что это со мною? Плохо спал нынче ночью.- Он поискал Эكدес сердитыми глазами, но она куда-то девалась.- Пригрозил наказанием, если тотчас не начнет, а расчеты - унес.- Омар вынул тетрадь.- Он же, бедный, постеснялся напомнить...

- Отдай, пусть отнесет,- сонно кивнул визирь на Хушанга.

- Нет, нужно все самому объяснить.

- Пусть позовет его сюда.

- Все на месте нужно показать! - Раздражен Омар: визирь мешает ему работать.

- Иди,- зевнул визирь.- Я тем временем посплю.

Где же Эكدес? И визиревых слуг-телохранителей почему-то нет. Должно быть, сам их отослал - чтобы побыть одному в кругу друзей.

Омар - старику Хушангу:

- Не вздумай его беспокоить!
- Ни боже мой.
- Приглядывай.
- Пригляжу.
- Помни: головой за него отвечаешь.

Хушанг - с собачьей преданностью в глазах:

- Еще бы! Чем же еще, если не головой...

Приятен Омару этот старик. Добр, приветлив. Главное - честен, неподкупен, как отшельник-аскет. Эkdес, конечно, в него.

Неподалеку от дома, у дороги, сидел на корточках, бессмысленно бормоча и раскачиваясь, дряхлый дервиш. Мгновенный острый взгляд рассек звездочета наискось. Но Омар прошел, не взглянув на монаха. Много их бродит по Востоку. Взойдя на бугор, математик забыл о визире. Дворцовые дразги, султаны, визири, телохранители - все это его не касалось. Пусть они делают свое дело, он делает свое.

- Подожди здесь, внизу,- сказал он греку Кириаку.- Я поднимусь наверх, нужно кое-что проверить.

На башне он застал бухарца Амида Камали. Новый "эмир поэтов". Умеет славословить, чит коран и не задает вопросов богу. В юности думал Омар: главное для поэта - ум, одаренность. Теперь он видит, они совсем ни к чему. Оказалось, можно, даже ничего не понимая в секретах стихосложения, считаться поэтом и, более того, носить звание "эмира поэтов". И сколько таких кормится возле словесности! Прихлебатели.

Низами Арузи Самарканди, перечисляя в своих "Четырех беседах" поэтов, "увековечивших" имена царей из рода сельджукидов, назовет, среди прочих, после Бурхани и нашего Амида Камали.

И это все, что останется от него на земле...

- Тебе чего тут надо?

"Эмир поэтов" - подобострастно:

- Любопытствую!

- Что ж. Это не грех. Но смотри, не помри, обжегшись о звезды! А то один здесь тоже все любопытствовал... твой предшественник, мир его праху.

- Господь, сохрани и помилуй! Я без злого умысла.

- И хорошо! Не мешай.

Омар определил высоту солнца, сделал нужную запись. Так, подумав. Надо проверить. В сотый раз! Опустив голову и заложив руки за спину, он, как узник в тюремной башне, стал не спеша расхаживать по круглой площадке, где провел эту ночь с Эkdес.

Рыба, Рыба. Южная Рыба. Южная Рыба, яркая глыба...

Хе! Получается что-то вроде стихов.

Омар, задумчиво усмехаясь, начал даже насвистывать. Это помогало рассуждать. Пальцы рук, спрятанных за спиной, зашевелились, по давней привычке, неторопливо сгибаясь и разгибаясь.

"Эмир поэтов" сперва удивленно, затем уже подозрительно следит за движениями этих длинных крепких пальцев. Их кончики нерешительно вздрагивают, отражая какие-то колебания в уме хозяина, осторожно что-то нащупывают, с сомнением выпрямляются,- нет, не нашли - и вдруг быстро-быстро пересчитывают лишь им известное, и вот уже два, указательный, средний, дальше: безымянный и мизинец резко сгибаются, поймав, наконец, то, за чем охотились. И снова, уже уверенно, пересчитывают добычу.

И тут осенила Амида страшная догадка...

Сколько градусов широты? Изволь. Двадцать три, а где минуты - ноль.

Под ногою что-то блеснуло. Наклонился Омар, взял. Золотая сережка с крохотной каплей рубина. Из той пары, которую он на днях преподнес с поцелуем Экдес. Потеряла ночью.

И вдруг эта красная капля, казалось, кровью Экдес прожгла ему грудь, уже час как нывшую от неясной тревоги, и упала прямо в сердце, заолодевшее, точно твердый плод на осеннем ветру.

Минуты, градусы... Будьте вы прокляты! Если в давилъне на маслобойке выжать мой мозг, что останется от него? Углы, минуты, градусы? Созвездия? К черту! Кому и зачем это нужно? Он почувствовал внезапную, остервенелую ненависть к Звездному храму. Наполнить бы доверху глупую башню каспийской нефтью - и поджечь! Зачем я здесь, почему я здесь? Сегодня же возьму Экдес и уеду с ней в Баге-Санг...

Экдес! Он стиснул серьгу в кулаке. Вот так она и приходит, беда. Когда ее не ждешь. Когда и думать о ней забыл. Когда на разум как бы находит затмение от треклятой повседневной суеты. И деньги так теряешь, и нужные бумаги.

И потом, хоть башкой о камень грохнись, ты не в силах понять, где и как их мог оставить.

Экдес! Он ринулся вниз и замер, увидев ее.

Далеко-далеко внизу. В самом конце дуги солнечного секстанта. На другой планете. Между ними день длиною в пятьдесят тысяч лет. Она, шатаясь села на ступень, уронила голову на колени, подняла с великим трудом, как большую бронзовую гирию, и Омар услышал ее надрывистый, из последних сил, журавлиный крик:

- Скорей!

Она не могла подняться к нему.

Омар, дурной и потерянный, будто накурившийся хашишу, сквозь всю вселенную, опаленный звездами, спустился к ней по дуге секстанта.

- Омар... он отравил меня.

Кровь разом отхлынула от головы куда-то к ногам, и на миг в холодные уши Омара ворвался жуткий, утробно-дикий беззвучный вой. Разница! Разница между Экдес вчерашней и этой, что сейчас перед ним, отлилась в исполинское тесло - и грохнула его по затылку. Так, что из глаз посыпались звезды. Нет. Разве это Экдес? Это - Алголь.

- Испугался... донесу на него.

- Кто?! - Он упал, разбив колени, на гранитную ступень, взял в руки лицо Экдес, черно-лиловое, как лист рейхана. Рот ее обожжен. В глазах кровь.

- Чертополох.

"Бредит".

- Какой чертополох?

- Сухой Чертополох.

"Явно бредит".

Но тут Омар узнал такое, что ему показалось - сам он бредит:

- Старый Хушанг. Он хашишин. Я тоже... я райской девой была. "Нежной Коброй" называюсь. Беги, спасай визиря. Это я... увела его слуг... в старую юрту.- Она, из последних сил пытаюсь сохранить человеческое обличье, стыдливо опустила разноцветные подлые глаза. Ее божественное, но бесплодное тело скрутило судорогой. Экдес вцепилась змеиными зубами в его белую руку. Сплюнула кровь.- Омар, милый! Ах, если б ты был из наших...

- Полежи здесь! - Он положил ее на ступень, кликнул стражу и кинулся с нею к дому Хушанга. Навстречу уже бежал один из визиревых слуг, бледный, весь в поту:

- Его светлость... его светлость...

- Что?!

- Ранен.

"Только ранен! Я его вылечу".

В калитке стоял, шатаясь, Низам аль-Мульк. Лицо восковое, рот окровавлен.

- Омар, сын мой...- Он качнулся навстречу, припал к плечу, пачкая кровью его одежду.- Вот, расплылись... мои атомы. Ты... уходи отсюда, родной. Туда, назад... откуда вышел. Иначе - погибнешь.- И обвис, уже мертвый, в руках звездочета.

Провели, осторожно подталкивая, давешнего монаха, оказавшегося дюжим молодцом. Седая борода у него отклеилась и повисла на одной стороне подбородка. Он, уже мысленно где-то в раю, в объятиях гурий, не заметил Омара.

Вслед, с руками, связанными за спиной, вышел смущенный Хушанг. Старик искательно взглянул Омара в глаза и жалко усмехнулся.

Омар, будто сам пораженный исмаилитом в спину, в багровом тумане вернулся к Экдес. Она уже окоченела, вцепившись в живот, на холодных ступенях секстанта, по которому ей не довелось взойти еще раз.

"Нежная Кобра"? Да, ты была очень нежной. Редкостно нежной! Неслыханно.

И больше ему нечего было о ней сказать. Потому что он, по существу, ничего не знал о ней. Ничего! Все семнадцать лет, ни на одну почти ночь не расставаясь с ним, Экдес,- он увидел это теперь,- оставалась ему чужой. Была загадкой - да так и ушла от него неразгаданной.

Он долго стоял над нею, безмолвный, оледенелый, точно и впрямь окаменел от безумных глаз Медузы Горгоны.

Саднило руку. Омар рассеянно взглянул на свой кулак, в котором все еще зажимал золотую сережку с каплей рубина. Крупной каплей рубина вызрела кровь на руке. Если яд, которым отравил свою дочь старый Хушанг, попал с ее зубов Омара внутрь, он тоже может умереть.

Э, пусть! Лучше умереть, чем жить среди оборотней.

Уж после, оставшись один, он, наверное, станет рыдать, волосы рвать, головою биться о стенку. Или скорее молча и тяжело хворать, всех сторонясь.

А сейчас... Он раскрыл ладонь, раз, другой и третий встряхнул на ней золотую серьгу; кинул ее, не глядя, на труп Нежной Кобры, скорчившейся на ступенях секстанта, и пошел прочь.

Я черств? Может быть! Но хватит с меня ваших дурных затей...

"Как это я еще не сошел с ума? - удивлялся себе Омар.- А вдруг сошел, да сам того не заметил! Ведь, говорят, сумасшедший никогда не знает, что он сумасшедший".

...Из города с гиканьем налетел на Звездный храм тысячный отряд. То ли кто с перепугу наврал Меликшаху, то ли ему самому показалось со страху, что тут засело целое войско убийц-хашишинов, но он не посмел покинуть дворец без столь крепкого сопровождения.

- Рассказывай!

Омар говорит. Опустив голову, молча слушает Меликшах, В стороне, над телом отца, рыдает Изз аль-Мульк, хороший Омаров приятель. Молчит Меликшах. Ему пока что нечего сказать. Ибо он сам еще не знает, огорчен или доволен смертью визиря.

- Приведите убийц! - поднимает визирев сын свирепое лицо, залитое слезами.

- Да, да! - находится султан.- Надо их допросить.

- Пусть государь простит или казнит своего недостойного слугу, но это... невозможно,- отвешивает напряженный поклон царский телохранитель.- Убийцы мертвы. Отравились. Или - отравлены.

Оцепенение. Его нарушает Амид Камали:

- Я знаю, они отравлены! И знаю, кто их отравил.- Новый "эмир поэтов", весь белый, весь дрожащий от возбуждения,- еще бы, такой великий подвиг он совершает, над его головою бушует ветер эпох,- решительно выступает вперед, тычет пальцем... в Омара Хайяма.- Хватайте его! Он тоже исмаилит. Он завлек визиря в ловушку. Я видел давеча на башне - он пальцами крутил, сгибал их так и этак. Это тайный язык хашишинов. Слыхали о нем? Омар совещался с кем-то.

- Кто еще был на башне? - живо подступил к нему грозный Изз аль-Мульк.

- Никого. Мы вдвоем.

- С кем же тогда он мог совещаться? Кроме как с тобою? Разве ты тоже хашишин?

- Ай, яй! - завопил "эмир поэтов" и рухнул на колени.- Простите, сказал, не подумав.

- Надо думать, болван!

- Но все же - зачем он пальцами крутил? Изз аль-Мульк обернулся к Омару:

- Зачем ты крутил пальцами?

- Зачем? - повторил султан.

Омара уже начало трясти.

- Если сей прохвост - поэт,- Омар закусил губу, судорожно перевел дух,- он должен знать, что на пальцах мы отсчитываем слоги, размер, слагая стихи в уме, без карандаша. Не знаю, на чем считает он. На своих зубах? Вот я их посчитаю!

- Но, но! - одернул его султан.- Стой спокойно. Тоже - недоразумение божье... нашел время и место стихи сочинять.- Отер расшитым рукавом багровое лицо, кивнул "эмиру поэтов": - Ступай отсюда.- И дружелюбно, совсем по-простецки, Омару: - Случись все это при султанине Махмуде Газнийском, знаешь, где бы ты уже был?

- Знаю. Но белый свет, человечество, жизнь - не только султан Махмуд Газнийский. Есть на земле и кое-что другое. Получше.- Он угрюмо переглянулся с Иззом аль-Мульком, получил его безмолвное согласие и поклонился Меликшаху: - Отпусти меня, царь.

- Это куда же? - Простодушно, не по-царски, разинув рот, сельджук удивленно уставился на Омара.

- Домой, в Нишапур. Схожу на могилу матери и уеду.

- Нет, что ты, что ты? - Уразумел, должно быть, что молчаливый, себе на уме, звездочет, который ни во что не лезет и сторонится всех - единственный человек при дворе, которому можно еще доверять.- Не отпущу. Ни в коем случае! Ты нужен здесь.

- Зачем?

Султан помолчал. Взглянул на визирево жалкое тело. "Был Асад - стал Джасад".- шутливо сказал бы визирь, если б мог, сам о себе по-арабски (лев - труп). И Меликшах произнес уже веско, по-царски:

- По звездам гадать. Детей наших лечить.

Спустя тридцать дней, кем-то отравленный, великий султан Меликшах превратился в такой же труп.

Вчера на кровлю царского дворца

*Сел ворон. Череп шаха-гордеца
Держал в когтях и вскрикивал: "Где трубы?
Трубите шаху славу без конца!"*

Едва успели схоронить султана, как ночью во дворце сотворился небывалый переполох. Омар, проснувшись от шума, разругался, как бывало, Ораз:

- Трах в прах! Грох в горюх! Царский это дворец или ночной притон?

Тяжелый и дробный стук подкованных каблуков: будто воры, проникшие в купеческий склад, бегут врассыпную, спешат растащить мешки с зерном. Треск дверей. Звон мечей. Глухие удары. Скрежет чего-то обо что-то.

И яростный клич: "Смерть Баркьяруку, слава султану Махмуду!" А, вот в чем дело. Омар встал, вышел посмотреть.

- Назад! - рывкнул воин, заречный тюрк с висячими усами.

- Я - посмотреть.

- Стой и смотри.

Вдоль стен прохода в престольный зал выстроились дюжие гулямы - юнцы из охранных войск, все заречные тюрки. В их руках при свете сотен пылающих факелов сверкали кривые обнаженные мечи. Гулямы, пьяные, горланили, потрясая мечами и факелами:

- Султан Махмуд! Да здравствует великий султан Махмуд.

Не успев научиться без посторонних надевать и снимать штаны, попавший сразу в "великие султаны", пятилетний Махмуд, сын Туркан-Хатун, принаряженный по такому случаю, сонно хныкал, распустив сопли, на руках у тюркского дядьки-аталыка, который бережно, как хрустальную вазу, пронес его в престольный зал.

За ним блестящей хрустальной глыбой в рубинах, в золоте и жемчугах, обдав Омара дивной красотой и душным запахом индийских благовоний, легко проплыла, верней пролетела стрелой мимо него, сама Зохре.

Спешит. Как девушка, лишь вчера познавшая плотскую любовь, на новое свидание. Хоть ей, вдове, надлежит, согласно обычаю, семь дней не выходить из своих покоев. С вечера, видать, не ложилась.

Сторонников Баркьярука частью изрубили, частью они где-то укрылись, взяв с собой опального царевича.

Все, толкаясь, ринулись в престольный зал. Такую же суматоху и неразбериху довелось Омару видеть в Нишапуре, когда там ночью загорелся сенной базар. Лица, красные от огня. Страх, печальные возгласы - и чей-то ликующий смех...

Но тут не базар горел - горела держава сельджукидов, которую много лет терпеливо, с оглядкой строил мудрый Низам аль-Мульк. Собственно, это и есть исполинский базар, где всяк норовит купить, продать, обмануть.

Царевича Махмуда,- он перестал уже хныкать и даже повеселел от славной потехи,- сперва, по степному обычаю, с криком подняли на белом войлоке и уже после посадили на усыпанный алмазами золотой тахт - престол. Рядом с ним, криво, дрожащими губами, улыбалась счастливая мать, царица Туркан-Хатун. Мечта ее исполнилась.

Под сводами престольного зала раскатисто звучал протяжный голос шейх уль-ислама, произносившего к месту нужную молитву. Как можно без молитвы?

- Ну, теперь... держись,- шепнул кто-то за плечом Омара. А! Это Ораз, старый головорез. Тот самый. Они иногда встречались у ворот, где туркмен нес караульную службу.- Теперь держись, ученый друг. Сто динаров и три фельса! Тут скоро начнется такое...

И началось.

Уже три года, с той поры, как Меликшах ходил в Заречье, Омар не получал свое жалование. И сбережений нет у него - все поглотил Звездный храм. Работы в Бойре прекратились.

Собственно, Бойре опустело сразу после гибели Низама аль-Мулька. В связи с его смертью султан устроил крутое дознание. "Я разорю проклятое ваше гнездо!" - "Мы ничего не знаем, о государь! Мы не причастны к тайнам нашего старосты. Знаем только, что прежде чем сделаться старостой, он отлучался куда-то на несколько лет, затем на время исчезла его красивая дочь. Больше мы ничего не знаем" Трех человек обезглавили, остальных избили палками - они и разбежались.

Омару не раз случалось бывать в покинутых храмах, замках, городах. В них тебя всегда охватывает печаль. Но она светла, потому что на развалившихся стенах и башнях, разбитых колоннах, сухих водостоках лежит печать времени, долгих столетий. Жизнь ушла отсюда когда-то, не сейчас, а давным-давно, и у тебя за нее - грусть, а не боль. И никаких тут гулей быть не может.

Но вот стоит совершенно свежее строение. Кажется, в любой миг кто-то выйдет из-за угла, раздастся говор, смех,- но никого здесь нету, пусто, эхо от легких твоих шагов обращается в устрашающий гром. Кричи, зови, никто не ответит, кроме эха.

Храм - вовсе новый, и потому-то мнится, что он населен незримыми существами. Здесь поневоле ждешь, что вдруг за спиной возникнет, усмехаясь, свирепое мохнатое чудовище.

Исфазари и Васити, с дозволения царицы, уехали в Балх. Они бы рады помочь учителю. Но как, скажите? Сами остались ни с чем. Омар не у дел. Распоряжений на его счет сверху пока еще нет никаких. Прозябай в уединенной келье, читай от скуки индийские басни: "Один петух способен удовлетворить десять кур, десять мужчин не могут ублажить одну женщину". Одуреешь. Он обратился за помощью к Иззу аль-Мульку, замещавшему пока что отца.

Но Изз аль-Мульк - совсем не то, что его родитель.

Дети не могут быть равны великому отцу. Особенно если их много. Ибо та большая одаренность, что сосредоточена природой в нем одном, распадается в них на малые части, достается каждому лишь понемногу. К чему еще добавляется что-то от матери, не всегда, увы, благодатное.

- Потерпи,- отчужденно и сухо сказал Изз аль-Мульк.- Я еще сам не знаю, что будет со мной. Пусть улягутся страсти. Разве не видишь, что у нас творится?

- Что творится? - пожал плечами Омар.- Ничего особенного. Надо знать историю. Происходит то, чему и следует быть при дворе новой Клеопатры.

Вчера увидел Омар в одном из закоулков дворца - темноликий, страшный старик-богослов, в белом халате, в белой чалме, с белой редкой бородкой, редкозубый, одной костлявой рукой сует малолетней толстой девчонке в рот сласти, а другой, распустив слюни, щупает ее.

Увидела Омара - испугалась, резко отвернулась. Вздернутый мокрый носик тянет за собой короткую губу, рот глупо открыт, верхние зубы обнажены вместе с деснами. О боже! отвратный дух злочных мест наполнил царский дворец. Евнухи при гареме нынче тоже оказались не у дел. Он превратился в стойло для гулямов, рослых юнцов из охранных войск. Вход свободен. Днем и ночью звучат флейты и бубны.

Это и есть правильная, благочестивая жизнь?

Омар, человек прямой, все видит в упор. Для него нет тайн в человеческих отношениях. Он прежде всего - ученый, исследователь, не из тех, кто стыдливо отводит взгляд от непристойного зрелища. Сказочный чертог Клеопатры тоже был грязным притоном. Лишь через много столетий, старанием мечтательных поэтов, ее поведение окуталось розовой дымкой. Но для Омара Хайяма грубая правда выше приукрашенной лжи. Им не стыдно вытворять бог весть что, почему нам должно быть стыдно о них говорить?

Но Омар молчит. Он пока что молчит.

Не таков Ораз. Туркмен, грубо ругаясь, втолковывал Омару:

- Сказано: если баба не раба, то она деспот!

- Ну? - усмехнулся Омар. Этот - наговорит.

- В песках таких, привязав к столбу, до костей пороли плетью. Но теперь мы народ городской. Образованный. И никакой блюститель нравов ничего ей не скажет.

- Во всем мусульманском мире,- вздохнул Омар,- был один просвещенный государь, султан Меликшах, и того убили. Потому что умен и не похож на других правителей. Теперь все изменилось у нас. И не к лучшему, а? Совсем другая жизнь! Но им, этим придворным пронырам, все равно. Жил Меликшах - лизали пятки ему. Правит Туркан-Хатун - тут же забыли о нем и лижут ей...

- Если б только пятки...

- Завтра придет другой правитель - сразу забудут об этих и ринутся лобызать пятки другому.

- Если б только пятки! Ты, ученый,- неужели не понимаешь, что большинству людей наплевать, кто правит ими, умен или глуп и даже - какой он веры? Лишь бы между двумя пинками швырял им кусок жратвы.

Итак, "один петух..." Омар, зевнув, отложил "Рассказы попугая". Надо же, на что он тратит время! Все это блажь. Мужчина мужчине рознь, и женщина - женщине...

- Сударь, вы здесь? - Чуть скрипнула дверь. В келью заглянула служанка.

- Как видишь.

- Сейчас...

Она прикрыла дверь и вскоре появилась вновь с большим подносом в руках. На золотом блюде - горою плов с курицей, возле блюда - кувшин с вином и пахучая хорезмская дыня.

"Эге!" - удивился Омар. Ему давно не приносили еды и к общей трапезе его не звали. Звездочет питался у Ораза, из скудного воинского котла. И не станет он больше есть с царской кухни, чтоб не последовать за Меликшахом. Что же случилось?

- Ступай! - служанке - повелительный голос. Омар внутренне ахнул: Зохре! Туркан-Хатун... Сняла чадру. В расшитой безрукавке, в широких арабских шальварах, в легких бархатных туфлях, она присела к столику, на который служанка, сбросив книгу, поставила поднос. Растерявшийся Омар даже не встал царице навстречу.

- Душно! Это ты написал? - Зохре, расстегнув безрукавку, извлекла скрученный лист, кинула его Омару. Прилегла, опустившись на голый правый локоть, поближе к нему. Безрукавка осталась расстегнутой. Под ней никакой другой одежды не оказалось. Омар увидел глубокий пуп на ее округлом животе. Голые смуглые груди царицы свесились набок, на них, золоча крупные соски, опустилось янтарное ожерелье. Упали на ковер густые неубранные волосы.

О великий султан Меликшах! Мир праху твоему, несчастный...

Омар развернул бумагу:

На чьем столе вино, и сладости, и плов?

Сырого неуча. Да, рок, увы, таков:

Глаза Туркан-Хатуи, красивейшие в мире,

Утехой сделались для стражников-рабов. - Остроумно,- отметил Омар.- И язык похож на мой. Но эти стихи я вижу впервые. Очень ловкая подделка.

- Не отрекайся,- вздохнула Зохре.- Разве не ты самый ядовитый человек в Исфахане? Ты хочешь вина? Вот оно. Сладостей? Хорезмские дыни - лучшие в мире. Тебе нужен плов? Ешь. И сделай своей утехой мои глаза, красивейшие в мире.

Она игриво подалась к нему, вновь обдав его мускусом и амброй, как тогда, у престольного зала,- и на сей раз вместе с ними резким запахом пота и вина. Клеопатра - та хоть полоскалась в своих мраморных бассейнах.

- Уходи!- отшатнулся Омар.

- Брезгуешь?- зашипела султанша.- Рабыней не брезговал! Погоди же, красавчик. Эй!- позвала она служанку.- Унеси все это,- кивнула на поднос.- И позови ко мне Большого Хусейна. Того, ну, знаешь.

И ушла.

- Эх, дурак,- шепнула ему служанка.

- Верно,- кивнул Омар, чувствуя, как его леденяще охватывает близость непоправимой беды.- Совсем Дурак...

Невмоготу Омару стало при дворе! На каждом шагу он ловил на себе враждебные взгляды: даже слуги-подонки, худшая разновидность рабов, и те, увидев его, издевательски скалились, служанки с насмешкой шушукались. Можно подумать, он сделал им что-то плохое или что-то им должен.

Изз аль-Мульк при встречах прячет глаза.

Из Нишапура зачем-то приехал шейх уль-ислам, новый, другой,- старый давно отбыл в рай.

Чего-то выжидает Ораз.

"Что затевает против меня шайка придворных проныр?"- с тревогой думал Омар.

И вот очень скоро ему объявили, что над ним состоится суд. Слава богу. Суд - хоть какая-то видимость законности. Ведь могли убрать и без суда - рукою того же Большого Хусейна, послушного царице.

В то утро Изз аль-Мульк, выйдя на просторную террасу, увидел у дворцовых ворот непонятное скопление людей.

Что за народ? Он помрачнел. Туркмены. В большинстве - средних лет и пожилые. С тяжелыми темными руками и жесткими темными лицами, они неподвижно сидят на корточках вдоль стен и на площадке, греясь на еще не угасшем осеннем солнце, прячут темные глаза в настороженно-резких прищурах и молчат.

У многих на шершавых обветренных лицах - старые шрамы, на руках не хватает пальцев. У них кривые мечи, колчаны, набитые стрелами. Кольчуги на каменных плечах. Их много раз разрубали и чинили, кольчуги. Эти глаза слепила пыль долгих дорог от Кашгара до Палестины и Черного моря, разъедал дым походных костров, соленый пот в бесчисленных боях. На этих плечах в стальных изрубленных кольчугах держится, по сути, держава сельджукидов. Но этого не скажешь, глядя на рваную одежду и драную обувь суровых воинов.

Никто из них не встал при виде визиря, не поклонился. Взгляд - мимо него и сквозь, не замечая. Но визиря нельзя не заметить! Значит, не хотят? Изз аль-Мульк похолодел. Кто их вызвал, кто впустил во дворец?

Ораз, заложив руки за спину, широко расставив ноги и выпятив грудь, стоит боком к террасе и озирает исподлобья, склонив голову к плечу, кучку упитанных, румяных, в голубых и розовых шелках, юнцов из охранных войск, неуверенно переступающих с ноги на ногу на широких ступенях. Покосился на визиря. Усмехнулся. Нехорошо усмехнулся.

Он тоже молчит. Все молчат. Лучше б кричали! Обида выкрикнутая - уже лишь неполовину обида.

Что происходит? Изз аль-Мульк, словно боясь, что его схватят сзади, с оглядкой поднялся на террасу. Визиря угнетает тишина. Дворец, обычно шумный, переполненный людьми, будто вымер. Но и это не так его тревожит, как нечто непостижимое уму, но явственно, как туман, разлитое в холодном воздухе над стенами и за дворцовыми воротами. Странное утро! Чего-то не хватает сегодня дворцу и городу. Чего? Визирь никак не может понять. Он чувствует одно: там, за воротами, что-то неладно. Там зреет что-то опасное, может быть - даже страшное.

Нестерпимо! "Видно, я начинаю сходить с ума, как Омар Хайям". Визирь облачился в простой халат, надвинул на глаза степную лохматую шапку - тельпек, взял с собой переодетых телохранителей и велел открыть калитку в громоздких, из тесаных бревен, воротах.

И на регистане - площади, засыпанной щебнем и примыкающей к дворцу,- обнаружил то, чего хуже не может быть на Востоке. Хуже оспы, чумы и холеры. Базар не торговал! Народу, как всегда, много. И все, как им положено, в своих обычных лохмотьях. Но отодвинул в сторону горшки и чаши гончар. Отодвинул и не смотрит на них. Пусть растопчут, черт с ними. Селянин сидит на связке дров, не думая ее развязывать. Другой, понурившись, пытается оторвать толстую нить на мешке с зерном и никак не оторвет. Обозлившись, хватается за нож. Хлебник, развернув скатерть с лепешками в большой плоской корзине, не глядя, берет и передает бесплатно лепешки соседям, и те не глядя, берут и нехотя жуют.

И водонос, не глядя, пустил по кругу мех с водой. Поденщики бесцельно потряхивают кайлами, топорами и мотыгами, чертят ими на пыльной земле, царапая утоптаный щебень, треугольники и квадраты. Городских проныр-перекупщиков, что обычно перехватывают у крестьян, приехавших на базар, провизию оптом и продают в розницу, тех и вовсе не видать! Светопреставление. И все молчат. Молчат!

Кто известил их, что сегодня в царском дворце будут судить Омара Хайяма?

- Почем халва?- спросил неузнанный (или узнанный?) визирь у торговца сладостями.

- Халва?- задумчиво переспросил тот.- А, халва.- И яростно рывкнул:- Какая халва? Нашел время! Иди отсюда.

*Тому, на чьем столе надтреснутый кувшин
С водой несвежей и черствый хлеб один,
Приходится пред тем, кто ниже, гнуться
Иль называть того, кто равен, "господин".*

- Но, если хочешь, бери так,- сказал примирительно торговец сладостями.- Все равно жизнь не станет слаще.

*Как долго пленными нам быть в тюрьме мирской?
Кто сотню лет иль день велит нам жить с тоской?
Так в чашу лей вино, покуда сам не стал ты
Посудой глиняной в гончарной мастерской!*

Нет, не все тут молчат! По углам площади, там и сям, поодаль, идут скупые разговоры.

*Скажи, за что меня преследуешь, о небо?
Будь камни у тебя, ты все их слало мне бы!
Чтоб воду получить, я должен спину гнуть,
Бродяжить должен я из-за краюхи хлеба.*

- Когда ввели новый календарь, чуть полегчало. А теперь все опять завертелось по-старому...

Прекрасно воду провести к полям,

Прекрасно в душу свет впустить - в отраду нам!

И подчинить добру людей свободных

Прекрасно, как свободу дать рабам.

- Мы, простонародье, до сих пор не имели своего голоса. Могли только в баснях, песнях и молитвах, придуманных другими, изливать радость и горе. Фердоуси? Он был велик, спору нет, но он воспевал царей. Третью жизни ухлопал, чтоб их прославить. А найдите у Омара хоть строчку... он развенчивает их, где может.

Венец с главы царя, корону богдыханов

И самый дорогой из пресвятых тюрбанов

За песнь отдал бы я, за кубок же вина

Я б четки променял - цепь черную обманов.

- И только-только мы обрели в Омаре свой голос, как нас уже хотят его лишить.

Попрекают Хайяма числом кутежей

И в пример ему ставят непьющих мужей.

Были б столь же заметны другие пороки -

Кто бы выглядел трезвым из этих ханжей?

- А мы - молчим. Почему? Государство держим на себе! Рухнет без наших рук.

Восстань! Пригоршню праха кинь в очи небесам,

Конец надеждам, страхам, молитвам и постам!

Люби красу земную, земное пей вино,-

Никто не встал из гроба, но все истлели там.

Визирь, потемнев, поспешил во дворец. Нельзя! Опасно. Им дай только повод: всю столицу разнесут. Надо успеть исправить то, что еще можно исправить.

Что ж, судите! Чем вы можете меня запутать? Как же вы плохо знаете Омара Хайяма...

Отнимете дом в Нишапуре, скудный скарб? Берите! Это вы, случайно разбив дешевую миску, обливаетесь слезами, будто вас постигло великое бедствие. А я готов сам свалить все в кучу и сжечь вместе с домом, если вещи станут мне в тягость.

В темницу хотите упрятать? Хе! Разве я и без того с детских лет не в темнице? Сажайте. Будет чуть теснее, и только. Те же глухие стены, которые не пробьешь головой, и те же глухие душою смотрители, которых не прошибешь человеческим словом. Тюрьмою нас, на Востоке, не удивишь. Сидел в тюрьме великий Абу-Али ибн Сина. Сидел великий Абу-Рейхан Беруни. Отсидит свое и Омар Хайям. В одиночестве? Пусть. Для бесед мне достаточно самого себя. Это вы, сойдясь во множестве в круг, не знаете, что друг другу сказать, и несете всякую чушь,- ведь сказать-то нечего.

Снимете голову? Снимайте! Раз уж у вас есть такое право. Я не дрогну. Ибо мне - не страшно.

Человек рождается от других и живет для других, но умирает каждый за себя. И другие, хоть они вдрызг разбейся, не могут вернуть его к жизни, когда приходит срок. Ускорить смерть - на это вы способны. Но ведь она все равно неизбежна! Десять лет раньше, десять лет позже... что из того? И мало ли людей умирает, едва родившись...

Так какой же в этом этический смысл - торопить, подменять событие, которое и без вас произойдет в свое время?

Никакого. Все равно, что пугать юную девушку, только что вышедшую замуж, что через девять месяцев она непременно родит и ей при этом будет больно.

Что бессмысленно, то не страшно. И, выходит, смерть - самое глупое наказание, которое человек придумал в острастку другому человеку.

Хуже - пытка...

Как далеко и далеко ли ушло человечество со дней творения, можно судить по одной любопытной штуке: при дикости люди пытали друг друга огнем, острым камнем и заостренной палкой;

в античной древности - огнем, камнем и медью;

сейчас пытаются огнем, камнем и железом.

Чем будут пытаться через тысячу лет?

Найдут чем! Сообразно высоким достижениям своего времени. Вот когда они перестанут пытаться друг друга, можно будет сказать, что люди стали людьми.

...Так готовит себя Омар к предстоящей расправе. Что остается, кроме как думать, если вокруг, бряцающая стальным оружием, идет свирепая стража? И если единственное твое оружие - мысль? И ты еще способен мыслить, пока не отрубили голову?

Ум ограниченный воспринимает вещи и явления с одного боку - сверху, снизу, сзади, всего лишь такими, какими их в данный миг видит глаз; ум глубокий не доверяет видимости, он подвергает вещь исследованию со всех сторон, чтобы точно определить ее суть и место в ряду других вещей, связь с ними.

Но готовность к любому наказанию отнюдь не значит, что Омар согласен с ним, принимает его покорно. Нет! Он возводит смерть и страдание из разряда дешевых обывательских ужасов в сферу высоких метафизических понятий. И это пока что и есть его бунт против насилия.

- То, что вы затеваете, бесчеловечно! - сказал он чалмоносцам, заполнившим престольный зал. - Или вы гут все умнее Омара Хайяма, чтоб над ним издеваться?

Туркан-Хатун отсутствует. Вместо нее Изз аль-Мульк. Здесь и тот беззубый старик, что возился на днях с малолетней девчонкой, - он оказался, представьте, верховным судьей государства...

Что они знают о человечности? Они даже не поняли его.

- Мы судим тебя по закону.

- По какому закону?

- По тому, который существует у нас.

- Кто его выдумал?

- Уж, конечно, не ты.

- Ну, и судите по нему сами себя и себе подобных! У меня - другие законы, и я по ним сужу себя сам.

- Он не уважает нас! - взвизгнул верховный судья.

- Было б за что...

Суд не тянулся долго. Ибо здесь все решили заранее. Приговор гласил:

"Поскольку шейх Абуль-Фатх Омар сын Ибрахима является еретиком и отступником, не поддающимся увещаниям и внушениям со стороны высшего духовенства, бунтует в своих зловерных стихах против неба, бросая ими вызов богу и смущая умы правоверных... - он подлежит умерщвлению чрез отсечение головы".

Одобрительный гул благонравных шейхов.

Поэт, весь белый, потерянно оглянулся и, не встретив ни в чьих глазах сочувствия, бросил отчаянный взгляд на раскрытый выход, будто примериваясь, нельзя ли ринуться и прорваться. И увидел за бархатной завесой, у ног рослых стражей с обнаженными мечами, глуповатое круглое лицо.

А! Та, с мокрым вздернутым носом. Видно, нос у нее никогда не просыхает. Она одна глядела на него с приязнью. Омар по-приятельски мигнул ей. Она изумленно захлопнула рот, резко оттянув этим нижние веки, - глаза испуганно выкатились.

"Но, принимая в расчет, - каких трудов стоило это "но" Иззу аль-Мульку, уstraшенному тем, что он видел и услышал нынче утром, - его былую близость к царскому дому, высокое собрание находит возможным заменить ему смертную казнь незамедлительным выдворением из столицы. Отныне и навсегда означенный шейх Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима, изгоняется из Исфахана. Жить ему надлежит в Нишапуре, под неусыпным надзором духовных лиц, в доме, оставшемся от родителей".

"Да не будет никто из нас лучшим! - говорили когда-то жители Эфеса. - Не то пусть он живет в другом месте и у других". И отправляли своих наиболее видных сограждан в изгнание. Об этом рассказывает Аристотель.

По Геродоту, милетский тиран Фрасибул, в ответ на вопрос коринфского посла, как он добивается в своем государстве всеобщего послушания, многозначительно оборвал, растер и выбросил все самые спелые колосья на хлебном поле.

Ибн-Фадлан, не столь давно побывавший у волжских булгар, пишет о них:

"Когда видят они человека подвижного и сведущего в делах, то говорят: этому человеку не место среди нас, ему приличествует служить богу. Посему берут его, надевают на шею веревку и вешают на дереве".

Вот теперь он им скажет! Все, что думает о них. Он провел по лицу ладонью. И будто стер ею решимость. Что говорить? И зачем? Бесполезно.

- Да, конечно, - вздохнул Омар, - такой человек, как я, неудобен для вас. Ну, что ж, оставайтесь с теми, кто для вас удобен! А я уйду. Но запомните: меня для вас больше нет. Слышите? Меня для вас никогда больше нет.

- И слава аллаху! Мы, в нашей благословенной исламской стране, обойдемся без хитрых математиков, строптивых астрономов, безбожных лекарей.

Проходя мимо трапезной, подготовленной к большому пиршеству справедливейших судей, Омар завернул в нее, взял со столика полный кувшин вина, дал по шее недовольно заворчавшему слуге, хлебнув изрядный глоток, вышел с кувшином на террасу дворца.

Вот оно, то самое небо, из-за которого столько шуму на земле!

Холодное, чистое, легкое. На душе от него хорошо. Понимаешь, что ты - частица Вселенной.

Омар, обливая вином бородку и грудь, запрокинул дно кувшина.

И эти обрюзгшие, беззубо сюсюкающие старикашки, что двух внятных слов не в силах сказать, толкуют о небе, которое и разглядеть-то не могут слепыми глазами!

...В мозгу Омара ослепительно вспыхнул серебристо-белый сверкающий шар исходного вещества, не выдержавший собственных внутренних сил и в блеске исполинских, во все небо, синих, алых, зеленых, желтых молний распавшийся в дым, в клокочущий пар, в неуловимый

горячий эфир. И понеслись, разбегаясь, по пустому пространству, величину которого невозможно даже представить, как от глыбы, рухнувшей в воду, бешено крутящиеся волны пылающего ветра.

Небо, небо, небо!

Уже который век, корчась и брызгая слюной, богословы на своих шумных сборищах выступают от его имени, выдают себя за посредников между небом и людьми.

Небо! Небо!! Небо!!! Чем, дармоеды, вы причастны к небу? Тем, что зря коптите его? Если вы и причастны к нему, то гнусной причастностью злых насекомых, тучей летящих на зеленые земные поля. Саранчой именуется те насекомые.

Кто из вас способен вообразить, как первобытный огненный вихрь, улетающий, дико вращаясь, в черную бездну, рвется, бушует, на клочья пламени и раскаленных облаков? Как они, жадно сжимаясь, смыкаются в ядовитые багровые скопления? И как эти жаркие скопления, мрачно извиваясь, грохоча и дымясь, сливаются в звезды?

С каким важным видом собираетесь вы в свой тесный круг. С каким умным видом несете заведомую чушь, восхваляя, воспевая и славя царскую власть. Чьей опорой, конечно, является не что-нибудь, а само лучезарное небо. Не краснея за свое раболепие, не стесняясь неуместно громких слов,- что загляни кто-нибудь из не столь уж отдаленного будущего и скажи: все ваши представления - бред, вы все уже обречены, скоро всем вам конец вместе с вашей богоданной властью,- вы разорвете его на куски!

Но что они, эти убогие сиюминутные страсти, перед миллиардами лет, повисших во Вселенной? И чего стоит ваше ничтожное государство, которым любой ничтожный правитель-самодур может вертеть, как взбрдет в тупую башку?

Год 1092-й.

Кара-китаи разобьют сельджукское войско в Катванской степи 49 лет спустя. Род сельджукидов прекратится через 65 лет, род караханидов - через 120.

Чингисхан нагрянет через 127...

Омар опять приложился к расписному кувшину.

- Эх!- кто-то шепнул у него за спиной. А, это Амид Камали.- Жить не умеешь. А мог бы! При твоём-то уме, при твоих знаниях. Я бы...на твоём-то месте...

Холодный, едкий, трезвый ум и жаркая пьяная кровь... Что может Омар с ними поделаться?

- Сделай, братец, хоть что-нибудь путное на своем! На чужом-то месте всякий горазд гору Ширкух свернуть. Если б верблюду выпрямить шею, сгладить горб, укоротить ноги и удлинить уши, из него бы тоже получился хороший осел.

- Верблюд,- усмехнулся Амид,- конечно, силен и велик, зато у осла - громче крик.

- Ну, и кричи себе, покрикивай! Во славу аллаха. На, отнеси,- он, качаясь, сунул ему пустой кувшин.- Чтоб меня не судили еще за кражу царского имущества.

Но затем он сам побрел к трапезной, кивком оторвал Изза аль-Мулька от скатерти.

- У меня нет на дорогу. И в Нишапуре первое время не на что будет жить. Дай хоть пятьсот-шестьсот динаров. Верну когда-нибудь.

- Не могу,- нахмурился Изз.

- Не можешь? Ну... что ж.

Он спокойно, еще не зная, как быть ему теперь с деньгами, пошел в келью. Не торопясь, сложил в свою старую суму лучшие книги.

И, стойко, не дрогнув, выдержавший позорный суд, взбесился на пустяке: никак не мог попасть в закрутившийся, вывернутый рукав узорного халата, который ему когда-то, сняв с собственных плеч, преподнес великий царь.

- А-а, ты тоже?- зарычал он в бешенстве.- Ты... тоже. Н-ну, нет! Я не стану бороться с тобой как с равным. Потому что я человек, поэт и ученый. А ты - вещь, тряпка, ветошь. И служить не буду тебе. Выправлять, отряхивать да оглаживать. Что дороже - паршивый парчовый халат или душевное равновесие?- Халат был тяжелый, расшитый золотом, из прочной ведарийской ткани - той самой, о которой он мечтал в Самарканде. Омару не удалось разодрать его руками. Он, дико оглядевшись, схватил нож - и, скрипя зубами, располосовал дорожную одежду на клочья. Пнул обрывки, плюнул на них.- Вассалам! И с концом.- Провел ладонями по лицу, взял суму - и ушел, освобожденный, в нищету и безвестность.

Часть третья

Падающий Орел

*О, если б каждый день иметь краюху хлеба,
Над головою кров и скромный угол, где бы
Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть,-
Тогда благословить за счастье можно б небо.*

- Омар Хайям? А! Тот, который... разве он еще не умер? Говорили, будто...

Нет, жив Омар!

Пока человек одаренный жив, никогда не следует говорить, что он вот это сумел, а то - не сумел. Все равно как упрекать художника, едва приступившего к изображению, что он не написал рук, ног, чьих-то глаз. Погодите! Дайте ему развернуться. Нарисует, когда очередь дойдет до глаз.

Сколько царей Омар пережил: Тогрулбека, Алп-Арслана, Шамса аль-Мулька, Меликшаха,- где они теперь, те, что гремели на весь мир?

- Вот оно как!- Туркмен Ораз, которому во дворце поручили проследить, чтобы Омар не укрылся в городе и ушел восвояси, провожал опального звездочета до Кумских ворот.- Вот оно, значит, как. Если уж мир возьмется кого-нибудь травить, то он весь, от высоких властей до последних подонков, ретиво, даже со сладострастием, берется за это. И чего бы тебе - не... трах в прах жадную суку Зохре? Баба как баба.

- Дело не в самой Зохре,- вздохнул Омар.- Она хороша. Если вымыть. Дело в тех, кто за нею. А их я не могу "трах в прах". Противно. И много их, не управлюсь.

- Вот и шагай теперь без единого фельса до Нишапура!

- Дойду когда-нибудь. Буду в селениях читать коран, гадать по звездам. Я захватил с собой астролябию. Не пропаду.

Но власти делали вид, что Омара нет.

Раз уж ты не ходишь на молебен в общем стаде правоверных и, что хуже всего, имеешь собственное мнение о вещах, то сиди в сторонке с собственным мнением.

- Оно так. Но я, старый головорез Ораз, не могу допустить, чтобы такой большой человек брел по дороге, как нищий.- Он отвел Омара в сторонку, сунул в руки тяжелый мешочек.

- Что тут?- удивился Омар.

- Пятьсот золотых. Я давеча слышал твой разговор с Иззом аль-Мульком, был у дверей на страже. И это - визирь! Тут... старые наши вояки... скинулись, кто по динару, кто по два или три.

- Не возьму!

- Бери, бери.

- Когда я их верну? И сумею ли когда-нибудь?

- Чудак! Это мы возвращаем тебе свой долг.

- За что?

- За мешок зерна,- помнишь Фирузгондскую дорогу? Ну, и за работника, вашего, как его - Ахмеда, хотя он, паршивец, и трех фельсов не стоил. Уж ладно, пени многоросло,- если с пеней считать...

...Омар отложил перо. Заложив усталые руки за усталую спину, он вышел во двор. Весна. Абрикосы цветут. Хорошо ему здесь, одному, в отчем доме.

Почему человек, чтобы кем-то быть, должен непременно принадлежать к какой-нибудь вере, секте, клике? Если он - личность, он, оставаясь самим собою, может быть личностью.

Но нет, клика не даст ему спокойно жить! Воры сбиваются в шайки. Изуверы - в секты. И так далее. Потому что каждый из них, сам по себе, ничто, ни к чему не способен, он себя не может прокормить. А в шайке или секте, суется вместе со всеми и делая вид, что он тоже что-то делает, он может жить за счет других.

И тот, кто хочет быть самим собой и не хочет служить шайке, секте, клике, обречен на замалчивание. Ты желаешь жить в своем гордом одиночестве? Живи. Но, если тебе будет худо, мы, знай, ничем не поможем.

Омар и не нуждается в их помощи. Пятьсот динаров - крупные деньги, их может надолго хватить. Если беречь. Поневоле тут станешь скупым. Спасибо Оразу! Старый чудак даже всплакнул на прощание. Вот оно как бывает. Когда-то встретились врагами - теперь расстались друзьями.

И живет себе тихо Омар один в своем просторном доме, никого к себе не пуская и выходя лишь за покупками. И ни к кому не набиваясь: к мужчинам - в друзьясотрапезники, к женщинам - в мужья-любовники, к детям соседским - в наставники. Мир с вами! Дай вам бог...

Но вот до него дошел страшный слух из Исфахана: окрестное население, поощряемое священниками, уже ломает Звездный храм и растаскивает камень на свои нужды. Зачем им звезды? Обывателю-стяжателю собственный хлев, ограда, дровяной сарай дороже всех звезд, вместе взятых. Его Вселенная - не шире жилого двора с кухней и отхожим местом.

И Омар не выдержал. Как муж, налегке ушедший из дома и вдруг узнавший, что жена сошлась с другим. Он решил напомнить властям о себе. Вопреки своей угрозе никогда им больше не служить. Сколько лет, ума и сил он отдал Звездному храму! Чтобы спасти обсерваторию, он пойдет на унижение.

И взялся Омар за "Наврузнамэ" - свою самую яркую, молодую, весеннюю книгу.

Цель все та же: доказать превосходство солнечного календаря над лунным, по которому "сбор налогов приходится на такое время, когда урожай еще не созрел, скот далеко от хлебных полей, и потому люди испытывают мучения". Казалось бы, чего проще: кратко и точно, на трех-четырёх страницах, изложить свои соображения.

Но Омар-то знает, с кем имеет дело! Серьезный, дельный разговор, подкрепленный расчетами и выкладками, о выгоде, которую даст новый календарь царскому дому и народу, теперешние власти, при своем-то спесивом, непререкаемом невежестве, просто не поймут. Нет больше Низама аль-Мулька и нет Меликшаха. Даже собственной выгоды они увидеть не могут, где уж им думать о народной пользе?

Вот если б Омар написал, как изготовить волшебную дубину, способную вмиг, одним ударом, уложить десять тысяч вражеских воинов, одним мановением руки обратить чужой город в груды черепков или одним дуновением превратить черепки и битый кирпич в золотые монеты, тогда б они живо ухватились за его книгу.

Но, поскольку чудес нет, угостим их баснями, небылицами. Они страсть как любят и сами они со временем станут всего лишь пустой небылицей.

Ему, честно сказать, и самому осточертели углы и градусы, минуты, секунды, точные числа: давно хотелось отвязаться от их железно-строгих холодных линий, дать себе волю, погрузиться в мир свободного воображения. В мир сказок, красочных легенд, невероятных историй. Уж воображением-то, пылким, молодым и веселым, природа его не обделила. А в четверостишиях всего не скажешь. Они - та же математика.

И Омар щедро, от всей души, снабдил новую книгу фантазией, развлекательными рассказами, тонко перемежая их серьезными рассуждениями. Рассказами, подхваченными на базарах, в харчевнях, в караван-сараях; но большую часть их он выдумал сам. Подчас даже вразрез со своими научными представлениями.

О Золоте

...Говорят, если кормить малого ребенка молоком из золотого кувшина, он начинает хорошо говорить и нравиться сердцу людей, становится мужественным, предохранен от падучей болезни, не пугается во сне, и если ему помазать глаза сурьмой при помощи золотой палочки, глаза его избавлены от куриной слепоты и слезотечения.

Если связать ноги сокола золотой цепочкой, на охоте он будет более храбрым и резвым...

"Едва ли,- думал Омар.- Золотая цепь на ногах - тоже цепь. Уж какая тут храбрость и резвость".

...Я слышал от одного друга, словам которого доверяю, что в Бухаре была сумасшедшая, которую женщины позвали к себе и стали шутить над ней, играть и смеяться над ее словами. Ее нарядили в шелковое платье, надели на нее золотые украшения, говоря: "Мы выдаем тебя замуж". И когда женщина увидела на себе золото, она вдруг начала произносить вполне разумные речи, так что люди решили, что она вылечилась. Но когда с нее сняли все это, она опять стала сумасшедшей.

"Не знаю, так ли это,- усмехнулся Омар.- Скорее, разумный свихнется, если его всего увешать золотом. Что мы и видим на частых примерах".

О Перстне

Говорят, что однажды царь Ездегерд сел на каменную скамейку дворцового сада и надел на палец бирюзовый перстень. Вдруг прилетела стрела и попала в камень перстня, который разлетелся вдребезги...

Немного времени спустя он умер, и его династия прекратилась.

"Из-за перстней с дорогими камнями да роскошной одежды и прикончил его какой-то разбойник, когда Ездегерд, разбитый арабами, скитался один в окрестностях Мерва".

О Ячменных Ростках

Ячмень годен и для еды и для лекарства. Это пища мудрецов и отшельников.

Врачи называют ячменную водку благословенной водой. Она полезна против двадцати четырех известных видов болезней, среди которых: ожог, воспаление легких, лихорадка, тиф, кашель, горячка, сухотка, чахотка, запор, водянка. Она полезна для примочек мошонки, головы, груди, боков, печени, желудка, при переломе костей, подагре, а также против глистов. Ячменное масло уничтожает желтую чесотку, а пшеничное - черную.

Если у кого судороги в ногах, ему нужно поставить ноги в ячменную водку...

Здесь Омар сказал, что думал.

И, поскольку судорог в ногах у него не было, то, закончив эту главу, он пропустил чашу ячменной водки внутрь.

О Мече

...Если посмотреть с умом, то станет ясно, что дела вселенной зависят от страха и надежды, а страх и надежда зависят от меча, так как один человек стремится при помощи железа осуществить свои надежды, а другой человек бежит от железа, и страх является его охранителем.

"Разве не так?.."

О Пользе Вина

Ученые лекари Гален, Сократ и Гиппократ, Абу-Али ибн Сина... говорили, что для организма людей нет ничего более полезного, чем вино, в особенности виноградное, горькое и процеженное.

В нем много пользы для людей, но грех его больше пользы.

Запрет вина - закон, считающийся с тем,

Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем

Когда соблюдены все эти оговорки,

Пить - признак мудрости, а не порок совсем.

Мудрому нужно пить так, чтобы вкус его был больше греха, чтобы не мучиться. Упражнением он доводит свою душу до того, что с начала питья до конца от него не происходит никакого зла и грубости ни в словах, ни в поступках, а только добро и веселье. Когда он достиг этой ступени, ему подобает пить вино.

"Ну, что ж. Здесь тоже есть какой-то смысл. И, пожалуй, немалый. В конце концов, во всех делах нужна этика, в питье - тем более". Но сам он теперь стал все чаще воздерживаться от вина. Лучше пить помалу ячменную водку - от нее не так хвораеть.

А казалось бы: южанин, вырос, можно сказать, на винограде. Но перебродивший виноградный сок ему уже противопоказан. И был всегда, если уж честно признаться, противен. Отравя, честно сказать! Нутро от него чернеет, мутнеет кровь. В голове муть, глаза наливаются кровью.

И все же Омар,- неуравновешенный, страстный, человек настроения,- прибегал, случалось, к нему. А к чему же еще? К труду? Благородно, конечно. Но кому нужен его труд?

Об этом он скажет в четверостишиях:

*Покуда не была мне чаша горьких бед поднесена,
И думать я не смел, чтобы хлебнуть когда-нибудь вина,
И хлеб в солонку не макал, пока не подавился
Я сердцем собственным, сожженным дочерна.
Мы пьем не для того, чтобы раздуть веселье,
И не разнужданность себе мы ставим целью,-
Мы от самих себя хотим на миг уйти,
И только потому к хмельному склонны зелью.*

...И так далее. обстоятельно, с глубоким знанием дела, о разных винах, кому какое подходит, какое - нет, как устранить его вред. О солнечном календаре, об обычаях старых царей Ирана. О признаках кладов, о видах мечей. О стреле, о луке, о пере и его свойствах, о породах коней, о соколе и его достоинствах, о свойствах красивого лица.

Язык "Наврузнамэ" - простой, без ухищрений, краткий и точный, всем доступный. Читаешь, не отрываясь, от первой до последней страницы.

Но до последней страницы еще далеко! Книга получалась обширной, переполненной красочными примерами. Всю весну и лето Омар трудился над нею.

Вставал на рассвете, слушал пенье дроздов на деревьях. Оно обновляет душу, нежно лаская ее усталые фибры,- словно дочь, которой у тебя никогда не было, говорит с тобой затейливым птичьим языком. И, вздохнув, он садился за рабочий столик. Писал, пока не начинало ломить кисть руки, сводить судорогой пальцы.

Отодвинув перо, долго разминал и растирал руку. Выпивал чарку ячменной водки. Ел раз в день, где-то около трех-четырёх часов. Лишь бы не обессилеть.

Еда сама себя варит. Знай, подкладывай дров под котел и в срок, что следует - в котел. Дело нехитрое. Омар отваривал кусок дешевого мяса с костью, затем клал в отвар цельно-очищенную репу, морковь, капусту, или тыкву кусками, или мелко нарезанный лук, иногда - горсть маша, риса, фасоли, сухой лапши. Главное - крепкий мясной отвар. В него хоть опилки сыпь, все равно будет вкусно и сытно. Особенно, если добавить чесноку, бросить стручок-другой красного жгучего перца, побольше разной острой и пряной травы.

Он не привык баловать свою утробу, носиться с ней как со средоточием мира. Наполняется живот - пустеет голова. Не соблюдал постов, строгих часов приема пищи и прочих охранительных мер. Ел, когда хотел и что имелось под рукою,- и желудок, зная свое место, довольствовался тем, что ему давали. Он служил хозяину верой и правдой и никогда не подводил его. Желудок, спору нет, весьма важный орган. Но выше него, слева, потрогай - горячее сердце, а выше сердца - голова.

Конечно, если к тому была возможность, он не отказывал себе. Хотелось кур или жареной рыбы - ел кур и рыбу, хотелось отменного вина - пил его. А уж когда исчезала такая

возможность, не роптал, как иные. Терпел, не то чтобы радуясь тому, что есть, но и не терзаясь тем, чего нет. Атараксия!

Потому-то, наверное, и был он всегда здоров. Никто не видел, как он ест. И люди считали, что не ест он с ними потому, что презирает их, что ли. Нет! Он просто стеснялся есть при них. Ведь это все-таки грубый, животный акт.

Его идеал: торжество пытливого разума над сытым брюхом. Пытливый разум - ненасытен, ибо нет предела знанию. Сытое брюхо, как это ни смешно, тоже ненасытно, каким бы жирным оно ни раздувалось,- ибо нет предела его жадности. Но пытливый разум - признак человеческий. Ведь человек - это разум? Прежде всего. Сытое брюхо - признак скорее животный, скотский, и кто служит ему и только ему - угнетает человеческий разум. Следовательно, человеком имеет право именоваться лишь тот, кто служит человеческому призванию: думать.

Калитку Омар держал всегда на запоре. Ночью свеч не зажигал, чтобы не привлечь на огонек кого-нибудь из назойливо любопытных и праздноходящих.

...И вот - последние строки:

"Эта книга окончена хорошей приметой - красивым. лицом, для того, чтобы она была благословенна и для писателя, и для читателя. Окончена с помощью аллаха и благодаря прекрасному его содействию. Господи, оканчивай добром, счастьем и здоровьем".

Он переписал ее своей рукой, отнес переплетчику. С готовой книгой пошел к окружному правителю.

- Поскольку мне запрещено бывать в Исфохане, я не могу ее сам преподнести великой царице. Я слышал на базаре, ты едешь на днях в стольный город. Не передашь ли "Наврузнамэ" кому следует?

Слава богу, окружной правитель, человек нестарый, не успевший очерстветь и пока еще не боящийся собственной тени, оказался одним из прежних учеников Омара. Обниматься и целоваться с бывшим учителем своим он, конечно, не стал. Но и не накричал на него, не вытолкнул вназад. Что уже само по себе удивительно.

- Хорошо, передам,- сказал он сухо.- Коран говорит: "Не гони просителя".

- И на том спасибо!

...И потянулись дни тревожного ожидания. Деньги подходят к концу. Теперь уже не до ячменной водки. Пей ключевую воду. И рис отваривай на пустой воде. И где его взять, рис? Дали б они ему хоть немного за книгу...

Хоть мудрец - не скупец и не копил добра,-

Плохо в мире и мудрому без серебра.

Под оградой фиалка от нищенства никнет,

А богатая роза красна и щедра. - Повесть ваша развлекла царицу и мудрых ее приближенных,- сообщил, вернувшись, окружной правитель.- Она достойна самой высокой награды. Но его светлость визирь Изз аль-Мульк - да поможет аллах ему в делах!- соизволил ее удержать. В счет ваших долгов Сельджукскому государству.

- Каких таких долгов?

- Разве вы забыли, учитель, сколько денег получили за восемнадцать лет на строительство вашего Звездного храма? Из уважения к памяти отца визирь не будет взыскивать с вас весь долг. Он прощает его. Но стоимость "Наврузнамэ", которую определили в пять тысяч динаров, остается в царской казне. Если б вы повинились, упали в ноги царице. Может, она и простила бы вас.

- Я перед нею ни в чем не виноват! Но, если хочет, пусть приедет - мне-то в столицу нельзя. Может, и упаду.

- О боже!- пришел в ужас окружной правитель.

- А если Звездный храм - мое личное достояние, я пушу его на слом и выручу за камень и прочее хоть часть затраченных средств.

- Нет больше Звездного храма! Без вас разломали и растащили.

- Уже?- Омара будто зимней каспийской волной в лицо и грудь хлестнуло. Зачем? Ради чего он хлопочет? Ради блага людей, которые знать не хотят какого-то там Омара Хайяма? Кому прибавили ума его математические трактаты, кого спас от беды самый точный в мире календарь? "Чтобы она была благословенна". Как уж для читателей, бог весть, но для самого писателя книга его благословенной не оказалась. И ни бог ему тут не помог, ни лицо красивое. Пригодились бы эти пять тысяч! У Омара оставался один динар. Всего один динар, хоть и полновесный, золотой.- Н-ну... ладно. Пусть будет так.

...Один динар. Золотой, полновесный. Его можно враз пропить в кабаке. И умереть с голоду. Или прожить на него сколько-то дней. И уж затем умереть.

Ну, что ж. Не я виноват, что вы превратили жизнь в дурацкую потеху,- будем дурачиться! Я принимаю условия игры.

Как надоели мне несносные ханжи.

Вина подай, слуга! Нет денег? Заложу

Тюрбан мой в кабаке и мой моленный коврик,-

Не только на словах я враг всей этой лжи.

Разбив у менялы на базаре свой последний динар на дирхемы. Омар направился к харчевне с негласным названием "Увы мне", где собирались писцы-каллиграфы, художники-миниатюристы, певцы, музыканты. Народ озорной, жизнерадостный. Свободное поведение, веселость нрава и полнейшая беззаботность.

Поэтов, достойных уважения, вокруг Омара не было,- панегиристы, придворные стихоплеты, он их не любил. Всякая сошка, едва ухватившись за краешек власти, спешила обзавестись собственным славословом. Даже окружной и городской правители. И даже чуть ли не каждый квартальный староста. Уж так им не терпелось угодить в анналы. И славословь! находились!

Омар любил живописцев. Они изображают сады, луга, цветы, влюбленных. Люди душевные, честные, вольные духом, они, конечно, не прочь гульнуть, зато верны в дружбе, приветливы.

Законопослушный обыватель, так называемый "порядочный человек", трусливо пройдет на базаре мимо сытого верзилы, который избивает голодного ребенка, укравшего лепешку. Пусть мухтасиб разбирается! Художник не станет ждать. Пока суд да дело... Он полезет в драку, даже с риском быть искалеченным. Даже с риском быть затем ославленным, как пьяный забияка.

...Служитель у входа в харчевню, поставленный затем, чтоб охранять ее от внезапного налета блюстителей нравственности, без разговоров пропустил Омара. Хоть и не знал его. Видно, чутьем уловил, что он свой. А может, и знал.

Подвал, битком набитый, встретил поэта, спускавшегося по мокрым каменным ступеням, восторженным ревом:

- О-о-о! Омаррр...

- Сюда, Омар, сюда!

- А, Салих! Как живешь?

- Как мы живем? Спим - стонем, едим - давимся, пьем - захлебываемся. Все спешим. Куда? В рай. Куда же еще.

Омару тотчас же поднесли большую чашу вина.

- Нет, спасибо. Я лучше - ячменной водки.

С чаркой водки он прошел в дальний угол, влез на помост, уселся один в стороне от всех.

Он неприветлив и скуп на слова не потому, что застенчив, косноязычен, он просто боится выболтать на воздух то, что хочет сказать в своих книгах. Воздух уносит слова, бумага их держит.

Они же ждут от него каких-то оглушительных изречений. И глядят, как на диво какое-то. Будто удивляются, почему у него на голове нет золотых рогов.

Нет, Омар не сыплет стихами на ходу, направо и налево, к месту и не к месту. Он пишет и читает их тогда, когда они нестерпимо жгут изнутри: не напишешь - отравят кровь, не произнесешь - сердце разорвут.

...Подвал гудел от разговоров. Тут безбожно, как и водится в этих местах, где каждый толкует о своем, мешая в кучу выдумку и правду, верное и ложное, злое и доброе, со смехом бранили все на свете. Хочешь - соглашайся, не хочешь - нет. Никто не станет вдалбливать свои убеждения в твою голову кулаком или дубиной -

- Если судить по "Ригведе"...
- Я ей, дура, говорю...
- То...
- Почему не приготовила поесть?

- Лучше уж ничему на свете не верить, это никому не вредит,- чем с упрямой скотской тупостью исповедовать ту или иную изуверскую блажь.

...Не спеша пропуская одну за другой чарку целительной ячменной водки и заедая ее сочной редькой, посыпанной солью, Омар, усмехаясь, слушая шумный разговор, то перекидывавшийся от одной кучки пьянчуг к другой, то распадавшийся на множество отдельных узких бесед. Хаос.

- Ничтожный век рождает ничтожных людей с ничтожными страстями. Такие же, как Омар,- они словно с другой планеты.

К Омару подсел какой-то человек.

- Правда, что ты Омар Хайям?

- Нет, что ты? Господь с тобою. Однофамилец. Проходу мне из-за этого нет. Тот давно уже спился и умер. Я с ним встречался, мир его праху. Замечательный был поэт.

- Хвастовство - хуже предательства. Самообман. Бахвальство властей переходит в бахвальство подданных. И все, черпая силу в собственном хвастовстве, как бы блаженно

задремывают, надеясь на эту туманную силу: мол, попробуй, тронь. И когда их, блаженно полусонных, начинает кто-то, и впрямь сильный, яростно бить, они - хватать!- а силы-то нет, вся изошла в безудержном бахвальстве.

Предатель - тот предает других. Пустой бахвал - самого себя.

...Между помостами бродил откуда-то затесавшийся калека и всем рассказывал, путаясь, как он храбро сражался в таком-то году с византийским кайсаром Романом Диогеном.

Это случилось столько-то лет тому назад, и война та длилась столько-то месяцев, а ему теперь уже шестьдесят,- и все-таки, видите, самым ярким и, пожалуй, единственно ярким воспоминанием в его жизни было, как он тогда убивал и как его покалечили.

Неужели без войны жизнь у него так и прошла бы, с первых дней до последних серой, скучной, так, что и нечего вспомнить? Удивительно устроен иной человек...

- Неистребимая жизнерадостность - еще не признак высокого ума! Кабан, предназначенный для заклания, тоже за час до смерти довольно хрюкает, переваривая жратву.

- У молодых поэтов зубы еще не прорезались, у старых уже выпали. Потому-то нынче сплошь беззуба наша поэзия. Один Омар Хайям зубаст. И тому, видит бог, скоро выбьют его острые зубы...

"Может, и впрямь поклониться Зохре? Не убудет тебя.- Он уже немного жалел, что оттолкнул ее.- По всему видать, она пойдет на сделку! Э!- Омар скривился от омерзения.- Я не могу собой торговать!

Вот если б найти Ферузэ... Она где-то здесь, если жива. Сколько же ей теперь?"

- Персы - народ удивительный. Рыжий деспот Искандер Двурогий жег их священные книги, ломал их храмы. Арабы подвергли их страну разгрому. Теперь сельджукиды терзают ее. А они живут, говорят на своем языке и сочиняют стихи, самые певучие в мире.

- Арабы, видать, люди все ученые.

- Почему?

- Потому что все умеют говорить по-арабски.

- Ха!

- Абу-Рейхан Беруни был велик, спору нет,- но жаль, он презирал свой родной хорезмийский язык и персидский не признавал: "Поношение по-арабски мне милее, чем похвала по-персидски". Мол, персидский годится лишь для сказок ночных.

- Что поделаешь, если повсюду засилье арабского языка? Без него в люди не выйдешь. Суть не в том, на каком языке писать. А в том, чтобы владеть языком, на котором пишешь, в

совершенстве. Быть в нем, как птица в воздухе, рыба в воде, держаться свободно и естественно, без потуг,- чтобы ты им владел, а не он тобой, понятно? И все можно простить Беруни за его великие слова:

"Да покарает аллах всех тех, кто радуется, причиняя мучения другому существу, одаренному чувствами и не приносящему вреда!"

- Люди придумали бога, чтобы оправдать свое бесцельное существование. Мол, сотворил нас господь, потому и живем, что тут поделаешь. И не хотят п пальцем шевельнуть, чтоб изменить свою жизнь к лучшему. Пусть бог ее меняет, если это ему угодно...

...У Омара в голове помутилось от этих разговоров! И, чтоб освежить ее, он попросил виночерпия принести ему еще один кувшинчик ячменной водки.

- Лишь дураки неизменны! Они всегда верны себе. Ведь сказано кем-то:

*Дурак, даже трезвый, всех пьяных тупее,
И пьяный - опять же он с тем, что имел:
Бывает, что умный, подвыпив, глупеет,-
Кто видел, чтоб глупый, хлебнув, поумнел?*

- В квартале Хире один человек решил сгоряча покончить жизнь самоубийством. Раздобыл он у лекаря яд, проглотил. Но яд оказался поддельным. Пришли друзья отпраздновать его чудесное спасение. И что вы думаете? Счастливчик умер, отравившись сластями, которые принесли гости.

- Бедным пьянчугам нигде ходу нет! Выйдет на улицу: или разбойник его изобьет и ограбит, или страж его схватит и деньги отнимет. Вот если б стражи как же ретиво хватали разбойников! Но нет, это рискованно - разбойник может ножом ударить. А пьянчуга - слабосилен, он и так на ногах еле стоит, его не опасно терзать.

- Страж - он и есть первый разбойник.

- Хуже!

- Вот пусть и режутся между собой, не мешают нам жить...

- Власть не прощает нам ни одного малого промаха, почему же мы должны ей прощать ее огромные ошибки и упущения?

- Она - власть.

- Ну, и пусть живет без нас,- мы без нее уж как-нибудь проживем.

Эй, послушайте! Я тоже стихи сочинил.
Ну-ка, ну-ка.

От злой жены удрать решил я в день ненастный.
- Уйдешь, я утоплюсь! - она вослед мне стонет.
Что делать? Воротился я, несчастный:
Забыл, что кое-что в воде не тонет...
- Ха-ха-ха!

"Сколько же лет Ферузэ?

Она... на тринадцать старше меня. Сорок пять плюс тринадцать...Ого! Старуха. Ну, все равно. Если найду, приведу к себе. Невмоготу стало жить одному".

Служитель у входа коротко свистнул. Шум в подвале сразу улегся. Разом исчезли чаши с вином, появились чаши с шербетом. Один из музыкантов затренькал на дутаре.

В подвал, как полный бурдюк в колодец, опустил свое брюхо, тяжело переваливаясь, носатый, усатый мухтасиб - блюстителю нравов. Сопровождавшие его четверо с палками остались наверху.

- Ассалам ваалейкум!- просипел мухтасиб.

- Ваалейкум ассалам!- дружно ответили бражники, стараясь напустить на себя самый невинно-трезвый вид.

Блюститель нравов подозрительно обвел глазами их опухшие лица, обратил грозный взор на хозяина харчевни, склонившегося в угодливом поклоне.

- Пожалуйте, ваше степенство! Пожалуйте.- Хозяин харчевни, кланяясь на ходу, почтительно проводил его под руку на кухню. Все замерли. Там что-то звякнуло.

Мухтасиб с важным видом вынес брюхо из кухни и, ни на кого не глядя, понес его к выходу. Хозяин все так же поддерживал его под руку.

- Вымогатель,- сплюнул хозяин харчевни, проводив блюстителя нравов.- Он меня разорит! Пять динаров содрал. И так почти каждый день. Тьфу! Продолжайте, друзья. Он больше сюда не придет.

И сразу будто ладони отняли от ушей,- в них снова хлынул звон чаш, веселый смех, разговор.

- Ты дерешь с нас, он дерет с тебя. С него тоже кто-то дерет. Только нам, несчастным, не с кого драть,- что заработаем своими руками, на то и пьем...

- Всю жизнь терзая мою душу, не забывали заметить, что это - мне же на пользу; как будто я сам не знаю, что мне на пользу, а что - во вред. Я-то себя знаю лучше других. Им не влезть в мою шкуру.

- Человеческая жизнь ничего не стала стоить. Никто уже ни в чем не уверен: ни в себе, ни в жене, ни в друге, ни в завтрашнем дне.

- Девчонка, мудрая, как старуха,- это ужасно! Но еще ужаснее старуха, глупая, как девчонка...

В другом углу:

- Нынче курица кудахчет громче прежних, но яиц не несет. А снесет одно убогое яйцо - где-то бросит его и забудет, где.

- Один известный человек случайно ушиб ногу и прошел по улице хромя. Другой увидел его в этот единственный, первый и последний, раз. Тот уже на следующий день перестал хромать. Но для этого он на всю жизнь остался калекой: "Он хромой! Я видел собственными глазами..."

"...А может, поехать в Ходжент, разыскать Рейхан? Ведь у меня есть на нее какие-то права... Но если она вышла замуж,- я ей сам разрешил,- и наплодила детей, вот уж к месту будет мое неожиданное появление! Нет уж, лучше старое не ворошить".

Дым, чад, звон чаш.

Поспели суп, и плов, и шашлык, и служители забежали с подносами между помостами. Но Омар не мог есть вне дома. И дома - лишь то, что приготовил на свой вкус, своими руками.

Здесь он пробавляется редькой.

К нему подсел носатый старик в ермолке и пейсах.

- Я знаю тебя. Когда-то ты помог нашему человеку.

- Кому же это?

- Помнишь Давида, сына Мизрохова?

- А! Как не помнить. Куда он тогда пропал?

- Он... не мог. Но мы - знаем. Ты обижен своими единовверцами. Видные люди зовут тебя в нашу общину.

- Я уже давно еврей,- вздохнул Омар.- Даже больше, чем вы все в своей общине. Так что можешь меня называть Амер Хаим.

- Это как же?- поразился старик в пейсах.

- Вы не зажигаете огней, не готовите пищу только в субботу. Так? У меня - каждый день суббота, всю неделю.

Старик в пейсах слез, возмущенно плюясь.

- Если пьет такой человек, как Омар Хайям, почему не пить нам, мелкоте?
- Знаешь легенду о Зевсе, который под видом быка похитил финикийскую царевну Европу?
Так вот, что дозволено богу, не положено быку...

- Не заносись, не обижай никого! Бог не бог, но есть на земле некий закон возмездия. Закон жизни. Она такова, что никого не обходит как своей милостью, так и немилостью. Каждый живущий, рано или поздно, хочет не хочет, подвергается ее жестокому удару. Так что те, кого еще не постигла беда, обязаны помнить, что непременно постигнет, и не должны злорадствовать по поводу тех, кого она уже постигла.

Говорит же Омар Хайям:

Не одерживал смертный над небом побед,-

Всех подряд пожирает земля-людоед.

Ты пока еще цел - и бахвалишься этим?

Погоди: попадешь муравьям на обед! - Хань, султаны? Они думают, власть - это только слава и честь. Не понимают, что власть прежде всегобольшая забота, долг и ответственность. Дорвутся и давай на голове ходить...

- Всем бы этим султанам да ханам - да под зад бы коленом, и власть вручить ученым да поэтам. Самые добрые, честные люди на свете. Простой народ поладил бы с ними, они - с простым народом. Свободный труд и свободный разум могли бы создать рай уже тут, на земле. Но законники вклинились между ними и не пускают друг к другу.

- Боятся, чтобы те не объединились. Ведь тогда их песенка спета.

- Поэты выше царей. Ибо царь властен над телом и имуществом человека, а поэт - над его душой.

- Со времен пророка прошло пятьсот с чем-то лет. Мир уже совсем другой, и люди - совсем другие. А улемы-законники все продолжают вопить: "Пророк, пророк! Он сказал то, он сказал это". И не видят, болезные, что они с пророком идут одним путем,- вернее, топчутся на месте,- а человечество давно уже ушло другим путем...

- Море? Абсурд! На земле, в этой проклятой сухой пустыне...

- Почему? На севере, юге...

- Я не видел морей!

- Но они не исчезли оттого, что ты их не видел.

- Они создают себе жизнь, терпеливо высиживая на богословских собраниях. Голова у них легкая, зато зад увесистый, иначе долго не усидишь...

"Лучше Эكدес никого не будет.- Омар отер полый халата мокрые глаза.-Экдес! Ты поистине была "священной". Погубили они тебя. И меня погубили вместе с тобой".

- Чтоб оправдать свою лень, неумелость, нерасторопность, мы вечно ссылаемся на изменников и злоумышленников, на происки наших врагов. Но беда - не в них, она - в нас самих!

- Пьяных много! Но не каждый встречный пьянчуга - поэт. И не каждый встречный поэт - Омар Хайям...

"...Неужто старею?- думал Омар с печалью.- Раз уж начинаю жить воспоминаниями. Мне, в моем-то возрасте, еще можно мечтать о новых встречах".

Он, видно, дремал какое-то время. Удивленный тишиной, чуть приоткрыл глаза: в подвале пусто. Все ушли. Только двое проныр, забившись в Омаров дальний угол, лихорадочно шептались:

- Тихо! Услышит...

- Э, ему не до нас. Так запомни и другим передай: послезавтра в Рей уходит большой караван. Мы и накроем его в ущелье Трех ключей. Место сбора - в Ореховой роще. Черный Якуб приказал завтра вечером всем быть на месте.

Ох! У этих свои заботы. Тоже люди. Черный Якуб - известный разбойник из-под Себзевара, о нем давно не слыхали в здешних местах. Явился. Омар пожалел, что пришел сюда. Не знал, что здесь бывает подобный сброд. Да и художники, писцы, переплетчики... с их отчаянно "смелыми" разговорами украдкой, с оглядкой - что они могут изменить в стране? Болтовня. Зло, гнет, несправедливость - не капля росы, чтобы слизнуть ее языком.

Но и дома ему теперь не сидится. Он допил свою "благословенную воду". Пойду куда-нибудь. И поплелся, шатаясь, прочь. Хозяин заботливо проводил его к выходу:

- Может, домой отвести?

- Не хочу домой!

- Как знаете, сударь.

И Омар потащился в одно известное ему местечко. "Нет смысла в разгуле,- нам жизнь сокращает вино". Подстрекаемый ненавистью к обывательскому достолепию, он нарочно, со злорадством, брел по самым людным улицам и перекресткам. "И в трезвости тоже нет смысла: умрем все равно". Чтобы издевательски дать повод каждому из этих благоприличных охламонов сказать самоуважительно: "Я же говорил!.."

"Плевать, в чем утонешь: в соленой воде или пресной..." Пусть утешается, быдло, что оно, хоть и ничто само по себе, всего лишь прах, все же - пристойнее, лучше Омара Хайяма. "Для пьяных и трезвых дорога одна - на черное дно". Конечно! Куда нам до вас...

Сказано в "Махабхарате":

"Следующие десять не признают законов, о Дхритараштра, запомни их: пьяный, нерадивый, сумасшедший, усталый, гневный, голодный, а также торопливый, испуганный, жадный и влюбленный - эти вот десять".

И все десять, казалось, объединились сейчас в Омаре Хайяме. Даже мухтасиб, с опаской приглядевшись, уступил ему дорогу.

...Через час, опираясь о правый локоть, он возлежал на пятнистом ковре перед низким столиком, освежался шербетом и снисходительно слушал старуху Айше, хозяйку ночного заведения. С давно увядшим лицом в белилах и румянах, сводня старалась его разжалобить - чтобы, как видно, тем самым подогреть его щедрость.

- Улыбаться, когда хочется плакать. Стонать как будто от вожделения, когда больно. Развлекать мужчину нежной песней, искусной игрой на дутаре, страстными телодвижениями в танце. Всему их надо учить! Замучилась, сударь. Я беру их из разных мест: и в городе из бедных кварталов, и на базаре, и с гор и степей, деревенских. И всех корми, одевай. А жизнь какая? Дороговизна. От нужды пропадаем.

Старуха всплакнула. И, размазывая по морщинам слезы, перемешанные с краской, сквозь растопыренные крючковатые пальцы оглядывала злыми глазами его добротную одежду. Человек, видать, с деньгами.

Бедняжка! Омар усмехнулся. Как ей трудно. И, конечно, она считает свое ремесло важнейшим на свете. Приди ты к ней с целым карманом звезд небесных, она тебя прогонит с бранью, если в кармане этом среди звезд нет золотой монеты. Еще и посмеется над тобою.

- Знала ты... Ферузэ? Из мастерской Ибрахима.

- Ферузэ, Ферузэ? А! Помню. Ее забрал себе некий... как его...

- Бей Рысбек.

- Верно! Я всегда любовалась ею. Звала к себе - не хочет. Продал красотку Рысбек! Сама я хотела купить - в цене не сошлись. Он и продал ее арабу с Бахрейна. Давно это было, не так ли? Я потому ее помню, что Ферузэ мне племянницей доводилась.

- Та-ак. Хороша тетушка...- Омар поставил чашу на столик.- Прощай.

- Разве гость не останется у нас ночевать?- всполошилась старуха.- Сейчас девочки выйдут. Ах, я сама виновата! Расхныкалась. Человек, я вижу, совестливый, не пожалеет, думаю, кинуть лишний динар. Но гость пришел развлечься, а не жалобы слушать. Ах, дура я, дура, старею...

"Хе! Она еще о совести толкует. Но и впрямь совестно - ввалился, обнадежил и... ничего".

Он бросил ей последний дирхем,- один дирхем, к ее неудовольствию.

- Я ухожу.

- Но гость не видел моих девочек!

- И видеть не хочу.

- Обижаете, сударь! Есть у меня для вас Ферузэ. Другая. Ей всего шестнадцать.

- Другая? В другой раз...

Наутро, покопавшись в карманах, Омар обнаружил... два фельса. Н-да. За них могут налить чашку шербета. Он бродил по просторному двору, грустно размышляя, как теперь ему быть.

Работая над "Наврузнамэ", Омар думал, получив за нее хорошую плату, сразу взяться за большую поэму "Алимнамэ", об ученых. Хватит о царях! И другие замыслы были у него.

Уточнить меры, разработать новые - как советовал ему когда-то Мухтар в Самарканде.

Написать обзор тюркских племен, выявить их происхождение, сравнить языки.

Создать руководство по персидскому стихосложению.

Съездить в Индию, в Китай, на Кавказ, к булгарам на Волгу...

Все это прахом пошло.

Дом, что ли, продать? Зачем он ему одному, такой огромный? Убирать устаешь, пыль выметать. Продать и купить взамен небольшую уютную хижину. На остальные деньги жить...

...В калитку - быстрый негромкий стук. Кого там шайтан принес? Но Омар, который еще недавно никому не открывал, теперь уже рад любому гостю. Одиночество заело. Покашляв, чтобы дать знать пришедшему, что он дома и слышит, Омар открыл калитку.

Мальчишка, смуглый, быстроглазый:

- Здравствуй. Мой хозяин, купец Музафар, велит тебе скорей явиться на Шелковый базар. У него к тебе важное дело.

- Велит... мне? А ну, убирайся отсюда, пока целый! У него ко мне дело - не у меня к нему.

Омар с досадой захлопнул калитку. Еще недавно им помыкали цари и визири, теперь какой-то купчишка берется им помыкать. "Велит..." Велит своей жене, пес паршивый.

Так и не придумав, где добыть денег, он решил: ничего не буду делать! Никого не буду искать, ни у кого ничего не стану просить. Запрусь, лягу дома, как горный медведь в пещере, и буду лежать. Лежать и лежать, пока что-нибудь не произойдет. Что-нибудь ведь должно когда-нибудь произойти?

Но ему не дали залечь. В калитку вновь постучали, громко и требовательно.

- Я Музафар,- сказал дородный старик в добротной одежде.

- Проходи.

- Разве ты не слыхал обо мне?- спросил купец, как бы удивленный тем, что Омар при его имени не повалился ему в ноги.

Омар: "Ну, я собою с тебя спесь". И - простодушно:

- Нет. Купцов много, знаешь. А я - один.

- Хм.- Лицо у Музафара сделалось густо-багровым, с синевой, как гранатовая кожура.

Омар, морщась от тошноты, махнул рукой на помост под пышно-желтой осенней шелковицей. И сам сел первый, отирая со лба холодный пот.

- Хозяин харчевни сказал... что ты умеешь гадать по звездам?- угрюмо спросил Музафар, неловко усевшись на край помоста, накрытого кошмой.

- Н-ну и что?- промычал Омар недружелюбно.

- Завтра в Рей... уходит большой караван,- доложил мрачно купец Музафар. "А!- вспомнил Омар.- Те двое вчера говорили об этом".- Десять верблюдов - мои. Хороший товар. Но я тревожусь. Дороги опять стали опасными. Не погадает ли... ученый друг,- каждый звук торговец произносил с усилием, будто не слова выдавал, а деньги,- по небесным светилам... стоит ли ехать завтра в Рей?

"Так-так. И сей остолоп, тупоумный муж, жалкий торгаш, совершенно уверен, что светила небес страсть как озабочены судьбой его ничтожных барышей. Прогнать его взащей! Вся Вселенная с мириадами звезд так и корчится со страху за его товары. Но..."

- На какую сумму товары везешь?

- Это нужно для гадания?- смутился купец.

- Да.

- На... две тысячи пятьсот динаров.

- Двадцать пять.

- Что?

- Двадцать пять динаров за гадание.

- Так много?- поразился Музафар.

- А что ты думаешь,- возмутился Омар,- я за один серебряный дирхем стану спасти твои две тысячи пятьсот золотых динаров? Беру за гадание сотую часть. Пожалеешь сотую часть - потеряешь все.

- Но если,- замялся сытый старик, потирая румяные щеки,- если предсказание... не сбудется?
- Сбудется! Я гадал самому султану Меликшаху. И всегда удачно.

Музафар, тяжело сгорбившись, долго вертел в руках бархатный красный кошель. Его раздирали скупость и страх. Двадцать пять динаров! С ума сойдешь. Но две тысячи пятьсот...это десятая часть его состояния.

- Ручаешься... за предсказание? Он все озирался, все озирался, будто боясь, что на него сейчас нападут. Не нападут, болван.

- Эй, здесь что тебе - базар?,- рассердился Омар.- Хочешь - гадай, не хочешь - проваливай. Лишь бы не пришлось завтра слезы лить.

Музафар со стоном вздохнул, точно он страдал с похмелья, а не Омар, отсчитал дрожащими пальцами двадцать пять звонких монет. Словно двадцать пять чаш собственной крови выцедил. Даже побелел, обескровленный.

Омар не спеша отнес монеты в дом, принес астрлябию и звездные таблицы.

- Гороскоп?

- Телец.

- Опасное созвездие! Та-ак.- Омар измерил высоту солнца.- Один Телец - среди звезд сверкает в небесах,- раскрыл он таблицы.- Другой - хребтом поддерживает прах. А между ними... Жребий сокровенного,- умышленно городил он астрологическую чушь, лишь бы придать всей этой чепухе видимость серьезного дела.- Жребий счастье. Соединение и противостояние. Квадратура. Тригональный аспект - таслис. Секстильный аспект - тасдис. Вы только поглядите! Созвездие упадка. Действие неблагоприятное. Какое множество... Выход - закрыт.

Вот что, почтенный Музафар. Господь тебя сохрани выйти завтра с караваном в Рей! Он обречен. И другим передай, чтоб не смели ехать. Задержите караван на пятьшесть дней.

"За это время разбойники устанут ждать и разбредутся. Черный Якуб уйдет нн с чем".

- И не подумаю,- проворчал Музафар.- Пусть едут. Я дома посижу. Прикинусь хворым. Какой из меня торговец, если я стану остерегать соперников от убытка?

"Хорош мусульманин! А ведь вместе ест, водится с ними. Ну, ладно,- подумал Омар устало.- Мне-то что до их удач и неудач? Я не побегу пх выручать. Если бы я вчера не забрел в харчевню и не подслушал случайно разговор тех двух проныр, сидеть бы мне сейчас с динаром своим последним, дрожа над ним: истратить, сберечь. И кто бы из этих сытых, благополучных торговцев вспомнил обо мне? Пришел проведать, узнать, я живой пли уже с голоду умер? На похороны денег нс дадут! Все они - разбойники. Кто кого. И пропадите вы все".

- Как знаешь. Я свое дело сделал.

...На следующий день, во второй половине, Музафар опять постучал в калитку - уже громко и уверенно.

Сел на край помоста, отирая, как вчера Омар, холодный пот.

- Ну?

- Караван... разграблен. Четверых из охраны убили. О, мой ученый друг! - Он прослезился.- Ты спас меня от страшной беды. Теперь я - ни шагу без тебя, без твоих мудрых советов...- И он, к изумлению Омара, отсчитал ему... еще пять динаров.

Через несколько дней в к: литку вновь постучали. Негромко и робко. Поведились! Странный стук. Опять Музафар? Омар открыл калитку и увидел за дальним углом переулка исчезающую

женскую фигуру в чадре. Что-то в ней, этой фигуре, ему знакомо. Но женщина уже скрылась за углом.

Сбоку от него кто-то всхлипнул. Омар взглянул направо, вниз и обнаружил на привратной скамейке другую фигуру в чадре, тонкую, маленькую. Плачет. Он присел перед ней на корточки, осторожно раздвинул чадру. О боже! Мокрые от слез, в густых мохнатых ресницах, изумительно зеленые глаза. Как хризопразы, только что вынутые из морской воды.

- Ты кто?

- Фе... Ферузэ.

- Какая такая еще Ферузэ?

- Я деревенская! - Она громко разрыдалась.- Мне в городе негде жить...

- Тихо, тихо! Не шуми на улице.- Он завел ее во двор, усадил на помосте.

- Старуха Айше обманом завлекла меня к себе,- рассказала она, содрогаясь.- Три дня я была у нее. Когда узнала... убежала. Я дочь порядочных родителей. Как я дойду теперь до дому? У меня ни фельса денег. Одна сердобольная женщина... показала твой дом. Может, приютишь хоть на несколько дней?

И она скорчилась на помосте, сотрясаясь от безутешных рыданий.

- Ох, не реви! Сбрось свои дурацкий балахон, покажись.

Она мигом стянула чадру,- и перед Омаром предстало нечто крохотное, с детским телом и взрослым лицом, козлиными тонкими ножками. Тут и разглядывать нечего. Одни глаза - огромные, ярко-зеленые. Таких и не бывает у людей. Это ведьма.

- Н-да...- Омар озадаченно взъерошил свою черную, без единой сединки, короткую бороду.- Из какого же ты селения?

- Из-под Серакса.

- Н-да... Далековато.

- Я еще и старухе должна осталась.

- За что?

- За проезд, одежду, еду и ночлег.

- Сколько?

- Де... десять динаров.

- Н-да... Многовато. Она знает, что ты у меня?

- Нет! Откуда? Не знает.

- Узнает. Есть хочешь?

Встрепенулась:

- Хочу! С утра голодная.

У него как раз поспел на кухне мясной суп с овощами.

- Ячменную водку, конечно, ты пить не будешь. Но чистого вина хлебнешь?

- Если господин дозволит.

- Пей.- Он налил ей полную чашу.

Через какой-нибудь час, ополоснувшись и натянув атласные штаны, она уже по-хозяйски обходила его большой унылый дом.

- Ну, как?

- Пусто! - Она сморщила маленький птичий носик.- А еще - поэт. Постель, коврик, столик да книги. Везде книги! Одни книги. Ты убери их и спрячь. Не люблю.

- А что ты любишь?

- Я люблю сладкое.

Омар - покорно:

- Уберу, спрячу.

Не успела войти, оглядеться, как уже начинает навязывать ему свои вкусы. И не хочет знать о его вкусах. Он, к примеру, терпеть не может липких сладостей. Захочется сладкого - ест дыню, груши, виноград, черешню. Ну, ладно. Все равно она но душе Омару.

- Говорят, ты получал при царе Меликшахе десять тысяч динаров в год.

- Получал,- вздохнул Омар.

- Где же они? У тебя двор и стены должны быть выложены золотыми монетами.

- Где? - вздохнул Омар. И произнес с печалью:

Рыба утку спросила: "Вернется ль вода,

Что вчера утекла? Если - да, то - когда?"

Утка ей отвечала: "Когда нас поджарят,

Разрешит все вопросы сковорода". Видно, и впрямь ему надо было сберечь для себя тысяч двадцать-тридцать. Но разве он мог тогда предвидеть, что очень скоро останется ни с чем? Ах, этот Звездный храм...

Омар - смиренно:

- Я... я их пропил.

Ферузэ - решительно:

- Больше ты не будешь пить! Слышишь? Я запрещаю. Омар усмехнулся. Забавно! Она. Ему. Запрещает. Видно, не совсем в своем уме эта девка.

- Ничего, кроме воды! Разве мало тебе одной меня? Ого! Она хочет собой заслонить от него весь белый свет, Нет, это не деревенские замашки. Когда и где успела нахвататься? Пожалуй, куда больше трех дней пробыла у старухи Айше. Куда больше.

- Денег-то нет? А еще - поэт...

- Разве поэт,- грустно сказал Омар,- фальшивомонетчик, чтобы купаться в деньгах? Есть, конечно, поэты, которых можно отнести к разряду фальшивомонетчиков. Те, кто пишет в угоду властям пустые скороспелки. Настоящий поэт - человек трудовой и, значит, бедный.

- Кончай свою дурную, беспутную жизнь! Если хочешь, чтобы я у тебя осталась. Ступай на базар. Ты ведь грамотный? Откроешь лавку, будешь прохожим писать прошения. И тем зарабатывать на жизнь. Что мне из того, что ты знаменитый поэт? Будь хоть базарным носильщиком, но человеком порядочным.

...Миг! Он мелькнул, опасный миг, когда эта козявка, вместе с нарядной чадрой, атласными штанами и уоогим узелком своим чуть не очутилась, кувыркаясь, на улице, в дорожной пыли. Базарный завсегдатай, носильщик, вор, наркоман - человек порядочный, потому что молится богу и каждый вечер приносит горсть приторных сладостей. А поэт, выходит, нет.

Н-но... перетерпим и это. После стольких дней одиночества он боялся ее упустить. И жалел ее. Куда она пойдет? Пропадет. Опять к старухе Айше?

Омар, чтобы ее прокормить, объявил через соседей, что лечит больных на дому. Сперва недоверчиво, робко, затем, распознав действительно дельного лекаря, охотней, смелей,- потянулись хворые к нему со всех сторон. Лечил он их, в основном, отваром из редких растений и мазями, приготовленными из тех же целебных трав. И, конечно, ячменной водкой:

- Обожглась? Ах, бедняжка! Сделай примочку из ячменной водки.

- В желудке боль? Примочку из ячменной водки. Ну, а ты чем страдаешь?

- Судорогами в ногах.

- Поставь их в ячменную водку.

И так далее:

- Лихорадка? Ячменную водку...

- Кашель? Ячменную водку...

- Горячка? Ячменную водку...

И вылечивал их! Они, довольные, хорошо платили.

Но все равно денег всегда не хватало.

- Какое чудесное платье у жены шейха Али ибн Ахмеда аль-Мохамеда,- когда у меня будет такое? Не будет завтра к утру - я умру; сколько стоит жемчужное ожерелье, и за что ты меня любишь; у соседки Зохре нос как скалка, она катает им тесто; правда ли, милый, что земля держится на роге быка, а бык на рыбе, а рыба на воде, а вода на воздухе, а воздух на влажности, а на влажности обрывается знание знающих? Конечно, правда, ведь так указано в коране, и за что ты меня любишь...

Она душу ему истерзала!

Видно, ей кто-то внушил (не старуха ли Айше?) - чтоб не надоест мужчине очень скоро, следует как можно чаще быть другой, неожиданной, новой, или просто уж нрав у нее был такой безалаберный, вздорный,- но Ферузэ то и дело оглушала беднягу Омара какой-нибудь внезапной, из рук вон глупой выходкой.

Он никогда не мог узнать наперед, что она выкинет в следующий миг. То хохочет, то плачет. То у нее праздничный вид, то похоронный. Причем все беспричинно. И вполне преуспев в своих неусыпных стараниях, она надоела ему смертельно уже на третий день.

- Почему у торговца шелками Музафара аль-Мустафы целая конюшня красивых лошадей для выезда, а у тебя нету даже осла, а еще - поэт; у него даже дворничиха каждый день меняет платье; будь хоть базарным носильщиком, но человеком порядочным; как, милый, зовут тех двух ангелов, что бьют покойника, как его погребут, горящими палками? Ох, как страшно...

И впрямь - орудие сатаны!

- Что ты все чертишь, кому и зачем это нужно, ох, как хочется есть; брось свои паршивые бумажки, свари мне плову, что ты все пишешь, сколько денег за это дадут, может, нисколько, а еще - поэт; почему ты опять пьешь свою ячменную водку проклятую, оставь сейчас же, а то уйду, и за что ты меня не любишь...

- Не мешай,- усмехался Омар снисходительно.

- Милый, ведь ты сейчас ничего не делаешь, не пишешь?

- Не пишу - значит думаю.

- Разве нужен досуг, чтобы думать?

- Нужен. Досуг длиною в жизнь. И еще хоть немного ума, конечно.

"Это моя последняя любовь",- думал он с горечью.

Теперь в калитку стучали так часто, что Омар не удивился, когда, постучав в свою очередь, перед ним возник небольшого роста плотный старик. Хворый? Нет, не похож на хворого. Крепкий, румяный. Правда, бос, и халат у него рваный, но от таких недугов нет у Омара средств.

- Чем могу служить?

- Старуха болеет.- У старика забегали глаза, будто он хочет скрыть, что сам повинен в ее болезни.

- Почему же ты ее не привел?

- Не может ходить,- юркнул глазами старик.

- Тогда посиди, подожди. Отпущу других больных, пойду посмотреть твою старуху.

- Ее не надо смотреть.- Старик вздохнул, опустил глаза к земле.- Не о ней речь.

- О ком же?

- Сын... нас покинул. Вот нынешние дети! Ушел три года назад в проклятый Балх, с тех пор и глаз не кажет.

Слышно, деньги у него завелись. Написал бы ты ему письмо от меня, а? Балх, караван-сарай у Нишапурских ворот. Мустафе аль-Мансуру, башмачнику. Такое письмо, чтоб до слез... чтоб, его прочитав, он бросил все, подхватился - и скорей домой, в Нишапур. И чтоб денег привез. Мол, мать умирает, истосковавшись, хочет сына увидеть в последний раз. Отец, мол, бедствует, нужда заела. Напишешь? Я заплачу. Чтоб - до слез! Ведь ты поэт.

- Напишу.- Омар, осмотрев и выпроводив больных, взял бумагу, чернильницу, тростниковое перо. Ферузэ, накиннув чадру, порхала поблизости. Постарался Омар! Сам чуть не рыдал, читая письмо старику. Очень чувствительно получилось.

- Отошлю с караваном,- всхлипывал старик, одной рукой пряча письмо за пазуху, другой отирая слезы.- Эх, бедность.

Он развязал узелок, долго перебирал медяки, со вздохом выудил серебряную монету.

- Один дирхем могу дать. Больше нет. Хватит?

- Не надо,- покачал головой Омар.- Я не возьму твои дирхем. Лучше старухе своей купи что-нибудь повкуснее.

При этих его словах Ферузэ, возившаяся у очага в летней кухне, с яростным звоном уронила медный черпак в чугунный котел.

- Благослови тебя господь! - Старик, довольно юркнув светло-карими глазами, живо убрал узелок с монетами.- Я пойду.

- Приедет сын - приходите в гости,- проводил его Омар.

- Почему ты не взял с него деньги? - Ферузэ сорвала чадру, скомкала, швырнула в сторону.- Ишь, какой богатей! По дирхему каждому дарить.

- Это его последний дирхем,- сказал Омар примирительно.

- А мне что за дело до этого?! - взвизгнула Ферузэ.

- Старуха у него хворает,- пробормотал испуганный Омар.

- Зато он сам здоров, как лошадь!

- Вот когда ты сама станешь старухой и заболеешь, а сын твой будет скитаться где-то в чужих краях...

- Ты думаешь, им нужен сын? Им нужны его деньги! Заработал, бедняга, в поте лица, перебиваясь с хлеба на воду, один-другой золотой динар, по медному фельсу копил, так они не дадут ему истратить их на себя. Из рук вырвут

- Ну, не знаю. Меня попросили написать письмо - я его написал.

- И хорошо, что написал! Почему деньги не взял?

- Как можно... у бедняка... последний дирхем...

- На дирхем можно день прожить!

- Разве тебе нечего есть? - удивился Омар.- В кладовой всего достаточно.

- Все равно!!! Это - деньги, понимаешь, ты, несчастный поэт, дирхем - это деньги!

- Не понимаю! Дирхемом больше, дирхемом меньше... Разве монета - солнце, чтобы из-за нее вопить, как петух на ограде?

- Ну, погоди! Вот я уйду от тебя. Останешься ни с чем, будешь знать, что такое дирхем. Ум жены - в красоте, красота мужа - в деньгах.

Он уныло махнул рукой и побрел в харчевню "Увы мне". Через несколько дней старик пришел опять. На сей раз Ферузэ не отходила от них.

- Отправил письмо?

- Отправил, да благословит тебя аллах.
- Чем еще я могу тебе помочь?
- Сосед у меня...- Старик юркнул глазами по закрытой чадре Ферузэ.- Он художник. Каждый день смотрю сквозь щель в ограде - никогда не молится. Безбожник. Вино пьет, разных женщин... водит. Каждый вечер у них - песни, танцы. Бубен гремит, заливаётся флейта...
- Ну, и что? - насторожился Омар.
- Старик, вошедший во вкус:
- Давай напишем об этом! Ты хорошо пишешь. Отошлем письмо городскому имаму...
- Почему же не сразу шейх уль-исламу? - усмехнулся Омар, холодея от ненависти.
- Верно!- воодушевился старик.- Изобличим отступника, может, получим награду, а?
- Омар - угрюмо:
- Вот что, почтенный...
- Пиши! - прошипела Ферузэ ему на ухо.- И потребуй шесть дирхемов.
- Прочь! - рявкнул на нее Омар - впервые с тех пор, как она у него поселилась. Ферузэ, потрясенная, свалилась с террасы, где они сидели.- Вот что, зловерный старик. Аллах даровал человеку грамоту для вразумления. А доносы писать - какое уж тут вразумление? Дело подлое. Не к лицу мужчине. Не затем бог наградил меня способностью к словесности, чтобы я ею травил кому-то жизнь.
- Но ведь он - безбожник! - Глаза у старика перестали бегать и уставились, неумолимо честные, правые в своей слепоте, прямо Омару в глаза.
- Я сам безбожник! - взревел Омар.- А ну, убирайся отсюда.- Омар сбежал с террасы, выхватил из груды саксауловых дров тяжелую корявую дубину.- Сейчас я тебе покажу, старый клязник...
- Тогда я... тогда я на тебя напишу! - пригрозил старик, вмиг оказавшийся у калитки.- Найду другого грамотея. Вот негодяй! Сам и писать-то не умеет, а туда же...
- Пиши! Пиши донос. Иначе тебя продерет кровавый понос!
- Омар, потерявший голову от ярости, с такой силой метнул кривую дубину, что она, грохнувшись о столб закрытых ворот, с треском распалась на куски и осыпала старика щепками. Саксаул - он твердый, но хрупкий.
- Старик, смертельно испугавшись, застыл у калитки, не смея шевельнуться.
- Убирайся,- устало кивнул ему сразу остывший Омар.- Но запомни: если ты еще раз появишься в нашем переулке, я тебе ноги перелломаю.
- Старик благополучно скрылся.
- Шесть дирхемов, шесть дирхемов,- рыдала Ферузэ в стороне, на помосте.
- Вот что, милая,- холодно и жестко сказал Омар, присев рядом в нею.- Если ты еще раз произнесешь в этом доме слово "деньги", я тебя в тот же миг перекину через ограду. Даже калитку не стану открывать.
- "Повторяюсь,- горько усмехнулся Омар.- Если ты еще раз... ноги перелломаю, через ограду перекину. И перелломаю! - воскликнул он мысленно с вялой решимостью.- И перекину".
- Повторяющиеся угрозы - очень часто угрозы пустые.
- Но... как же мы будем жить? - давилась слезами Ферузэ.
- А что ты понимаешь под словом "жить"? - сказал Омар спокойно и проникновенно.- Ты сыта, одета, обута. Есть крыша над головой, есть постель. Никто тебя не обижает. Я тебя люблю. Чего еще? Сколько платьев нужно одной женщине? Допустим, сто. Или тысячу. Но кого ты ими хотела бы удивить? Весь мир? Или старуху Айше? Мир велик, его ничем не удивишь. Старуху - можешь, но она ничтожна, не стоит стараться ради нее.
- Я думала... думала, раз ты поэт, да еще знаменитый - у нас будет какая-то особая жизнь.

- А разве у нас не особая жизнь? - вскинул брови Омар.- Мы ни от кого на свете не зависим. Живем, как хотим, как умеем. Никому поклонов не кладем. Мы свободны, как дети! Весь мир наш. С горами, реками, зелеными долинами. С небом в ярких звездах. И с нашей страстью.

- Что мне звезды? Я живу на земле.

- Ну, хорошо.- Омар принес стопку исписанных листов.- Вот, я работаю сейчас над новой книгой...

Он задумал написать яркую сказку по рассказу Али Джафара о самаркандском юноше, который угодил ночью в селение гулей-людоедов. Она должна стать небывалой сказкой! Он подробно разработает каждый шаг, каждое движение. И так достоверно, как будто все происходило на самом деле. Уж он позаботится о красках! Не чернилами - разведенным золотом будет писать. И посыпать строки, чтобы просохли, не песком, а толченой бирюзой. И придаст своей сказке смысл хоть и печальный, но философский. Кто поймет - тот поймет.

- Закончу - преподнесу окружному правителю. Он здесь у нас - чем не царь? И мы сразу разбогатеем. Полы устелем коврами, стены увешаем шелковыми сюзанае. Углы заставим сундуками, ниши завалим посудой. Будешь весь день есть сладкое. Будешь есть что захочешь, из десяти сразу мисок, если не хватает одной. Кур, куропаток, жареных соловьев. Хоть крокодилов индийских. Растолстеешь! Сиди, озирайся - и радуйся. Найму тебе служанку, будет мух от тебя отгонять, будет слух твой улаживать нежной песней. Отхожее место - и то превратим для тебя в уголок рая. Будешь... сквозь дыру в роскошном ковре.

Такой бы жизни ты хотела?

Будет!

Но подожди, потерпи. Не прогадаешь. Все равно все мое останется тебе,- я проживу еще лет двадцать, не больше, а тебе сейчас только шестнадцать. Успеешь насладиться жизнью.

- Ждать, терпеть...

- Ну, конечно,- печально вздохнул Омар.- Мужчина может ждать и терпеть. Женщина - нет. Ей сейчас - вынь да положь.

"О боже! - подумал он с тоской.- До чего я докатился. Обрыскав всю нашу Вселенную, искупавшись в лучах далеких звезд, пронзив острой мыслью бесконечность и соприкоснувшись с вечностью, свалился в грязную яму - и лезу из кожи, чтоб угодить... кому? Позор!"

- Вяжут у вас в селе?

- Вяжут,- удивилась она его вопросу.

- Что именно?

- Платки, покрывала. И прочее.

- Значит, ты знаешь, что вязание начинается с одной, первой петли, и так, терпеливо, цепляя петлю за петлю - до конца. Сколько внимания нужно, усидчивости, прилежания. Огромный труд, тяжелый и долгий! Можно ослепнуть. Пропустишь одну петлю - и все расплзется. Так и писатель вяжет книгу:слово к слову, строку к строке, страницу к странице. Нить он вытягивает из головы, превратив в пряжу свой мозг. Понимаешь?

- Не понимаю!

Он встал. Губы и руки у него дрожали.

- Вот тебе десять динаров. Отдашь старухе Айше. Будет рада. У нее твое место. Собирайся! Я больше не могу нести бремя твоего присутствия.

- То есть как? - оскорбление встрепенулась Ферузэ.- Ты меня гонишь? Меня? Я сама уйду! Ты, корявый старик, никчемный поэт, пьянчуга, меня гонишь? На что ты мне нужен? Посмотришь в зеркало - разве ты мне пара? - Она лихорадочно принялась собирать свои вещи.- Старуха Айше... пятки мне станет лизать, если я к ней вернусь! И какие любовники у меня заведутся: молодые, красивые, щедрые.

- Давай, давай,- тяжело вздохнул Омар.- Ступай к своему носильщику.

- Всем скажу, что ты злой и жестокий! Что ты ячменную водку пьешь, что ты сумасшедший! Ни одна женщина больше к тебе не придет.

Ферузэ ушла, обругав его последними базарными словами. Но он не слышал ее. Даже вслед ей не посмотрел.

Он, тяжело сгорбившись, сидел на краю помоста и долго глядел в пустоту пустыми глазами.

"Не открою,- сказал себе Омар, когда наутро в калитку опять постучали.- Я ни в ком не нуждаюсь. Постучат и уйдут".

Но стук - неотступен, настойчив и даже грозен. Вот люди! Что там у них еще стряслось? Открыл калитку - вломилась в красных кушаках, с палками в руках.

- Ты Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима?

- Допустим. А что? Убили кого, обокрали?

- Судья Хусайн ибн Али ибн Микаль требует тебя пред свои очи.

- А что случилось?

- Собирайся! Там узнаешь.

"Какие дела у судьи ко мне?" - недоумевал Омар по дороге. Страх он не испытывал. Ибо не знал за собой никакой вины.

Судья занимал возвышение в глубине низкой длинной комнаты с опорными столбами. Ставни на решетчатых окнах раскрыты, но от хмурого неба в комнате сумрачно, и ряд женщин в чадрах справа от входа напоминает в этом сумраке серых сов, сидящих на ограде. Слева от входа - четверо безмолвных степенных мужчин, которых Омар видит первый раз.

Воздух сух, пахнет пылью и дымком от жаровни. Перед судьей горит свеча. Будто огненный глаз дракона, готового съесть Омара.

Он поклонился, сел, спокойный, на кошму у порога.

Тощий, корявый судья в огромной чалме, с задумчивоболезненным взглядом старого развратника, вытянул тонкую шею.

- Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима?

- Да, ваша милость.

- Подойди ближе!

Омар оглянулся на стражников у входа, на их толстые палки, пожал плечами, подошел ближе.

- Садись, злодей! Говори, женщина,- кивнул судья налево от себя.

Женщина у помоста откинула с лица чадру, и Омар узнал... старуху Айше. Она принялась вопить, заливаясь слезами, низким утробным голосом:

- Этот негодяй... подлый, грязный человек... развратник... силой увел у меня Сорейю, лучшую девушку... и продержал ее у себя, связав по рукам и ногам, пятьдесят ночей. И делал с ней, что хотел. Совсем замучил бедняжку. Еле вырвалась! Еле живой вернулась ко мне. Пятьдесят ночей! Сколько убытку я потерпела...

Судья слушал ее, напустив на себя мучительно скорбный вид. Будто ему сообщили, что у него умерла любимая дочь. Или Кааба в Мекке развалилась.

- Сколько? - спросил он печально.

- Каждую ночь она вырчала... десять динаров. Выходит пятьсот.

- Ах, бедняжка! - пожалел ее судья.- Разве можно,- грозно обратился он к Омару,- так обижать несчастных женщин? Они, хоть и женщины, все-таки тоже божьи создания.

Омара будто дубиной по голове хватили,- той самой дубиной, которой вчера он пугал старика, пришедшего с кляузой. Он ничего не понимал. Нелепость обвинения вломила в математически четкий строй его мыслей, точно камень, скатившийся с горы в круг мирно беседовавших в саду ученых. Вся логика рушилась.

И, растерявшись, он только беззвучно шевелил губами.

- Что скажешь, ответчик? - высокомерно спросил судья.

"Ответчик!" Вот как. Не совершив никакого преступления, ты очень легко, по чьему-то навету, можешь с ходу угодить в ответчики. Это дурацкое слово взбесило Омара - и вместе с яростью к нему вернулась способность соображать.

- Я не знаю никакой Сорейи,- сказал он мрачно.

- Как не знаешь?- взвизгнула Айше.- Вот она.- Старуха сорвала чадру с соседки, и Омар узнал... Ферузэ. Потрясенный, он впился в ее глаза, надеясь увидеть в них хоть намек на стыд, сожаление. Нет! В них он увидел укор. Укор ему, Омару, и сознание непоколебимой ее правоты.

- Это не Сорейя,- пробормотал он в замешательстве.- Это Ферузэ.

- Какая Ферузэ! Все знают: она Сорейя. Не так ли, девушки?

Ряд серых сов в чадрах заурчал:

- Ур... Сур... я...

- Ну, пусть Сорейя,- вздохнул Омар.- Все равно я ее не уводил. Она сама ко мне явилась.

- Где это видано,- возмутился судья Хусайн ибн Али ибн Микаль,- чтобы девица в шестнадцать лет сама явилась к пожилому одинокому мужчине?

Будто речь шла о честной и скромной крестьянской девушке, а не распутной девке из ночного заведения. Это суд или кукольное представление?

- Явилась.

- Нет, он ее увел! - вскричала старуха Айше.- У меня есть свидетели. Вот, пять моих девушек видели, как он схватил ее в переулке и затащил к себе во двор. Не верите им, спросите мужчин. Вот Абубекр, мой сторож и дворник. Вот Валид, мой сосед, башмачник. И тут же Исхак, водонос. И Масуд, погонщик ослов. Все люди почтенные, уважаемые в нашем квартале. Они не соврут.

- Вы тоже видели, мусульмане, как сей злоумышленник силой увел к себе девицу Сорейю?

- Да, да! - загалдели дружно свидетели.- Чуть руку ей, бедняжке, не вывихнул.

- Слышишь, злодей? Здесь четверо мужчин и шесть женщин, если не считать пострадавшей...

- Ее и нельзя считать женщиной,- зло заметил Омар.- Это аллах знает что.

- Молчать! Показания двух женщин приравниваются, по нашему исламскому закону, к показанию одного мужчины. Значит, против тебя семь свидетелей. Столько же, сколько в небе планет,- блеснул он кстати глубиной своих знаний.

- Столько же, сколько смертных грехов,- поправил его Омар.

- Молчать! У тебя есть свидетели?

- Нет,- вздохнул Омар.- Я сам свидетель.

- Ты - ответчик. Ты должен,- веско произнес судья,- возместить истице убыток, который она понесла, лишившись, по твоей вине, на пятьдесят дней своей лучшей, самой добычливой работницы.

- Работница. - хмыкнул Омар.

- Оставь свои дурацкие ухмылки! Здесь не кабак.

- И жаль. Я бы сейчас с превеликим удовольствием хлебнул хорошего вина.

- Ячменной водки,- уязвила его Ферузэ-Сорейя.

- Вернусь домой,- усмехнулся Омар,- непременно выпью. Ячменная водка пророком не запрещена.

- Да? - вскинул брови судья. И опустил блудливые очи, как бы сказав: "Учту".- Тихо! Суд постановляет: житель Нишапура Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима, по прозвищу Хайям, что значит Палаточник, обязан не позже, чем завтра утром, уплатить жительнице того же города почтенной Айше...

- А у нее есть прозвище? - полюбопытствовал Омар.- Если нет, могу подсказать. На языке вертится.

- Тихо! Уплатить под расписку долг в размере пятьсот золотых динаров...

- Несправедливо! - вскричал Омар.- Старуха Айше со всем своим заведением не стоит и ста динаров.

- Тихо! Пятьсот золотых...

- Где я их возьму?!

- В противном случае,- важно изрек судья,- у ответчика будет изъят его дом.

А-а! Теперь-то Омару все стало понятно. Все подстроено. Против кого, как говорится, бог, против того и люди. Им нужен его дом, этим мошенникам? Его добротный, просторный дом с обширным двором и садом. Они знают: никто не заступится за опального поэта, его можно ограбить, ничем не рискуя.

Ну, что ж. И это мы стерпим - как-нибудь.

- Ах-ха-ха! - тягуче зевал купец Музафар, только что вставший ото сна.

- Эх-хе-хе!- уныло кряхтел Музафар, поглядывая сквозь алебастровую решетку окна на свой большой уютный двор, выложенный каменными плитами, с каменным просторным водоемом. На отсыревших плитах и неподвижной воде горами скапливались осенние желтые листья. Может быть, ему виделись караванные тропы и перевалы, Занесенные снегом.

- Ох-хо-хо! - вздыхал он тяжело, грея руки над жаровней.- На какой срок?

- Ну, на год,- хмуро сказал Омар.

- Ух-ху-ху!..

Где он добудет денег через год, чтобы вернуть долг Музафару, опальный звездочет не думал. Самое главное сейчас - уплатить старухе Айше. А через год... мало ли что может случиться за это время. Омар вспомнил басню о чуде, который взялся за двадцать лет обучить корану осла с царской конюшни. И получил задаток в десять тысяч динаров. "Что ты наделал? - накинулась на него жена.- Как ты выкрутишься, когда настанет срок?" - "Не бойся, супруга,- ответил он ей.- Ешь, пей, отдыхай. За двадцать - Я то лет... или я умру, или царь умрет или осел околеет".

- Господи, помилуй! - Музафар, скрестив, зябко спрятал руки под мышками и долго молчал, нахохлившись и что-то прикидывая в уме.- Так уж быть! - воскликнул он с отчаянием, будто бросаясь в замерзающий водоем во дворе.- Я помню добро. Я... дам тебе пятьсот динаров. Но, понимаешь... эти деньги - на целый год... выпадут из оборота. И я потерплю на них большой убыток. Поэтому ты... укажешь в расписке, что взял у меня... восемьсот.

Ого! Одних ковров в этой роскошной гостиной - на восемьсот динаров. И утвари разной в нишах на столько же.

- Да, восемьсот. Иначе, прости, и фельса не получишь. Я, прости, торговый человек. И ты должен указать в расписке, что если в указанный срок не вернешь мне восемьсот динаров, я буду вправе отобрать твой дом...

Ах, этот дом!

- Хорошо,- кивнул Омар.- Я согласен.

Он сам продаст проклятый дом! Если ничего иного не придумает. Все равно, похоже, отнимут. Отдаст за тричетыре тысячи, вернет долг Музафару и переберется в какую-нибудь лачугу на окраине...

К вечеру небо стало, как белый мрамор в дымчато-серых разводах. Резкий ветер закрутил во дворе снежные вихри. Омар всегда, бывало, радовался первому снегу. Нынче нет. Ибо он не готов к зиме.

Не хотелось есть, не хотелось пить. И спать не хотелось. Омар закрыл ставни, зажег свечу, наложил в жаровню горячих древесных углей.

Атараксия? Хе! С ней ничего не выходит. За что они взъелись на него? Чем он их обидел? Тем, что продолжает цепляться за жизнь, не дает себя вконец затоптать? Накинув на плечи старый тюркский тулуп, оставшийся от родителя, Омар долго ходил из угла в угол, как заключенный в темнице, не зная, как жить ему дальше.

Ветер уныло свистел в щелях старых ставней. Пламя на столике жалостно трепетало, металось на тонком фитиле. Вот-вот погаснет. Дунь чуть сильнее - и нету его.

Где-то снаружи прозвучал негромкий плачущий звон. Как монисто на шее скитающейся по ночному городу призрачной зимней девы. Это, наверно, Салих, ночной сторож, со своим колокольчиком. Он когда-то работал в мастерской Ибрахима.

Омар взял бутылку ячменной водки, чашу, редьку, вышел в тулупе на улицу. На ней уже тонкий снежный покров, от него довольно светло. Омар по длинным темным следам Салиха нашел его возле скудного костра под навесом у базарных ворот.

- Не спится? - Салих, зябко кутаясь в драную шубу, заправлял небольшой кальян наркотическим зельем.

- Не спится.

- Садись на корточки, грейся.- Салих положил уголек в курильницу.- Хочешь?

- Нет.

- Ни разу не пробовал?

- Пробовал. Для нас не годится. У нас - ячменная водка. Налить?

- Давай.

Выпили, похрустели редькой. Салих сделал затяжку, другую. Прокашлявшись, молвил:

- Зима.

- Зима...

Помолчали, каждый со своей печалью.

- Что мы можем против них? - вздохнул Салих.

- Ничего не можем,- вздохнул Омар.

Снежинки перестали крутиться, улеглись. Омар взглянул на небо. На северо-западе, в льдистой белой мгле, ветер промыл темно-синюю полынью, в ней закачалась большая звезда.

- Видишь ее? - показал Омар ночному сторожу.- Это Вега. От арабского Ан-наسر аль-ваки, что значит Падающий орел. Падать-то он падает,- усмехнулся с горечью Омар,- но никогда не упадет. Никогда! Звезда первой величины. Самая яркая в нашей части неба...

Абул-Хасан Байхаки:

"Омар Хайям был скуп, имел скверный характер".

- Ну, вот и свиделись, ученый друг! - Старый Ораз, красный от ветра, все хлопал и хлопал Омара по спине, не выпуская его из железных объятий.- Вот и свиделись, благодарение богу.

Трое его товарищей привязывали под навесом лошадей.

- Без друзей теперь не поедешь. Разбой. Котел есть? Барана мы с собой захватили,- показал Ораз на животное, которое туркмены снимали с запасной лошади. Он обошел дом и двор, заглянул в кладовку, помрачнел.- Да-а. Маловат для всех нас твой котел. Один живешь?

- Один.

- Как же так?

- Так уж.

- Хор-рошо живешь, грох в горох! Попроси у соседей котел побольше,- кивнул он через ограду.

- Я к ним не хожу.

- Это почему же?

- Там была... отцовская мастерская. Воспоминания разные. Не хочу.

- Ну, и ладно.

Котел притащили с базара. Наелись, напились.

- Ну?

- Я за тобой. Поедешь с нами в Исфахан.

- Зачем? - поразился Омар.

- Визирь требует.

- Требует? Хе! Я, знаешь, не выношу слов "требует", "велит", "приказывает". Хочется в ответ ударить палкой. Он ничего не может у меня требовать. Только просить. Разве я что-нибудь ему должен?

Ораз, угрюмо помолчал:

- В Исфахане... оспа.

- Оспа?! - вскричал Омар, побелев.- Не завез ли ты ее ко мне? Я тут ем с тобой и пью...

- Нет, мы чистые.

- Ну! Она проявляется не сразу. Дней десять-пятнадцать надо выждать.

- Выждали. Нас потому и послали, что мы находились вне столицы, в горах. Приехал визирь, крикнул издали: "Скачите в Нишапур, пусть Омар придет как можно скорее". Собирайся, ученый друг. Для тебя запасного коня привели.

- Так и должно было быть,- бормотал Омар сокрушенно.- Так и должно было случиться. Какой у нас нынче год? Ага. Она и приходит обычно зимой. Я знал, я предвидел...

- Ты знал, что в этом году будет оспа? - изумился Ораз.

- Предполагал. Если не оспа, то чума или холера.

- Угадал по звездам?

- По одной звезде, по нашей. Видишь ли, друг: давно замечено, что Солнце не просто светит и греет. У него свой характер, понимаешь? То оно спокойно, то вдруг начинает дико бесноваться.

- Понимаю,- кивнул Ораз.- Хорошо понимаю. Характер у него - чисто твой.

- И происходит с ним это примерно через каждые десять-одиннадцать лет. Со мною - чаще. Но ведь я не Солнце. Я чуть поменьше. И беснуюсь я больше от внешних причин. Оно - от внутренних. Хотя, пожалуй, и на него действуют издали какие-то огромные космические силы. Уже давно замечено людьми наблюдательными,- продолжал задумчиво Омар,- что огненные бури на Солнце, достигая Земли, вызывают то потоп, то засуху, землетрясения, извержения горячих гор.

- Знаю,- вновь кивнул Ораз.- Если небо окрашено в странный цвет, облака стрельчатые, земля дрожит под ногами, на солнце появились пятна или круги возле него - быть беде...

- Вот; вот! Не случайно, пожалуй, в древних восточных календарях с двенадцатилетним промежутком времени и звериными названиями лет есть годы добрые, есть недобрые.

- Да,- подтвердил туркмен.- От деда слышал о таком календаре. Нынче год Дракона, год недобрый. Э, постой-ка! - озарился догадкой Ораз.- Ведь беда не ходит одна. Повальная хворь, моровое поветрие - тоже от него, от взбесившегося Солнца?

- Очень может быть,- сказал Омар, весьма довольный толковым собеседником.- Не совсем, конечно, от него.

Тут много разных причин. Однако оно способствует возникновению повальных болезней.

Омар встал, вымыл руки теплой водой.

- Изучая труды Гиппократы, Галена и других великих врачей, а также историков, и сравнивая отмеченные ими явления с тем, что я сам наблюдал в Звездном храме, я убедился, что они очень часто совпадают во времени: бури на Солнце, беснование природных стихий на Земле - и резкое усиление опасных болезней.

Омар взглянул на свои чистые руки.

- Еще Фукидид писал, что в Аттике, вместе с буйством стихии, разразилась страшная эпидемия. Поэт Овидий говорит: на Эг-ине какая-то злая хворь одолела людей, животных и растения одновременно.

Омар, подумав, налил в горсть ячменной водки, снова вымыл руки, теперь уже ею. На всякий случай, мало ли что...

- Подобных сведений много. Но их надо тысячу раз проверить! Сколько книг перелистать, сколько расчетов сделать. Если б мне дали спокойно работать в Звездном храме, я, может быть, со временем научился точно предсказывать по состоянию Солнца не только, допустим, колебания гор и прочие беды, но и моровые поветрия. Чтоб люди ждали, следили за чистотой и остерегались. Но мне не дали, как ты знаешь.

- Ну, как же. Дадут они. Грох в горох! - Ораз возмущенно стукнул себя кулаком по колену, да так, что сам скривился от боли.- Это и есть - рубить сук, на котором сидишь. И вот возмездие. Все царевичи лежат вповалку.

- А... Зохре?

- С ней еще хуже, трах ее в прах! Гниет на ходу, истекает какой-то дрянью.

- Это можно было предсказать и без гадания по Солнцу. А впрочем, кто знает. Что, если его вредоносные излучения дурно действуют и на мозг человека, и на его поведение? Несчастья в Аттике, о которых пишет Фукидид, сопровождалась еще и опустошительной Пелопонесской войной. Гние-" на ход}7? - вздохнул Омар.- Вот что, друг, я не поеду в I Исфакан.

Ему вспомнилось:

"Мы в нашей благословенной исламской стране..."

- Передай им там всем в столице: они, наконец, добились своего - я исправился и больше никому не задаю вопросов. Но и никому на них не отвечаю.

"...обойдемся без хитрых математиков, строптивых астрономов, безбожных лекарей".

- Я осознал свои заблуждения и отрешился от звезд, математики, врачевания и прочих бесовских наук и сделался вполне богобоязненным правоверным. Так что,- смиренно произнес Омар,- помолиться за болящих я могу, но больше ничем пособить не сумею.

- Сто динаров и три фельса! - вскричал свирепый Ораз.- Мы, бедные, мчались напрямик, сломя голову, по горам и степям. Сколько лошадей пришлось сменить. А ты... Визирь с меня шкуру снимет. Хоть силой, да увезу.

- Попробуй! А ну, покажи бумагу.

- Какую бумагу?

- Вот такую. Хватит делать из нас дураков.- Омар встал, злорадно достал из облезлого сундучка свиток с восковой печатью на шелковом шнурке.- Видишь? Это приговор суда святых шейхов. Послушай, что тут говорится:

"Отныне и навсегда,- навсегда, чуешь? - означенный шейх Абуль-Фатх Омар, сын Ибрахима, изгоняется из Исфахана". Значит, в столице я - вне закона, любой правоверный может напасть и зарезать. Есть у тебя новый приговор, отменяющий старый? Нет? И проваливай. Привезешь бумагу с печатью - поеду.

У Ораза губы дрожат, сверкают глаза. Убить готов.

- Закон есть закон,- пожал плечами Омар.

- Правильно! - хрипло рассмеялся туркмен. И махнул рукой.- Никто их не тянул за язык. Но ведь... царевичи все перемерут, пока я... доскачу до столицы, пока законники соберутся и вынесут новое решение... пока я вернусь, и мы поедем...

Омар - постным, назидательно-ханжеским голосом:

- И жизнь, и смерть - от аллаха. Не так ли, почтенный?

"Я, вступая в сословие врачей, торжественно клянусь..."

- Чего вы пристали ко мне? - вскричал Омар, когда через несколько дней к нему нагрянул... сам визирь Изз аль-Мульк.- Законов не нарушаю, подати плачу, долги, хоть и не сразу, возвращаю, честно зарабатываю на хлеб, чего еще надо вам от меня; оставьте в покое!

- Законов не нарушаешь? - Изз аль-Мульк, усталый с дороги, откинул с глаз башлык, который надел, чтобы его не узнали. В Нпшапур он явился тайно, по неотложному делу, и не хотел никаких торжественных встреч.- Мне доложили: в мечеть не ходишь, пьешь вино.

- Ячменную водку,- поправил Омар.- Ты затем и приехал, чтобы мне это сказать? Милейший! Я уже без малого тридцать лет не хожу в мечеть и пью вино. И ничего со мной не стряслось. И еще тридцать лет не буду ходить - и буду пить. Но ты не бойся: пьяный поэт - совсем не то, во пьяный погонщик ослов или накурившийся хашишу богослов.

"Нет, он неисправим,- думал с досадой Изз аль-Мульк, неуклюже располагаясь в пустой холодной гостиной.- Это сумасшедший. С такими речами..."

- Ты недалеко уйдешь в этом мире,- сказал он вслух.

- Этот мир не един! У тебя - свой мир, у меня - свой. В своем-то мире... я ушел уже так далеко, куда тебе никогда не дойти. И откуда я сам не знаю, как выбраться. Так-то мне там хорошо.

- Ну, как знаешь.- Визирю, принимавшему все за чистую монету, и невдомек, с его-то низким лбом, что такой человек, как Омар, в силу язвительности характера, не может обойтись без заострений и преувеличений.- Я не затем приехал, чтоб спорить с тобой.

- А зачем ты приехал, милейший? Может быть, ты привез вознаграждение за "Наврузнамэ"? Хорошо бы! А то видишь,- Омар указал визирю на его приближенных, уныло топтавшихся по холодному голому дому,- мне гостей даже некуда посадить и угостить их нечем.

- Ничего, мы сейчас назад,- глухо сказал смутившийся визирь.- А за "Наврузнамэ"... в те дни не было денег в казне.

- Не была денег! Куда же они девались? Горы золота.

Как она дальше звучит, та глупейшая клятва?

"Все знания и силы... здоровью человека, лечению и предупреждению заболеваний.- Примерно так.- Ничем не помрачить честь... трудиться, где это нужно..."

- Ты поедешь сейчас со мной в Исфахан,- объявил визирь.- Вот указ: решение суда отменено. Собирайся.

- И не подумаю! - (Лучше бы вам не связываться с нами. Жалко вы будете выглядеть, если мы начнем крыть вас вашим же оружием).-Я такой знаешь: если меня выставили из дома, где я чем-то не угодил хозяину, я в этот дом больше не полезу, пусть хоть горит.

"Быть всегда готовым оказать должную помощь, заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну..."

- Собирайся! - гневно крикнул визирь.

Именно в таких горячих случаях правители, не обладающие логикой и припертые к стене, бросают на плаху тех, кого не могут одолеть умом.

Но Изз аль-Мульк все-таки сын великого Низама аль-Мулька:

- Там дети кричат в огне!

Эх, если б не клятва...

- Если я не сумею их вылечить, меня не казнят за неумение? И если сумею, не обвинят в колдовстве?

- Боишься?- Визирь знает, чем уязвить Омара Хайяма.

Он думает, что знает. Ничего он не знает.

- Нет, просто любопытно. Ведь в этой стране что ни сделай - все худо. Лучше ничего не делать.

Воины из охраны визиря, не утерпев, разожгли во дворе, очищенном от снега, большой костер.

- Мои последние дрова,- проворчал недовольный Омар. - Грабители.

Двор наполнился дымом, и дым поплыл над соседними дворами. Кто-то из соседей сунулся было узнать, что тут происходит, но Ораз, слонявшийся у ворот, обрушил на него такой "грох в горох", что бедняга бежал, не оглядываясь, до самого базара.

И объявил на базаре, что безбожный лекарь прячет у себя шайку Черного Якуба.

Запыхавшийся мухтасиб с подручными, намеренные схватить разбойников вместе с их укрывателем, испытав на себе жесткую силу туркменских плетей, скромно удалились. Приезд визиря скрыть не удалось. Весь город забурился: к звездочету-то нашему... его светлость... Значит, он опять входит в силу.

Беспокойно завозились, заметались в своих теплых уютных жилищах окружной правитель и городской, имамы, ишаны, торговцы.

- Эх! - спохватился кто-то.- А я лишь на днях перестал здороваться с ним.

- Я денег не дал, когда он просил в долг сто динаров.

- Кто мог подумать...

- Сказано: не плюй в колодец...

- Поистине, ему покровительствует сам шайтан.

Пока на базарах, в домах и мечетях шли пересуды, светлейший визирь безуспешно боролся с непокорным лекарем:

- Не тяни! Иначе я увезу тебя силой.

- Вези,- усмехнулся Омар.- Не забудь сковать мне руки за спиной и подвесить к ним колоду. Вот уж в таком-то виде я непременно вылечу твоих болящих.

...Если б не клятва.

- Ну, чего ты хочешь? - взвизгнул Изз аль-Мульк. Схватил кувшин: бульк-бульк, подумав, что в нем - вода. И задохнулся, хлебнув ячменной водки.

- Не надрывайся, милейший. Цвет лица у тебя сейчас опасный, сине-багровый, как свекла. Как бы мне еще тебя не пришлось лечить от удара. Надо бы кровь пустить. Чего я хочу? Я хочу спросить: где же они?

Кто? - в слезах выдохнул визирь. У него под горбатым носом повисла прозрачная капля.

- Ну, те, которые меня судили. Где они все? Шейхи, имамы, улемы. И прочие достойные служители правой веры. Где их священные заклинания? Или голос у них сел от приторно-сладкого шербета? Почему эта орава не возносит к престолу аллаха чудодейственных молитв о незамедлительном исцелении их блистательных высочеств от оспы?

- Возносит,- отер визирь свой внушительный нос.

- И что?

- По воле божьей...

- ...царевичи продолжают хворать? Но, раз уж так хочет сам бог, смею ли я, ничтожный, идти наперекор его воле?

- Не издевайся,- взмолился визирь.

- А! - Узрев, что его и впрямь сей миг может хватить удар, Омар произнес уже совсем по-другому, без яда, скучаяще: - Пять тысяч динаров.

- Что? - очнулся визирь, услышав наконец нечто знакомое, родное.

- Видишь ли, о достойный,- устало вздохнул Омар.- С царской властью теперь у меня дела как у сезонного работника-строителя с заказчиком: я делаю - вы даете деньги, даете деньги - я делаю. Что будет с ней, этой властью, через год, через десять лет, через сто, меня не волнует. Она у вас, и вам виднее.

Усами я мету кабацкий пол давно,

Душа моя глуха к добру и злу равно.

Обрушься мир,- во сне хмельном пробормочу:

"Скатилось, кажется, ячменное зерно". Омар вылил в медный тазик кувшин ячменной водки.

- Отсчитай сюда пять тысяч динаров.

- Зачем же - в нее? - удивился визирь, доставая из ковровой сумы большой тяжелый кошель и морщась от горького водочного духа.

- Чтоб смыть заразу.

- Я не хворый, можешь поверить! И деньги эти - из моей казны.- Визирю полегчало. И пар спиртной его развеселил и, главное, раз уж разговор зашел о золоте, значит, можно поладить с упрямым. Именно неподкупной его твердости стоять на своем визирь и боялся, когда скакал во всю прыть по заснеженным дорогам в Нишапур. Теперь дело иное. Омар, конечно, человек неуживчивый, но врач редких способностей.- Возьми, тут как раз пять тысяч.

- Посчитай.

- Ты мне не веришь? - оскорбился визирь.

- Милейший! Я больше никому не верю. Отсчитай по одной монете ровно пять тысяч.

- Время идет!

- Где ты был раньше?

Пришлось визирю с душевным скрежетом считать монеты. Груда золота. Визиревы приближенные глаз не могли от нее оторвать.

- И впрямь не стоит портить водку.- Омар вылил ее назад в кувшин.- Мы лучше выпьем ее. Хочешь?

- Отстань!

- Зря. Полезная вещь. Я выпью. Чтоб не мерзнуть в дороге. Отсчитал? Хорошо. Скажи, как быстро! Тебе бы менялой быть.- Омар ссыпал монеты в кошель, сунул увесистый кошель к себе под накинутый тулуп.- Это деньги за "Наврузнамэ".- сказал он визирю дружелюбно,- ведь ты оценил ее как раз в пять тысяч, не так ли? С тебя еще две тысячи динаров задатка за лечение царевичей. Три тысячи отдашь в Исфахане...

- У меня... нет с собой больше денег! - опешил визирь.

Он чуть не плакал от унижения, от стыда перед приближенными. Не беда! Перетерпит.

- Больше денег нет? Вели позвать... городского судью Хусайна ибн Али ибн Микаля. Он человек богатый. От трудов праведных. Пусть пожертвует две тысячи во здравие их высочеств сельджукских царевичей.

- Позовите,- растерянно велел сановник своим приближенным, впервые в жизни наблюдавшим подобное зрелище. Они не знали, что и думать.

Ораз, тот сдержанно похохатывал, мигая Омару: мол так и надо.

Понимал Омар, что затеял не совсем достойное лицедейство и что сам он в нем выступает в не очень-то приглядном виде. Но разве не гнусное лицедейство - суд над ним в Исфахане и здесь, в Нишапуре? Он комедиант не хуже других, раз уж на то пошло...

Судья Хусайн ибн Али ибн Микаль колени и локти разбил, так быстро бежал он, скользя и падая по обледенелым колдобинам. Сразу видно, что не тюрк, - тот за сто шагов поехал бы на коне. Узрев Омара, дружески беседующего с визирем, несчастный судья вообразил, что звезда его вот-вот сорвется с небосвода и канет в непроглядную пучину. С должности снимут, усадьбу отнимут. Светопреставление! Будь проклят день и час, когда заключил он с коварной старухой Айше хитрую сделку.

- Я в городе вашем... оказался... в стесненных обстоятельствах,- хмуро сказал визирь, не глядя на судью, на сей раз разбившему лоб - с таким неистовым рвением он пал ниц перед его светлостью.- Не дашь ли ты мне... займы... две тысячи динаров?

"И только?" - возликовал судья.

- Ради бога! Хоть... двадцать две. Хоть... все имущество. Ну-ка!- Он вырвал у слуги коверную суму. Которую, зная, чем обычно кончаются встречи с высокопоставленными особами из столицы, предусмотрительно велел захватить.

Омар молча ткнул пальцем перед собой, показывая, куда ссыпать монеты.

- Услужить... великому визирю... и мудрейшему из ученых...- Судья торопливо выкладывал деньги, плотно увязанные в виде колбасок, стопками по тридцать динаров в шелковых тряпицах. Прямые тяжелые колбаски в его трясущихся руках стукались, издавая сквозь шелк приглушенное звяканье.- Жизнь готов отдать...

- Жизнь свою оставьте себе, почтенный,- любезно сказал ему Омар, пересчитав деньги.- Она вам еще пригодится... для добрых дел. Может быть, о справедливейший, расписку дать?- озарил он судью сладчайшей улыбкой.- Или вы и так поверите нам, великому визирю и личному царскому лекарю? Торопимся мы.

- Ах... вах... аллах! - задохнулся судья.- Что вы, сударь. Я для вас...

- Ну, дай вам бог! - приласкал его царский лекарь своей лучезарной милостью.- За нами не пропадет. Я нечего, как видите, не забываю. Как п'оживает ваша почтенная сестрица Айше? Передайте ей мой солнечный привет. И прекрасной племяннице вашей... э-э... Сорейе.

Я уезжаю в Исфахан. Ее величество царица Туркан-Хатун призывает меня пред очи свои. Не возьмете ли вы на себя, о честнейший из честнейших, труд присмотреть за моим убогим домом? Чтобы какой-нибудь мошенник не захватил его в мое отсутствие.

- Стражу! - рявкнул судья. И просипел: - Поставлю... Слуг найму. Хранить, подметать...

- Хорошо. Теперь найдите и пришлите ко мне главу здешних саррафов - менял.

- Бегу!

Визирь застонал от нетерпенья.

- Чего ты? - обозлился Омар.- Не могу же я возить с собой столько денег. И дома не могу оставить, украдут.

Он взял себе лишь тысячу динаров, а шесть сдал неторопливо явившемуся саррафу и получил взамен шесть пергаментных чеков с золотыми знаками. Теперь он мог в любом мусульманском городе, от Феса в Магрибе, омываемом атлантическими волнами, до пыльного Турфана в Китае, предъявив чеки, незамедлительно, без пустых разглагольствований, получить все свои деньги, или, по желанию, их часть.

Они не пропадут. Если только не случится новый всемирный потоп. Чеки учитываются быстрее, чем идет поступление налогов в казну самых сильных правителей.

...Резкий ветер сыпал снеговую крупку. Заледенели крыши, гребни оград, голые ветви деревьев. Труден будет путь.

"Эх, не поехал бы я никуда! В такую-то погоду. Хорошо бы наполнить пять-шесть жаровен,- если б они были,- горячим древесным углем, закрыть плотно ставни, зажечь десять-пятнадцать свечей и лежать на старой тахте, укрывшись новым меховым тулупом,- если б он был. Теперь можно б купить, выгнав к шайтану визиря.

Если б не клятва Гиппократата..."

- Ну, все! Я готов. Где моя лошадь?

- Разве ты... ничего с собой не берешь? - мрачно спросил визирь.

- Что значит - ничего? Как говаривал мой покойный дед, древний грек Диоген, мир его праху, "все мое - со мной".- И Омар, усмехаясь, натянул на себя драный отцовский тулуп.

Исфахан будто вымер. Никого на базарах с пустыми прилавками. Никого на грязных, давно не подметавшихся улицах. Даже муэдзинов, зовущих на молитву, не слышно на высоких минаретах, хотя казалось бы, ныне самое время голосить во всю мочь в положенный час.

Лишь у раскрытых ворот, ведущих наружу, в долину, сонно зевает стража. Ей нечего делать. Какой враг, если он не дурак, полезет в заразный город? Да мелькнет впереди кучка людей, несущих легкий катафалк,- мелькнет и торопливо скроется в боковом переулке. Так бывает в городе, через который прошла война: неприятельское войско перебило осажденных, уцелевших увело, и в развалинах потерянно копошатся несколько человек, случайно оставшихся в живых и избежавших плена.

Дворец встретил приехавших тягучим, многоголосым, но каким-то усталым, равнодушным воплем. Оказалось: ночью умер малолетний султан Махмуд, сын Меликшаха и Туркан-Хатун.

- Вот видишь?! - чуть не с кулаками полез на Омара взбешенный Изз аль-Мульк. Мол, из-за тебя. Если б ты не медлил...Во дворце он вновь обрел уверенность в себе,

Омар смиренно произнес бытовую, бесстрастно-утешительную формулу исламской веры, да и не только исламской:

- Бог дал - бог взял.

И тут, после долгого терпения, вся его ненависть, уже без шутовства, в холодном чистом виде, выплеснулась наружу.

- Удивительно одно! - вскричал Омар, проклиная в душе и себя со своими обидами, и клятву Гиппократата, и век дурной, и дурных царей, и вельмож с их дурными страстями. Ему вспомнился Махмуд, мальчик веселый, красивый. И ни в чем не повинный, разве что в безобидных детских шалостях. За сумасбродство взрослых всегда расплачиваются дети: душевной радостью, светом очей, здоровьем, а то и жизнью.- Одно непонятно: зачем было слать

наемных убийц к самому дельному на земле визирю? Травить их руками законного мужа, отца собственного ребенка? И превращать его, этого ребенка, в орудие честолюбия и тщеславия, гнать ученых, ввергать государство в хаос? А? Ради пустых, ничтожных благ в сумасшедшем, неустойчивом мире? Я грешен, но от грехов моих никому не худо...

Омар, задохнувшись, умолк. Точно разноголосый вой печальных шакалов в сырых зарослях, разносились по дворцу тягучие стоны и причитания плакальщиц.

- Слышишь? - скрипнул зубами Омар.- Вот он, итог.

Осмотрев умершего. Омар определил, что семилетний Махмуд сгорел еще до высыпания оспин. Зачит, он болел и особенно тяжелой форме, бедный мальчик. Кто расскажет о его мучениях?

Царевичи лежали каждый в своих покоях. У старшего, шестнадцатилетнего Баркьярука, третий день как начались сильный жар, невыносимая головная боль; разбитость, слабость, боль в крестце.

- Крепись,- подбодрил его Омар.- Жар у тебя завтра, послезавтра пройдет.- Он велел дворцовому врачу почаще давать царевичу гранатовый сок.

У среднего царевича, двенадцатилетнего Мохамеда, на коже и слизистых оболочках глаз, рта и носа уже появились узелки.

- Начинается самое трудное. Который день он болеет? А, пятый. Жар спал позавчера? Сегодня повысится вновь. Узелки перейдут в гнойные пузырьки, мажьте их белой ртутной мазью.

Хуже всех приходилось младшему, восьмилетнему Санджару. У него помрачалось сознание, царевич впадал в буйство, раздирал отросшими ногтями гнойные пузырьки. В минуту просветления он жаловался Омару, что ему не спится, трудно дышать и глотать, все у него болит, слюни текут.

- Привяжите руки к туловищу, пользуйте ртутной мазью, давайте гранатовый сок. И понемногу опия, чтобы спал...

Омар велел сиделкам завязать себе рты и носы кисеей, смоченной в уксусе, и мыть уксусом руки. Сам он мыл руки ячменной водкой. И принимал ее внутрь. Царевичам сменили постель и одежду, зараженную сожгли. В покоях дворца за клубился дым очистительных серных курений.

- Ну, как? - спросил визирь после обхода.

- Баркьярук и Мохамед легче перенесут болезнь, раз уж я здесь.

- А Санджар?

- Мальчик внушает страх,- угрюмо ответил Омар, Его понял, вернее - неправильно понял, слуга-эфиоп - и поспешил с доносом к царевичу. Если б к ретивости верных. слуг да хорошее знание языка и, сверх того, хоть немного ума, конечно, какую бездну недоразумений избежало бы человечество!

Разве думал Омар, что своими этими словами, не таящими в себе ни неприязни, ни злого умысла, лишь беспокойство, навлечет на всю жизнь нелюбовь царевича Санджара, будущего великого султана?

Этот рябой, сухорукий (сломает, свалившись с коня, что позорно для тюрка), угрюмый султан, рожденный в песчаной пустыне, будет любить лишь пустыню - вокруг себя, в глазах и сердцах. Он будет любить терпкий дикий лох, растущий в пустыне, и прикажет, повсюду срубив кипарисы, насадить вместо них дикий лох.

Он умрет жалкой смертью, всеми оставленный, на развалинах своей державы. На нем и кончится династия сельджукидов...

Омар ни днем, ни ночью не отлучался из внутренних покоев, терпеливо выхаживал хворых. Возился с ними, как с родными детьми. Их беспомощность вызывала в нем отцовскую жалость.

Ему понадобилось вновь перелистать труды великих врачей, и он, где-то на пятый день пребывания во дворце, отправился в книгохранилище.

Пыль. На полках, книгах, на полу. Видать, сюда никто давно не заглядывал. Перебирая книги, Омар услышал за спиной чьи-то осторожные шаги. Обернулся - служанка. А! Та самая, в крапинах. Но румянец у нее давно уже выцвел, и даже родинки, кажется, поблекли.

- Сударь,- она пугливо оглянулась,- ее величество царица просит вас к себе.

У Омара дрогнуло сердце. Он знал, что так будет. Не хотел - и ждал.

- Что, снова сладями и пловом хочет меня угостить? Знаешь, от ваших угощений...

- Нет, сударь. Ей теперь не до сладостей. Она повела его какими-то боковыми путями в гарем, в покой царицы. Тяжкий дух повсюду. Открыть бы все двери, распахнуть все ставни на окнах - и держать их открытыми десять дней, чтобы холодным ветром выдуло всю вонь. На что вам золото и бархат? Один глоток свежего воздуха дороже всех ваших богатств.

- Тут бегала одна девчонка, с таким вздернутым носиком.- Он кратко описал ее внешность.- Не знаю, как зовут.

- Хадиче. Уже дней пять, как умерла от оспы.

- М-м. Знаменитых лекарей, конечно, к ней не звали... Женщина, с головой, глухо закрытой покрывалом, сидела, опустив с тахты ноги в золоченых сандалиях.

- Ассаламу ва алейкум!- поклонился Омар. Не ответила, не шелохнулась. Будто спит. Или привыкает к его присутствию. Или обдумывает под покрывалом какую-нибудь каверзу, готовя ему внезапный удар.

Через некоторое время Омар услышал ее глухой, гнусавый голос:

- Омар, я теперь не царица. Я теперь никто. Пожалей и вылечи меня.

- Пусть ее величество снимет покрывало.

- Нет! Я... стесняюсь.

Теперь она стесняется.

- Как же я, не посмотрев, смогу лечить ее величество? Зохре, низко опустив голову, с тяжким вздохом стянула накидку. Омар чуть не закричал от ужаса, увидев белые проплешины на ее темени.

- Подними голову!

Страшное зрелище. Лицо в струпьях. Ни бровей, ни ресниц. Шея охвачена белыми пятнами, образующими как бы кружевной воротник. "Ожерелье Венеры". Кончик носа безобразно приподнят, переносица уже начинает западать.

- Сердце болит, и мозг, и печень,- зарыдала Зохре.- Спаси меня, Омар! Все сокровища свои тебе отдам...

Поздно, милая! Поздно. Теперь тебя может вылечить лишь ангел смерти Азраил. Но разве скажешь ей об этом? Нельзя лишать человека последней надежды.

"Но почему? - взбунтовалось все в нем.- Разве она не знала, на какой вступает путь? Знала. Но не хотела знать. Думала, что обойдется. Ошалела от излишней свободы и легко доступных наслаждений. Она красивая женщина, она царица - ей все простится. Нет, ничего не прощается на земле!"

Он ничего не мог тут сделать. Так далеко зашла болезнь. Никакой на свете врач ее уже не спасет. Даже сам аллах, лучший из врачей. Но и без помощи Омар не хотел оставить Зохре. А чем ей поможешь?

- Хотелось бы знать,- бросил он царице намек, торопясь уйти,- чем был отравлен твой муж, султан Меликшах? Умер сразу, легко, без долгих мучений.

- Будь ты проклят,- прогнусавила Зохре, вновь надевая чадру.

На тринадцатый день язвы у больных стали подсыхать, на тридцатый с них уже отпадали корки. На месте гнойничков остались глубокие рябины, особенно у Санджара.

- Зато,- утешал Омар выздоравливающих,- вы навсегда избавились от оспы. Теперь уж его никогда не заболите. Все вокруг будут лежать и стонать, но к вам зараза больше не пристанет.

- Слава аллаху! - счастливо вздыхали Баркьярук и Мохамед, радуясь, что все их страдания позади, бог с ней, с красотой, царский сын в любом обличье красив, главное - они остались в живых.

Лишь Санджар хлестал Омара жгучими, совсем не подетски злобными взглядами, повергая его в тревожное недоумение.

"Что это с ним? Бедняга,- думал Омар снисходительно.- Он еще не пришел в себя. Наверное, сердится за то, что я велел привязать ему руки к телу. Гнойники нестерпимо чесались. Ничего, скоро все забудет".

Увы, не забудет. Вот если б Омар уморил Баркьярука и Мохамеда и спас одного Санджара, и тот, как единственный наследник Меликшаха, воссел восьми лет на престол...

В те же дни умерла, подавившись отчаянным собственным криком, царица Зохране, и никто не горевал о ней.

...Мертвые успокоились, а живые, едва очнувшись от смертельного страха, опять - за свою недобрую возню.

"Эмир поэтов" Амид Камали, самодовольный, пухлый, на диво округлившийся на царских хлебах, украдкой шепнул Омару:

- Вас желает видеть его светлость Муаид аль-Мульк. Только так, чтоб Изз аль-Мульк не узнал...

Муаид, другой сын покойного Низама аль-Мулька, встретился с Омаром на задворках, в темной сторожке, под охраной верных людей.

- Много ли добра видел учитель от брата нашего Изза аль-Мулька?- сказал напрямик он Омару.

При слабом колеблющемся пламени одинокой свечи лицо его казалось вороватым, как у конокрада, ползущего ночью к пастушьему костру.

- Н-ну... не так, чтобы много,- ответил Омар осторожно, не зная, чего от него хотят.

- Осмелюсь сказать - несколько! - жестко уточнил Муаид.-Разве он не предал вас два года назад? Человек с гордым сердцем не должен это терпеть. Самый раз напомнить о себе. Знайте, песенка нашего брата спета. Беспутной Зохране больше нет, ее сына Махмуда - тоже, мир их праху. Султаном, по воле аллаха, будет провозглашен Баркьярук, законный царский наследник. И визирем при нем должен быть кто? - Муаид говорил задыхаясь, видать, он с трудом соблюдал нужную благопристойность в словах. Тогда как ему хотелось просто схватить Омара за шиворот и приказать: "Делай то, а того не делай, иначе шею сверну".- Так что,- голос его зазвучал угрожающе,- не вздумайте кричать на Совете знатных за брата нашего Изза, извольте кричать за самого достойного из наследников нашего великого отца. Разумеете? Если не хотите прогадать.

Э, как очи боятся прогадать! Никакой урок им не впрок. Государство будет доживать последние минуты, секунды - все равно, вцепившись друг Другу в глотки в кровавой грызне за власть, не разомкнут они скрюченных пальцев. Так и рухнут в глубь преисподней вместе с вдрызг развалившимся царством.

И только сейчас осенила Омара догадка, почему он не может жить среди них.

Собственно, он давно уже знал, почему. Но знал, так сказать изнутри, больше чувством, чем рассудком. Видел их и себя снизу, а не сверху. Теперь его мысли об отношениях с дворцом приобрели некую стройность.

Человек из народа, из самых его глубин, он относился ко всем - пастухам и царям, как равным себе, говорил со всеми на одном языке, никого не унижая и никому не угождая, отличая людей лишь по уму и умению.

Но эти дети - сперва царевичи, а потом уже дети. Сами по себе, как дети, как люди, они никому не нужны. Они - приложение к своему званию. Как любой обыватель-стяжатель всего лишь приложение к собственному имени. Но как царевичи - о, сколько надежд скольких людей связано с ними!

Поскольку все трое - от разных матерей, то за каждым царевичем - род его матери, его дяди, тети, двоюродные братья и сестры, толпа жадных родичей, их воинов, слуг, прихлебателей, целая клика, что спит и видит во сне золото, бархат, почет и почести. И всем им надо угождать, если не хочешь нажить в них врагов.

Изз аль-Мульк, Муаид аль-Мульк - дети царедворца. искушённого в интригах. Они - как хищные рыбы в мутной воде, эта вода - их среда. Если же Омар вновь нырнет в грязный поток, он очень скоро погибнет. Он чужой среди них, и вечно будет для них чужим.

- Ни за кого я не стану кричать,- хмуро сказал Омар.- И на Совет не пойду...

- Что ты?! Опомнись.- С Муаида тут же слетела спесь.- Теперь ты - видный у нас человек. Жизнь и смерть царевичей держал в своих руках. Отныне слово твое имеет огромный вес.

"Эмир поэтов" - сладостно:

- Воистину!

Вот у кого тонкий нюх - сразу учуял, откуда и куда дует ветер, кого бросить, к кому пристать.

- Поможешь-озолочу,-пообещал Муаид.

- До первой встряски,- усмехнулся Омар.- Затем - обдерешь. Слушай, самый достойный из наследников великого Низама аль-Мулька. У тебя есть еще брат, Тадж аль-Мульк. И двоюродный брат, Шихаб уль-Ислам. И все вы вправе метить на эту должность. Верно?

- Верно,- потемнел Муаид.

- Так вот, знайте, мне совершенно все равно, кто из вас будет визирем. Совершенно! Я человек незнатный. Лекарь, поэт и прочее. Заболеешь - смогу помочь. Могу по звездам предсказать твою судьбу,- я с этим замечательно справляюсь, спроси у нишапурского купца Музафара. Могу на дутаре тебе сыграть. Ячменной водкой угостить. А в остальном... не впутывайте меня в ваши дела. Я еду домой, и Нишапур.

Он внезапно и остро, как боль в сердце, ощутил тоску по своему пустому, но чистому дому, по его, лишь ему понятному, доброму уюту, тишине, по своему спокойному, одухотворенно-богатому одиночеству.

Мой совет: будь хмельным и влюбленным всегда,

Быть сановным и важным не стоит труда.

Не нужны всемогущему господу-богу

Ни усы твои, друг, ни моя борода!

- И впрямь... тебе лучше уехать,- проворчал Муаид после долгого угрюмого молчания.

- И впрямь! - возмущенно согласился с ним "эмирпоэтов".

- Станешь визирем,- попросил Омар, уходя,- скажи этим, в Нишапуре, чтобы оставили меня в покое.

- Скажу.

"Так я тебя и оставил в покое! Я за тобой пригляжу бунтарь". Слава богу, он хоть знал, что Омар не побежит на него доносить,- и не стал его резать, душить, травить в этой укромной сторожке...

Омар баснословно разбогател. Три тысячи, по уговору, дал поэту-врачу Изз аль-Мульк, еще не подозревавший, что звезда его, как визиря, уже закатилась. А то бы, наверно, не дал. По две тысячи - Баркьярук и Мохамед. тысячу, скрепя сердце,- маленький Санджар. Две, на всякий случай,- Муаид аль-Мульк.

Даже "эмир поэтов", глубоко довольный тем, что Омар уезжает и, значит, не будет оттеснять его при дворе, предложил, на радостях, пятьсот динаров,- но Омар не взял их у него.

Обменяв звонких десять тысяч динаров у местных саррафов на чеки, Омар собрался домой. Зима была короткой.

Снег и лед быстро стаяли, дороги просохли, над ними уже взметнулась легкая пыль. Исфахан, схоронив треть населения, мало-помалу оживал под весенним солнцем.

Теперь Омар мог навестить Бойре.

Возвращаясь к прошлому, человек ищет знакомые приметы: дерево, дом, ограду. И, не найдя их, впадает в горькое оцепенение, сознавая, что все вокруг изменилось, и сам он уже совсем не такой, как тогда.

Будто землетрясение небывалой силы разрушило Звездный храм! Мало того - поглотило, широко разверзнув твердь, крупные и мелкие обломки. Не только всю обсерваторию растащили по камню прыткие люди,- даже известковый купол, на котором она стояла, они раздолбили, открыв каменоломню. Хватились. Бугор обратился в яму. И трех тополей нет, срубили.

- Н-ну, дай вам бог.

Омар тихо прошел в сторонку, на убогое кладбище, отыскал знакомую могилу. Прочитал, холодея, на камне:

"Экдес". Камень - тот самый, первый, который тесал хашишин Курбан. Омар долго хранил его в память о своей победе над пятым постулатом. Когда Экдес умерла, велел высечь на нем ее имя и положить на могилу.

С лебединым долгим рвущимся криком грудью упал Омар на белый камень! И облил его ядовитыми слезами. Больше нет у него ничего на земле. Нет надежды. Нет будущего. Больше незачем жить.

*Жестокий этот мир нас подвергает смене
Безвыходных скорбен, безжалостных мучений.
Блажен, кто побыл в нем недолго и ушел,
А кто не приходил совсем, еще блаженней.*

Омару уже 46.

Караханид Ахмед, брат покойной Туркан-Хатун, будет убит год спустя. Крестоносцы, спасая "гроб господень", возьмут Иерусалим через 5 лет.

Абу-Джафар аль-Хазен, ученый из Хорасана, установивший, что сегмент стеклянного шара способен увеличивать предметы, за "связь с нечистой силой" приговоренный к смерти и избежавший казни, притворившись сумасшедшим, умер 89 лет назад. А скольким людям с ослабевшим зрением принесло бы пользу его открытие.

Улугбек соорудит в Самарканде обсерваторию через 334 года. Еще через 21 год его зарежут. Джордано Бруно сожгут на костре через 506 лет.

Но всего через 32 года (1126), еще при жизни Омара Хайяма, родится Ибн-Рушд (Аверроэс), который в своей блестящей книге "Опровержение опровержения" навсегда пригвоздит к позорному столбу хилого мистика Абу-Хамида Газали и ему подобных мрачных ревнителей правой веры.

Вернулся Омар домой: двор загажен, всюду битый кирпич, палки, тряпки. Прошел в садик за домом: там, объедая только что зазеленевшие ветви, пасутся чьи-то козы.

- Что это значит? - посетил он судью.

- Ах, виноват! Дела. Это все соседские дети. Разве за ними уследишь? И потом,- он хитро прищурился,- мы, убогие, здесь вообразили, что вы уже больше не вернетесь в Нишапур. Разве его милости не предлагали остаться при дворе?

- Предлагали,- вздохнул Омар.- Я не пожелал.

"Он не пожелал!- У судьи засверкали глаза.- Ну, любезный, кого ты морочишь. Какой дурак по доброй воле покинет царский двор, если уж он в него попал? Сказал бы лучше: опять изгнали, выкинули с позором. Теперь я с тобой разделаюсь". И, сразу обнаглев:

- А долг?

- Какой долг - удивился Омар.

- Две тысячи! - ехидно напомнил судья.- Две тыщонки золотых динарчиков.

- Ты дал их взаймы Иззу аль-Мульку,- ответил Омар невозмутимо,- с него и требуй. У меня есть свидетели,- важно подчеркнул Омар.

- Но ведь Изз уже не визирь! - вскричал судья, перед которым с беззвучным громом разверзлась пропасть его невосполнимой утраты.

- Не визирь,- подтвердил Омар равнодушно.

- Как же...- Судья чуть не плакал.

- Да, прогадал ты, сукин сын,- сказал Омар лениво и благодушно.- Впредь не впутывайся в темные дела. Надо было взять у него расписку.

- Расписку... но я... я думал... как же мне быть теперь?

Точно такой же вопрос с недоумением задавал себе Омар еще недавно, после суда.

- Посоветуйся со старухой Айше.

- Я упеку ее, стерву! Я разгромлю ее притон...

- Как знаешь.- Омар махнул рукой и медленно удалился. Ему не хотелось разговаривать. Устал он от всего.

Он взял на базаре двух метельщиков и повел их к себе. Пока они шли, беседуя, по каменистым улицам, по тем же улицам уже полз вслед за ними по городу слух:

- Наш-то... дикий человек... опять что-то натворил в Исфакане. Избили палками и прогнали.

- Не палками - плетью...

Они, эти слухи, дойдут, конечно, до Омара. Но он уже научился отражать ядовитые стрелы сплетен крепким щитом презрительного безразличия, пряча обиду глубоко внутрь. Хотя и утомительно это - держать тяжелый щит всегда наготове. Много сил душевных отнимает. Недаром есть выражение: "Согбен, как щитоносец". Но что поделаешь? Их много, Омар один.

Не будешь же бегать по улицам и доказывать с пеной на губах, как сумасшедший, каждому встречному дураку и болтуну, что он - дурак и бессовестный болтун? Бог с ними! Смолчим. Перетерпим и это. Посмотрим, чем они разживутся на гнусной своей болтовне. Может, выдохнутся когда-нибудь?

*Ему же остается одно: очередное четверостишие:
Будь милосердной, жизнь, мой виночерпий злой:
Мне лжи, бездушия и подлости отстой
Довольно подливать! Поистине из кубка
Готов я выплеснуть напиток горький твой...*

Пусть. Разве сумеют они злопыхательством остановить вращение земного шара, наступление весны? Все равно она уже бушует в Нишапуре. Густой благодатный ливень орошает прогретую солнцем землю. И омывает усталую душу. Всюду хризопразовая зелень свежей травы, даже на крышах, обмазанных глиной. Каждая крыша обратилась в лужайку с алыми маками.

*Трава, которую в саду твоём окаймлена
Рябь звонкого ручья, душиста и нежна.
Ее с презрением ты не топчи, - быть может,
Из праха ангельской красоты возшла она?
И далее:*

*Знай - в каждом атоме тут, на земле, таится
Кумир, смеявшийся когда-то, белолицый;
Снимай же бережно пылинку с милых кос -
Прелестных локонов была она частицей.*

Бродят теплые соки в жилах деревьев, бродят соки хмельные в жилах людей, пробуждая алые воспоминания. Именно алые,- закроешь глаза, побывав на весеннем солнце, в них - алый пламень.

Нет, не нужно воспоминаний. От них одно беспокойство. Их сладость очень скоро оборачивается горечью. Что толку все озираться назад? Омар, прибравшись, оглядел свой обширный плотно утопанный двор. Сколько земли пропадает впустую. Лошадей и повозок у него нет и никогда, пожалуй, не будет; предел его мечтаний - купить когда-нибудь верхового крепкого осла для недалних поездок. Ну, это потом, когда-нибудь.

А пока что Омар обзавелся остро отточенной лопатой, мотыгой, кривым садовым ножом. Обнаженный до пояса, с плотными мышцами и втянутым животом, еще крепкий, по-юношески ладный, он изо дня в день копал понемногу твердую землю двора. Загорел. Ему дышалось глубоко и легко. Хорошо спалось. И ячменной водки не нужно. Он пил охлажденный отвар из разных сушеных плодов или кислое молоко, разведенное ключевой студеной водой - питьевую чистую воду ему доставлял водонос.

Он натер на ладонях мозоли. И радовался им, как мальчишка, впервые вышедший в поле помочь отцу. За этим добрым занятием и застал поэта, где-то в середине фарвардина (март - апрель), один молодой человек, несмело постучавшийся в калитку.

- Дозвольте, учитель?

- Входи.

- Отнесите на помост,- приказал молодой человек двум носильщикам, пришедшим с ним.

Один втащил завернутую в рогожу баранью жирную тушу, другой с натугой внес большую корчагу.

Держался гость с той скромной уверенностью и приветливой готовностью услужить, из-за которых незнакомый, но почему-то расположенный к тебе человек начинает сразу казаться хорошим знакомым.

Он, пораженный, оглядел взрытую землю, остановил удивленный взгляд на лопате, воткнутой в грядку, и в длинных темных его глазах неопределенно скользнула растерянность.

Омар, недоверчивый, осторожный, надел легкий халат, поправил на помосте подстилку, мягкие валики с кистями на концах. Гостей не встречают вопросами, но Омару некогда чиниться, да и охоты нет к тому.

- Чем могу быть полезен? - пододвинул он чашку с шербетом, едва гость, отпустив носильщиков и сбросив обувь, влез на помост.

Омар заметил, что у пришельца дрогнули ноздри, когда он поднес чашку с шербетом ко рту: нюхает, не вино ли? Не вино, сукин сын! Водичка кисло-сладкая. Шербет. Ведь он-то еще не запрещен?

- Халиль мое имя,- назвалса молодой человек.- Я родом из Мерва. Недавно переехали сюда всем семейством, отец мой торгует драгоценными камнями. Учился я в Мерве, теперь - в здешнем медресе. Но... ваша милость, наверное, знает, какого рода науки тут преподают. Математика - я имею в виду настоящую, высшую,- уже забыта. Я же с детства люблю ее.

- Да? - оживился Омар.

- Но в медресе никто не отвечает на мои вопросы, даже не понимает их. Оскудение.

- Я знаю,- угрюмо кивнул Омар.- Прямую линию, даже по линейке, не могут, обалдуи, провести как следует, она у них получается, как след змеи, которую ящерваран укусил за хвост...

- Обидно, учитель! - горячо воскликнул гость.- Может, у нас, восточных людей, ум и впрямь ленивый? Но ведь вот...

Он вынул из-за пазухи книгу в темной обложке, раскрыл заглавный лист. И Омар узнал свой "Трактат о доказательствах задач алгебры и альмукабалы". Вернее, список с него. Значит, не пропал его труд, не сгинул бесследно! Горячая волна прихлынула к сердцу и ударила в глаза слезой.

Гость знал, чем его покорить.

- Вот здесь, с этим уравнением, не все мне понятно,- нашел он по закладке нужную страницу.- Вы утверждаете: "куб и ребра равны квадратам и числу".

- Так.- Настороженность Омара уже проходила.- Ну, и что?

- Простите, учитель,- Халиль с трудом превозмог свою робость,- но вы... не соизволили заметить, что гипербола и окружность, которыми вы пользуетесь, могут пересекаться в четырех точках. И потому прошли мимо возможности трех различных корней кубического уравнения. Абсцисса одной точки пересечения не отвечает здесь уравнению.- Он достал другую книгу.- В четвертой книге "Конических сечений" Аполлония...

- В четвертой? А! Я ее не читал, когда писал свой трактат. Она попалась мне позже. Но ничего особенного я в ней не нашел.

- Что вы, учитель?! Смотрите...

Весь день, склонившись над книгами и тыча циркулем и линейкой то в чертежи, то друг в друга, они бились над этим уравнением:

- Положим ВС равной данному числу квадратов...

- Поэтому квадрат ВД относится к квадрату ВЕ, как ЕС к ЕА, и тело, основание которого есть квадрат ВД и высота - ЕА, равно телу, основание...

Сосед, привлеченный шумным спором, украдкой высунул голову над оградой. Тот самый сосед, что зимой вообразил, будто лекарь-безбожник прячет у себя шайку Черного Якуба. Он и

сейчас подхватился было бежать к мухтасибу, заявить на двух богомерзких колдунов, произносящих черные заклинания с явной целью повалить минарет квартальной мечети. Иначе к чему бы они, их заклинания?

Но, вспомнив, чем кончилась та прошлая история, он счел за лучшее остаться на месте и послушать. Может, удастся услышать что-нибудь такое... этакое. Ему уже награда мерещилась.

- Куб BC равен данному числу своих квадратов, и тело, высота которого есть BC , а основание - квадрат $ВД$, равно данному числу...

- У Аполлония...

- Если S больше BC , сделаем $ВА$ равной S и построим круг на $АС$ как на диаметре. Тогда гипербола, которая проходит через точку A , пересечет круг...

- В "Конических сечениях"...

Любопытный сосед, блаженно озираясь, тихо и жутко взвизгнул, хитро подмигнул сам себе, сполз с ограды и, раскорячив ноги, поплелся к отхожему месту. Его вскоре так и доконает страх перед тайными врагами истинной веры. После смерти он будет объявлен святым, и много поколений мусульман пройдут со вздохом и стоном возле его могилы.

...Омар горячился, кипел, он даже охрип от волнения: он был готов избить сопляка, который взял на себя смелость уличить его в ошибке. Но, к вечеру, припертый к стене, согласился с печалью:

- Да. Проклятый чертеж меня ввел в заблуждение. Обнаружить на нем данный случай чрезвычайно трудно. Конечно, попадись мне четвертая книга "Конических сечений" в те времена, я не сделал бы столь досадного упущения. Но какой в те времена Аполлоний? Когда живешь в чужом доме, ешь чужой хлеб...- Он, расстроенный, метался по рыхлой, взрытой земле, набирая ее в обувь, отчего сердился еще больше. Дрыгнув сперва одной, затем другой ногой, зашвырнул туфли в дальний угол двора.- Утром не знаешь, что произойдет с тобою к вечеру. И вечером не представляешь, что случится к утру. Что у тебя в корчаге?

- Вино. Греческое, отменное.

- Наливай! Выпьем за Аполлония.

Отречься от вина? Да это все равно,

Что жизнь отдать? Чем возместить вино?

Могу ль я быть приверженцем ислама,

Когда им высшее из благ запрещено?.. - Математика - мое побочное увлечение,- признался Халиль, наевшись, напившись.- Я хочу древних греков философию изучать. Но меня богословием пичкают. Зачем? В медресе ничего ценного не дают. Не учат, а калечат. Учителями став, мы, в свою очередь, будем калечить других. Те - последующих. И так далеко забредем, между правдой и ложью плутая, что тысячу лет выбираться из неведомых дебрей придется.

- Ничего! - усмехнулся Омар его мервскому говору.- Не бывает лишних знаний. Я тоже когда-то негодовал, что доводится засорять свою голову всякой несурезицей. И лишь затем догадался: это к лучшему. Не постигнув всей несусветности богословия, не сможешь его сопоставить с наукой истинной, сравнить их и выбрать верный путь. Все надо знать! Даже Талмуд еврейский.

- Не всякий способен выбрать верный путь,- вздохнул Халиль.

- Ему следует помочь! Философия древних греков? Фалес. Пифагор. Гераклит.- Омар весь загорелся, попав, наконец, в свою стихию. Лицо у него запылало.- Демокрит. Аристотель. Хорошо! Я расскажу тебе о них. Но знай - их учение неисчерпаемо. Необходимо огромное терпение и прилежание. Главное - природная любознательность. С нею можно все одолеть. А у

тебя, я вижу, она есть. Будем заниматься каждый день. Для удобства, если хочешь, переселяйся ко мне. Места хватит.

- Не могу. Родитель...

- Ходи.

- Если учитель позволит, я буду его посещать на рассвете. Знаете, шейхи наши...

- Изволь! Я встаю очень рано.

Они расстались, радуясь друг другу, как невероятно удачной находке.

Шахразури:

"Его ученик Абуль-Хатим Музафар аль-Исфазари с учениками и слушателями был приветлив и ласков - в противоположность самому Омару Хаияму".

Преобразился Омар. Как человек, обронивший огниво в черной пещере у давно погасшего костра и после долгих мучений нашаривший его в кромешной тьме. Жизнь снова приобрела весомый смысл.

Истинное знание. Оно как семя благородного чинара, зарытое на пустыре. Долго, очень долго набирается соков земных, набухает твердое семя. Над ним, на поверхности почвы, каждой весной раскидывается нежным зеленым ковром тьма всяких небольших растений: ярких маков, желтых лютиков, голубого цикория, подорожника, полыни. Все это радует глаз. Но, покрасовавшись одну весну и лето, к осенней поре превращается в грязный и чахлый бурьян.

Семя чинара зреет медленно, трудно, но - неотвратимо.

И вот однажды оно робко проклюнулось к свету. Сколько опасностей ждет его на пустыре! Его может раздавить тяжелым раздвоенным копытом пасущаяся здесь корова. Может беспечно сжевать коза, дурные глаза. Разве она думает, что уничтожает росток, который должен превратиться в огромное дерево? Нет. Козы не думают об этом.

То, чему суждено долго жить, развивается медленно. Природа, в основных своих замыслах, не терпит поспешности. Что сделано поспешно, быстро отживает. Сказано: никуда не торопись, никогда не опоздаешь.

Если стадо вечно голодных коз и коров не истопчет пустырь в серую пыль и если вечно голодный человек не пройдет здесь, ради тех же коз и коров, с косой и серпом, то уцелеет росток. Весенние ливни будут его поить, земля, в которой есть все для жизни, питать, - и встанет со временем здесь исполинское вечное дерево...

Повеселел, распрямылся Омар. Ходил по улице гордый, довольный. Глядел на встречных победоносно. Злобствуйте, сколько хотите! Все равно у меня есть то, чего у вас нет и никогда не будет. У меня есть Ученик. Погодите. Мы вам покажем.

Он купил себе самую дорогую и красивую одежду, какая нашлась в Нишапуре. "Экий теперь я фазан". В душе жаворонок у него поселился! Он уже обращал внимание на нехватки в хозяйстве, которых раньше не замечал: кувшины поразбились, чашки почти все раскололись, стало, считай, не из чего есть и пить.

Надо бы обновить утварь.

Проводив Халилю на восходе солнца и повозившись в цветнике, Омар, спустя два часа, отправился к Сабиту, лучшему из гончаров Нишапура.

По дороге, в одном из тихих переулков, прилегающих к Большому базару, его окликнул плачущий женский голос:

- Омар!

Обернулся - к нему бежит кто-то маленький в большой чадре. Раскрыла чадру: Сорейя!

- Здравствуй, Омар.- Она переминалась с ноги на ногу, и радуясь встрече, и смущаясь.- Как живешь?

- Хорошо живу,- проворчал Омар неприветливо.

- Вижу,- улыбнулась она игриво-беспомощной, жалкой улыбкой.- Как одет! Помолодел, похорошел. И в глазах - весна. Я хочу!- Она всхлипнула.- Хочу к тебе...

- Что,- нахмурился Омар,- опять что-нибудь задумали со старухой Айше?

- Нет! Не будь так жесток. Я соскучилась.

- А! Что ж, можем... Сколько за вечер берешь? Денег теперь у меня - лень считать.

Он будто плетью перетянул ее наискось по спине - так она вся передернулась, перегнулась.

- Я... так, без денег,- прошептала Сорейя, опустив свои дивные зеленые глаза, мокрые от слез.

- Ну? Чудеса. Ладно, зайду как-нибудь.

Он повернулся, мрачный, пошел.

- погоди! - крикнула она тем же плачущим голосом.

Оглянулся: стоит посреди переулка с открытым лицом и умоляющими глазами.-Пожалеешь ты когда-нибудь обо мне...

- Уже жалею, дура! - рявкнул Омар. И кинул ей кошель со ста динарами. Кошель, тяжело звякнув, упал ей под ноги.- Поезжай-ка ты лучше домой, в родное селение. Кто что знает? Выйдешь замуж за честного земледельца, схоронившего жену. Станешь матерью.

- Хорошо.- Сорейя, разрыдавшись, подняла кошель.- Уеду. Найду на базаре односельчан. И сегодня же уеду. Прощай...

Весеннего звона в ушах Омара поубавилось. И желание покупать чашки-плошки пропало. И пришел он к Сабиту угрюмый.

- А, поэт! - кивнул ему гончар, не отрываясь от работы.- Прости,- он указал бородою на круг, где ком глины уже принимал какую-то форму.- Самый разгар. Не могу оставить. Знаешь.

- Знаю,- вздохнул Омар.

Еще бы не знать.

- Эй, Мефтах! - крикнул мастер сыну, который поодаль сидел под навесом у другого станка.- Вымой руки, дай гостю вина.

Сабиту - столько же, сколько Омару, а какой у него уже взрослый сын. У Омара тоже мог быть сын. Но разве у него нет его? Теперь есть. И еще какой - всем на диво.

Прихлебывая горьковатое светлое вино, Омар осматривал ряды готовых кувшинов, горшков, чаш и широких блюд, выставленных сушиться на горячем солнце, посреди широкого двора. В стороне, рядом с ямой для глины, курился дымок над обжигальной печью.

Мне чаща чистого вина всегда желанна,

И стоны нежных флейт я б слушал неустанно.

Когда гончар мой прах преобразит в кувшин,

Пускай наполненным он будет постоянно. Омар возвратился глазами к Сабиту, к его ноге, упруго и равномерно нажимающей на рычаг рабочего приспособления, к его рукам, бережно и нежно оглаживающим блестящую глину и похожим на руки женщины, что купает ребенка.

- Осушил? - Сабит показал глазами на пустую чашу в руках Омара.- Щелкни по ней ногтем и поднеси к уху.

Щелкнул Омар, поднес. Из маленькой чаши, из ее тонких стенок, как из раковины - шум и плеск океана, долетел до него чей-то далекий-далекий, чистый певучий зов: то ли звон Занге-Сахро, то ли печальный голос Экдес, то ли недавний плачущий крик Сорейи. То ли стон другой, давно умершей женщины, чьи кости, рассыпавшись в прах, смешались с песком и глиной и попали в эту чашу.

Он грустно улыбнулся Сабиту, и тот ответил ему такой же невеселой, понимающей улыбкой. Это чудо труда! Разве это - не поэзия? И чем гончар Сабит не поэт? И глина - не просто прах, который замесили на мутной воде. В ней тайна. В ней мудрость тысячелетий.

*Я к гончару зашел. Он за комком комок
Клал глину влажную на круглый свой станок.
Лепил он горлышки и ручки для кувшинов
Из царских черепов и из пастушьих ног...*

- Теперь пусть сохнет,- закончил работу Сабит. Он вымыл руки в ручье, подсел, вытирая их грязным передником, к Омару.

- Хочу посмотреть, отобрать у тебя кое-что,- сообщил Омар неохотно.

- Смотри, выбирай.- Сабит показал рукой.- Вон, под тем навесом, по ту сторону двора, готовый товар. Омар отложил десять-пятнадцать вещей.

- Пришлешь их к вечеру ко мне.

- Хорошо,- кивнул Сабит. И вдруг: - Ну, как... твой ученик?

- Ты-то откуда знаешь о нем? - удивился Омар.

- Мы тут, в своих грязных ямах, все знаем.- Гончар долго молчал, то ли что-то желая скрыть, то ли - открыть, но не смея или не умея.

- Ну? - поощрил горшечника Омар, обеспокоенный его странным поведением.

- Ладно,- вздохнул гончар.- Так уж быть. Скажу. Ты человек хороший.- Он вытер вновь, теперь уже сухие руки, мокрым передником.- Сегодня пятница? Зайди в соборную мечеть. Но только так, чтобы тебя не узнали. Переоденься. Закрой чем-нибудь лицо.

- А что случилось? - встревожился Омар.

- Там узнаешь.

- Скажи!

- Сам узнаешь.

Омар забежал домой - взять денег, сходил на базар, в арабскую лавку, купил бедуинскую одежду, вновь вернулся домой. Надел бурнус, большой платок на голову, спустив его на глаза и закрепив шерстяным жгутом. Глянул в зеркало - теперь его никто не узнает. Туфли с загнутыми носами сменил на сандалии. Взял длинный посох.

Во дворе соборной мечети, выложенном каменными плитами, толпились перед молебном богословы. Посмотрели бы вы на них! Каждый уверен, что занимает на земле видное место и служит великому делу. И мало кто умеет хотя бы писать без ошибок. Омар уже издали услышал звонкий голос своего любимца. Подобрался поближе, сел у стены на каменную скамью.

- Математик он, спору нет, великий,- распинался Халиль.- Таких больше не встретишь в нашей стране. Но разве математикой держится мир? Она может быть и светлым орудием веры, и черным орудием неверия. Все зависит от взглядов того, кто владеет этим орудием. А взгляды у нечестивца...

И пошло, и пошло! Разбит Демокрит, уничтожен Аристотель. Омар Хайям - явный безбожник. Он человек вредный. Таких надо сажать на цепь, как буйных сумасшедших,

Омар, как сидел на скамье, так и скорчился весь, низ ко согнулся, упав руками на колени. Будто на спину ему, внезапно рухнув, навалился большой минарет соборной мечети. Сердце, тяжело дрогнув, подкатилось к горлу и закупорило дыхание. Не можешь вдохнуть, и все.

"Умираю". Он встал кое-как, побрел к фонтану. Ополоснул лицо и шею, смочил грудь. Отпустило. Что ж, крикнуть, броситься, избить подлеца?

Спокойно, Омар, спокойно! В этой стране что ни сделаешь, что ни скажешь, пусть из самых лучших побуждений, будет сразу обращено тебе же во зло. Закон почему-то всегда на стороне мошенников. Иного бы надо убить, как вошь. Но попробуй тронь...

Ладно. Перетерпим и это!

Он побрел в харчевню "Увы мне". Пить ничего не стал. Отыскал известных трубачей и барабанщиков.

- Приходите к вечеру ко мне. Угощу. Будете утром нужны.

...Диоген, убедившись, что может напиться прямо из ручья, разбил свою единственную чашу, чтобы она не обременяла его. Омар, возвратившись домой, вдрызг перебил последние миски, чашки и плошки. Потому что из них ел и пил негодяй Халиль.

Разбил, успокоился. К вечеру Сабит доставит новые.

- Как же так? - шептал он с горечью, потерянно слоняясь по чистым дорожкам в уже зазеленевшем цветнике.- Как же так, о мусульмане...

Неужто подослан Халиль?

Или - он сам, по доброй воле, из желания кому-то угодить?

Но как может умный человек служить мракобесию? Раз уж у него хватило пытливого терпения внимательно, ничего не упуская, прочесть трактаты Омара и Аполлония, сравнить их главное, сделать толковые выводы, то, значит, он юноша одаренный и мог бы со временем стать серьезным математиком.

Эх! Трах в прах! Сто динаров и три фельса! Сколько людей губит свою одаренность ради сиюминутных выгод.

Умная сволочь.

К вечеру Мефтах, сын Сабита, привез на ослиной повозке посуду. С базара притащили заказанную Омаром баранью тушу, из харчевни "Увы мне" - огромную корчагу с вином.

Расплатившись со всеми, Омар, хлебнув на ходу ячменной водки, разжег в летней кухне огонь, чтоб раскалить котел, и, напевая замогильным голосом старую арабскую песню, взялся стряпать жаркое. Приготовление пищи он не доверял другим. И не ел, что приготовлено другими. Что поделаешь? Привычка.

Халиль доволен собой и вчерашним днем. После молебна настоятель соборной мечети весьма милостиво беседовал с ним. Пообещал доходное место. Успех! Что толку в математике, кому она нужна? Будешь бедствовать всю жизнь, как этот несчастный Омар Хайям. Ну и нелепое же создание! Умственный вывих природы...

В положенный час он тихо постучал в калитку и обомлел, когда она распахнулась настежь, и какие-то люди с барабанами и трубами, выйдя, тотчас окружили его.

Загудели огромные трубы, загрохотали барабаны, изо всех окрестных дворов наружу высыпал встревоженный народ. Толпа полусонных людей запрудила улицу. И Халиль, холодея, сообразил: настал час возмездия. Он был бы рад оказаться сей миг где-нибудь в кельях соборной мечети, под защитой богословов.

Поэт сделал знак, барабаны и трубы умолкли.

Омар - страстно:

- О нишапурцы! - С еще большей страстью: - О правоверные! Любуйтесь, вот он, ваш ученый. Каждый день в это время он ходит ко мне набираться ума-разума. И затем говорит обо

мне, что вы знаете. Если я ему неуютен, зачем ходит? Если уютен, зачем позорит своего учителя?

Толпа молчит. Что она может сама, без чьих-то указаний?

О тайнах сокровенных невеждам не кричи

И бисер знания ценных пред глупым не мечи.

Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь:

Лелей свои надежды, но прячь от них ключи.

- Ату его! - Какой-то мальчишка, жуя красные сочные зерна, запустил в Халилю гранатовой кожурой. А что нужно толпе? Ей подай только знак:

- Улю-лю-у!!!

Оплеванный, уничтоженный, белый от унижения, с дрожащими, как у девицы, губами, убрался Халиль. Навсегда. Он не стал великим математиком. И чтобы он стал великим богословом, Омар тоже не слышал. Пропал куда-то бесследно. Бог с ним! Омару уже не до него.

Бывает, путник в зимних горах, стремясь отпугнуть громким криком снежного барса, вызывает... снежную лавину. Омар, желая наказать ученика-предателя, привлек к себе злое внимание соседей, до того обходивших его стороной.

Где нужно оказать настоящую, действенную помощь, их не видно. А где вполне могут без них обойтись, не хотят их даже видеть и слышать - туда они непременно ползут с участием, то есть дурным любопытством, показной заботой и так называемыми "добрыми" советами.

Идет человек по улице, живой, обычный, голодный и хмурый, как все - никому до него дела нет. Но стоит ему оказаться на той же улице с перерезанным горлом, какая огромная толпа тотчас сбежится к нему! Будут толкать друг друга, теснить, ноги отдавлять, лишь бы пролезть вперед и хорошенько разглядеть зияющую багрово-черную рану, кровь на одежде и на земле.

Могут часами смотреть. Заглянут и в тусклые глаза, и в рот, искривленный болью. Отметят бледность кожи на лбу и щеках. Заострившийся белый нос. Странная вещь - человеческое участие.

Они припомнили ему все:

- Человек он, конечно, честный, но...

- Поэт он талантливый, но...

- Лекарь умелый, но...

- Ученый знающий, но...

Но, выходило, чтобы прослыть среди них человеком хорошим, мало честности, таланта, умения и знаний. То есть того, чего как раз им самим не хватало. К их постному и пресному правоверию:

- Он не ходит в мечеть!

А зачем в нее ходить? От молитвы к молитве, изо дня в день, из столетия в столетие там говорится одно и то же. Ни одной свежей мысли! Можно одуреть. Меняется мир, меняется жизнь, меняются люди, а проповедники - знай себе долбят обветшалые истины, не замечая, что люди давно живут иной, своей жизнью и давно ушли от них куда-то другим путем.

Ни с кем невозможно стало говорить серьезно. Только появишься, сразу: "хи-хи-хи", "хо-хо-хо". Черт знает что. Шут он, что ли? Скоморох? Да, наверное. Сам виноват. Разве он живет всерьез? Нет, - с их точки зрения. И впрямь - комедиант.

Уже то, что Омар - один, служило для них веским свидетельством его преступных наклонностей.

- Холостяк - заведомый безбожник,- возмущались соседи.- Разве не сказано в коране: "Женитьба - половина веры"?

Омар отвечал:

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Раз уж ему не дали быть мужем, отцом. Хотя по душевному складу, он предназначен к здоровому отцовству, к спокойной, размеренной жизни в дружной семье.

- Не слушайте его! Он наговорит...

Они бушевали на базаре:

- Принес живой рыбы, пустил ее в лохань с водой. Съел, зажарив, одну, вторую, а третья форель, самая молодая и крепкая, никак не хочет уснуть, все плещется в лохани. И что вы думаете? Он берет кувшин с водой, сует туда рыбу, относит к большому ручью - и отпускает. "За храбрость,- смеется,- за стойкость". Ну, не дурак ли? Рыбу пожалел бессловесную! А денег, отданных за нее, не пожалел. Скажите сами, о мусульмане, разве место такому среди нас, порядочных людей?

Временами Омара охватывала такая досада на окружающих, что он, махнув рукой на весь белый свет, запирался у себя в доме и дней десять, пятнадцать не выходил из него, не отвечал, если стучались в калитку.

И тем настойчивее они к нему стучались.

- В другой раз пошел на базар купить мяса, репы и прочих припасов и вместо них принес домой попугая в красивой клетке. И болтают вместе весь день. Выучил его какой-то абракадабре. Явный дурак! Я бы этому попугаю шею свернула. Зашел к ним на днях мой муж по делу, попугай и давай его донимать: "Чему равен угол падения? А? Остолоп! Чему равен угол падения? - И сам отвечает - этак назидательно, знаете: - Угол падения равен..." Ну, еще какому-то там углу. Почтенный супруг мой даже вспотел, ушел весь красный и мокрый, забыв, зачем приходил.

- Ну, что же,- заметил гончар Сабит.- Попугай - тот хоть способен запомнить и повторить, чему его учат, в отличие от многих людей. Бедный Омар Хайям! Не обливайте его грязью. Наша кровь, наша плоть, наша кость. Наша гордость!

- Наша кость? Он не любит людей.

- Не всех! Далеко не всех. Любознательных обожает. Тех, кто ничего не знает, может понять и простить,- никогда не поздно узнать, если есть желание. Он презирает тех, кто ничего не хочет знать. Я перед ним глубоко преклоняюсь. Как-никак, человек он великий...

- Великий? Ха-ха! Чтобы среди нас... Велик был пророк.

- Даже пророку, как известно, пришлось бежать от таких, как вы, из родной Мекки в чужую Медину.

- А ты... чего это ты заступаешься за безбожника,- вместе пьянствуете?..

Если все удивлялись поступкам, образу жизни Омара, считая его "немного того", то и он не меньше удивлялся их поведению, образу жизни. Да разве так должны жить и держаться серьезные, взрослые люди? Это те же скоморохи! Не от избытка ума, как он сам, а от убожества.

Разговоры эти происходили, конечно, при детях. Как-то раз, вернувшись к себе от Сабита, поэт схватился за голову. Двор снова загажен. Палки, тряпье, кирпичи. Хуже всего - цветник оборван и вытоптан, юные саженцы переломаны.

А ведь он, бывало, приносил ребятам с базара сласти и раздавал у ворот, где они шумно его встречали. Денежную мелочь им дарил. Сласти они, набежав гурьбой, жадно хватили и ели. Во рту же, за щекой, прятали и медные монеты...

Омар, сокрушаясь, обошел соседей. Один смущенно развел руками: что с ними поделаешь, дети есть дети. Сказано: ребенок - выше падишаха, все боятся падишаха, он - не боится. Другой туманно усмехнулся. Третий нагло расхохотался в глаза.

Поэт, чуть не в слезах, прибрал цветник, стараясь спасти что можно. Но стервецы продолжали его допекать. В отсутствие хозяина лезли во двор - и учиняли очередной погром. Зачем?

Поговорить надо с ними. Может, дети поймут, если не понимают взрослые. Однажды, заперев калитку, он украдкой вернулся через понижение в садовой ограде - и застал их на месте преступления.

- Не бойтесь! - печально крикнул Омар, когда они все, как обезьянки, застигнутые бенгальским земледельцем на поле сорго, с визгом кинулись прочь.- Я вас не трону.- Он успел поймать за ногу их заводилу на гребне ограды.- Не хнычь. Ступайте все ко мне.

Они подобралась к нему осторожно, недоверчиво, как цыплята - к ногам человека, рассыпающего для них зерно. Доброта, знаете ли, вещь непонятная. Она пугает: а вдруг подвох? Но страх пересилила надежда: может, сласти будет опять раздавать!

Поэт - со всей любовью, лаской и болью, на какую он был способен:

- Разве можно деревья портить? Если дерево ранить, оно долго чахнет, хворает. Значит, оно живое. А эти сажены,- он с горечью кивнул на обломанные черенки,- все равно как дети...- Омар слегка дернул мальчишку за ухо. "Ай!" - Больно? Им тоже больно. И деревьям, и цветам. Растения надо беречь. От них - свежий воздух, прохлада. Радость. Здоровье.

Они глядели на него, разинув рот. Дерево - живое? Да, не зря говорили родители, что он, хоть и поэт, но пропащий.

- Понимаете?

Нет. Они не понимали. Ишак, баран, козел понимают: если ограда, значит, туда нельзя. И не лезут. Этот - лезет. И гадит. Ему можно.

Вот если дадут по шее, тогда понятно: пакостить продолжай, но не попадайся, а то еще крепче влетит.

Замечено: дети умные, с воображением, всегда находят себе хорошее занятие по душе, развлекают сами себя. Хотя бы мечтают о чем-то необыкновенном. Живут в сказочном мире, придуманном ими самими, и никому от них нет помех.

Глупый ребенок нуждается в ежеминутной опеке. За ним надо следить на каждом шагу, держать за ворот, забавлять. Оставшись один, он оказывается в глухой пустоте и начинает, от пустоты, все ломать и сокрушать. Чуть шевельнется в траве, в кустах жалкое живое существо, он сладострастно хватается за камень, налетает, потный, с яростным желанием - убить.

Богатырем - пехлеваном - у них считается тот, кто может съесть больше всех. Это дети своекорыстных обывателей, никогда, за всю жизнь, не посадивших ни одного дерева, а если и посадивших, то лишь для того, чтобы продавать с него плоды. Продавать! И деньги копить. До всего прочего им дела нет.

Омар, как в детстве, радовался дождю, снегу, солнцу, ветру и поражался, почему другие равнодушны к тому, что у них уже есть. На каждом шагу поминают небо, но никогда не вскинут к нему глаз удивленных, а если и вскинут, то безразлично скользнут по яркой его синеве, по облакам пушистым или звездам, ясно сверкающим.

Их глаза прикованы к жирной кормушке.. Выходит, жить лучше - еще вовсе не значит быть лучше. Сытых много, умных мало. И просто - добрых и честных.

Дети все же оставили двор в покое.

"Слава аллаху!- возликовал Омар.- Разговор не прошел для них даром".

Однако поэт ошибся. На другой же день он услышал за калиткой дикий грохот, звон и скрежет. Будто заезжий медник прямо у его ворот раскинул свою мастерскую.

Он увидел сквозь щель: те же ребята, хитро перемигиваясь, колотят железками в медные тазы и лохани. Бот чем надумали они теперь ему досаждать. Ведь он - философ, писатель, ему нужна тишина, чтобы думать! Получай же, безбожник. Попробуй сказать, что медный таз - тоже существо живое и ему больно.

Нет, конечно. Медному тазу все равно. И медному лбу. Но живому человеку... Омар тихонько, чтобы их не спугнуть, растворил калитку - и только хотел произнести свой неизменный вопрос: "Зачем?" - как их будто ветром сдуло. Через минуту они загремели с другой стороны двора.

А родители - словно оглохли. Неужели им не мешает этот адский грохот? Не мешает, похоже. Злобна глухота душевная, ее и громом небесным не пробьешь.

Звон в ушах. Сердце стучит, кровь густо приливает к мозгу. Глаза лезут на лоб. Голова болит и кружится. Даже в печени боль. Утомление. Он стал надолго уходить из дому. Но стоит вернуться... на базаре, в кузнечном ряду, не бывает такого оглушительного шума. Каждый день. В любой час. С утра до вечера. Ей-богу, этот мир безумен! Собаку, что ли, завести - и напустить на них? Нет, нельзя - изорвет. И ты же будешь виноват. Это только так говорится: собачье терпение. Куда собаке до человека...

Ну, погодите! Не на того напали. Уж если я загремлю, то загремлю. Век будете помнить.

...На базаре уже который день выступал узкоглазый фокусник с косицей, в широком кафтане с разрезами внизу, по бокам. Прятал яйца за пазуху - и вынимал их изо рта. Вытягивал оттуда же бесконечные цветные ленты. Превращал веер в курицу. И все такое.

Омар пригласил китайца в харчевню "Увы мне", угостил ячменной водкой и кашгарской лапшой.

- Бумаги много надо,- бесстрастно молвил гость, послушав Омара.

- Купим сейчас.

- Хорошо. Все остальное у меня есть.

Едва они, придя домой, приступили к делу, мучители опять принялись за свое:

- Динь-динь, бом-бом, там-там!

- Там-там, бом-бом, динь-динь!

- Там-бом, динь-там, динь-бом!

Омара уже трясло от них. Хотелось выйти, схватить башибузука, вскрыть ему череп и посмотреть, что же у него в коробке: человеческий мозг или жгут медной проволоки?

Но фокусник и бровью не повел. Видно, много всякого шума ему довелось услышать за жизнь. Вот уж поистине - восточный человек. Из всех восточных самый восточный. Его голое плоское лицо, по которому трудно судить о возрасте, выражало полную невозмутимость.

Он только и сказал тонким бесчувственным голосом:

- Терпеть надо.

И продолжал свою неторопливую, обстоятельную работу: расщеплял ножом бамбуковую палку на тонкие лучины, резал, красил, клеил бумагу. Связывал широкие ленты. Начинял тонкие трубки из бамбука зернистым черным зельем.

Лишь кончики пальцев у него дрожали.

Дети на какое-то время утомнились: либо сами устали от грохота, что весьма сомнительно, либо их позвали обедать. Чтобы они, бедненькие, набрались сил для своего богоугодного занятия. Как бы там ни было, наступило затишье.

Китаец присел в холодке на корточки, заправил опием курительную трубку. Сделал затяжку, другую, третью. Блаженно закрыл глаза. Раскрыл их, чуть повеселевший, сочувственно кивнул Омару:

- Ничего! Терпеть надо.

Свет? Явится тьма, не замешкав.

Грусть? Будет радость, поверь.

Зло и добро попеременно

Все в ту же стучатся дверь.

Он, безмятежный, сделал новую затяжку.

- Это сказал Цзя И в своей "Оде к сове". Был у нас такой поэт. Мечтал принести пользу народу. И умер, оклеветанный, гонимый...

Утро. Ветерок, упругий, ровный, тянет со стороны сада. Заметив легкий дым, скользящий над воротами ненавистного двора (значит, хозяин еще не ушел), озорники сбежались в условленном месте, злорадно предвкушая отменную забаву.

Предводителем у них - Сабир, сын человека, купившего палаточную мастерскую. Видно, дела у них шли плохо, и они вообразили, что их обманули, подсунув малоодоходное заведение, - и этот человек терпеть не мог Омара. Олух! Не кисть рисует - рука. Не мастерская шьет палатку, а мастер. Мастерская - всего лишь дворик, стены да крыша. Омар с недоумением наблюдал за его сыном сквозь щель в калитке.

Лет десять балбесу. Пора, казалось бы, чуть остепениться. В десять лет Омар уже читал "Геометрию" Эвклида. И тайно любил цыганку Голе-Мохтар. А этот, хилый, долгоногий... он в свои десять умом не старше пятилетнего малыша.

Мальчишка запрокинул голову, страстно сомкнул глаза и в экстазе паскудства грохнул железкой о медный таз.

...И тотчас над воротами, сухо трепеща желтыми перьями, с яростным ревом взмыл огромный, глазастый, в черных узорах дракон. Весь судорожно извиваясь, зловеще помахивая длинным пестрым хвостом, он грозно навис над обомлевшими шутниками - и, утробно рявкнув, рыгнул в них из широкой зубастой пасти огнем и зловонным дымом.

- Уходи через сад, там в ограде пролом.- Омар сунул китайцу деньги.- Укройся в караван-сарай. На базар не выходи, пока здесь все не уладится...

С одним из милых шалунишек приключилось заикание, с другим - недержание: он чуть ли не на каждом шагу пачкал штанишки. У третьего - корчи, у четвертого - еще что-то. Бесчеловечно, конечно.

"Эх, учитель! - ругал себя Омар.- Лучше б собрать их всех и вместе с ними и с китайцем склеить это бумажное диво. Может, и утряслись бы отношения? Но... вражда зашла слишком далеко, я был обозлен до крайности. И как их соберешь? Разве папаша и мамаша им разрешат якшаться с человеком, который не ходит в мечеть? Они ореховый пень способны обозлить. Так, что треснет без железного клина и кувалды".

И - с неизбывной горечью:

- Боже! На что я трачу свой ум, душевные силы... Соседи, потрясая палками, сбежались к Омару. Теперь сбежались...

- Колдун! Злодей! Ты напустил порчу на наших детей. Где твое чудовище?

-Какое чудовище? - "Господин Зачем", как они его прозвали, пнул грудь ярко раскрашенной бумаги, из которой торчали бамбуковые прутья, свисали длинные ленты.- Это? Всего лишь безобидный воздушный змей. Я, видите ли, хотел позабавить ваших детишек,- ведь скучно, не жалея себя и других, с утра до вечера стучать в медные лохани. Не так ли? Или вы, может быть, скажете, что ничего такого не слышали?

Базар. Обычный шум. Суета. Страдальческий рев осла перекрывает мучительные стоны верблюдов. Поэт разыскал особого посредника, занимавшегося куплей-продажей домов:

- Я хорошо тебе заплачу. Найди до завтра небольшую прочную хижину с двориком скромным, но уютным. Чтобы можно было сразу переехать.

- Есть такая! Но далековато. У Зеленого базара.

- И слава богу. Что за хижина?

- В ней жил одинокий старый художник. На днях он умер. Дочь замужем в Балхе. Велела продать.

- Сколько?

- Пятьсот.

- Стоит она этих денег? Не дочь, конечно. Хижина.

- Про дочь не знаю. Хижина - стоит.

- Вода есть?

- Ручей.

- Деревья?

- Плакучая ива. Цветы.

- Соседи?

- Бедный квартал. Напротив, через улочку - писецкаллиграф.

- Значит, человек тихий.

- Тише быть не может! Справа - живописец-миниатюрист.

- И этому незачем шуметь. Слева?

- Вдова. Халаты шьет. Скромная женщина.

- Одна?

- Имеет племянницу. Они из тюрков заречных.

- Сколько лет?

- Тетке - лет пятьдесят, племяннице - двенадцать.

В сок уже входит.

- Хороша?

- Ведь известно: тюрчанки - красивейшие женщины на свете.

- Позади?

- Хлебопек. Печет лепешки на продажу.

- Это хорошо! Можно будет лепешки свежие брать. Но детей у него много?

- Немало.

- Пусть! С этими я полажу. Богословов поблизости нет?

- Ни духу.

- Мечеть близко?

- Не очень.

- Приду сюда во второй половине дня. Сходим, посмотрим. Понравится - тут же составим купчую, деньги внесу.

- Понравится! Старик любил свои домики, держал его в порядке. Для кого покупаешь?
- Для себя.
- Значит, ты продаешь большой дом,- загорелся посредник,- и тебе нужен хороший покупатель?
- Я его сам найду.

...Запах! Жирный чад липнет к губам, оседает на шее. На живодерне и то не бывает такого густого, плотного, хоть рукой пощупай, невыносимого смрада. Разве что в "башнях молчания" зороастрийцев, кое-где сохранивших старую веру. Ты весь в нем - как в яме с дерьмом. Омар закрыл рот и нос кисейной повязкой, его мутило от приторно-гнусного духа.

- Бог в помощь! - постучался он к Сейфи-Сабунгару.
- А! Милости просим, милости просим,- поклонился ему мыловар.- Пусть гость присядет вот здесь, у пролома в стене. Чуть продувает. Мы-то привычны...

В трех больших котлах, издавая отвратительную вонь, клопочет с шипением адская смесь. Мыловар достает черпаком на длинной ручке пахучую жидкость и разливает в остродонные формы. Сутулый, с запавшей грудью, тощий, он весь лоснится, как эфиоп, будто сейчас окатил себя из черпака. Настолько, смешавшись с копотью от костров, вьелся в его кожу зловонный жирный пар.

- Это будет лучшее, твердое мыло,- поясняет Сейфи-Сабунгар с довольной улыбкой. Зубы у него сверкают, точно ком снега в обуглившейся коряге.- А то - жидкое, хуже,- он небрежно обводит рукой большие горшки, что из другого котла наполняет мальчишка лет десяти.

Невеселое детство.

- Читать, писать умеешь?
- Нет. Откуда?
- Приходи ко мне, научу.
- Рад бы! Некогда.
- Хоть раз в неделю.
- Посмотрим.

У этого, из бедного предместья, нет времени бегать по улице, стуча в лохань.

- Как тебя зовут?
- Али.

Омар научит его читать и писать. Позже Али переберется в Тус. Его внук Насир ад-Дин ат-Туси станет знаменитым математиком, последователем Омара Хайяма.

Сейфи:

- Пахнет, конечно, не совсем...

Омар взял грязно-серый конус, понюхал. Лицо у него исказилось.

- Хорошо пахнет! - сказал он удовлетворенно.- Пойдем, почтенный, в сторонку.

Оставив убогое предместье, они завернули за угол городской стены и окунулись в свежий ветер, что дул с полей со стороны цитадели, стоявшей в Нишапуре вне городской черты.

- Как справляетесь? - Омар вздохнул полной грудью, на глазах заблестели слезы.

- Товар, слава богу, расходится. Старший сын ездит в степях по кочевьям, скупает за медный грош всякую падаль. Мы, известно ли вам, господин, варим мыло, с добавлением соды, издохлой скотины.

- Известно.

- С младшим сыном дома хлопочем. Одна беда: тесно у нас! Мыло - средство новое, на него растет спрос. Раньше йеменской глиной стирали. Поставить еще три-четыре котла, дело пойдет совсем хорошо. Но в предместье, видите сами, застроен каждый локоть земли. Эх! Мне бы туда, к Большому базару...- Он с тоской поглядел на исполинские стены, за которыми гудел крупный торговый город.

Омар, помедлив:

- Купи у меня... усадьбу. Хороший дом. Двор просторный. Десять котлов можешь поставить. Знай себе, кипяти день и ночь свое ароматное варево.

- Это где? - встрепенулся Сейфи-Сабунгар.

- Как раз возле Большого базара.

- Сколько?

- Четыре.

- Э! - Сейфи-Сабунгар махнул рукой.- Тогда нам не о чем и говорить. Откуда у меня столько денег?

- Уступлю... за половину.

- Что так? - удивился мыловар.

- Я, как лекарь,- важно изрек Омар,- большой ревнитель чистоты. А что чище мыла? Оно, так сказать, ее главный знак.

Мыловар - недоверчиво:

- А-а...

- Мой дом! Понимаешь? За сколько хочу, за столько отдам.- И - жестко, сквозь зубы: - Зачем мне дом?

Уже лет двадцать, если не больше, он хитро и злостно обманывал, к их вящему негодованию, трепетное ожидание "доброжелателей", свысока предрекавших ему не сегоднязавтра жалкую смерть под чужой оградой,- чем, как человек злопамятный, и не упускал возможности ядовито их уязвить. Но...

"Повезло!" - возликовал Сейфи-Сабунгар.

Омар со страхом сознавал, что слишком широко сорит деньгами; когда еще у него будут новые поступления, и будут ли вообще, но ничего не мог с собой поделаться. Характер! Ухо себе готов отрезать, лишь бы как можно меньше походило на ослиное.

Сосед, закусив палец удивления, смотрел, как в Омаров двор въезжают повозки с большими котлами, с пузатыми горшками с какой-то омерзительной дрянью. Золотарь, что ли, переселяется? Весь квартал наполнился удушливым зловонием.

Омар с усмешкой поклонился бывшему соседу. Цветы тебе мешали. Он представил, что здесь будет, когда мыловар развернет дело в полную силу. По головам, одурев, начнут железкой стучать! А впрочем... что может быть? Воняет - значит, свой. В гости бегать один к другому станут, вместе злословить о поэте Омаре Хайяме, который не ходит в мечеть.

Джалал Ад-Дин Ибн Аль-Кифти:

"Сокровенный смысл его стихов - жалящие змеи для мусульманского законоположения и сборные пункты, соединяющие для открытого нападения...

Не было ему равных в астрономии и философии, в этих областях его приводили даже в пословицу; о если бы дарована ему была способность избегать неповиновения богу!"

Его разбудил чей-то вкрадчиво-нежный, от истомы дрожащий зов. А! Горлица воркует. Молодая, из выводка этого лета, с уже начинающей темнеть сизо-лиловой головкой и шей. Нет

уже и золотистых узоров на гладких крыльях. Едва Омар шевельнулся - вспорхнула и, тонко посвистывая крыльями, улетела прочь.

Омар потянулся и, заранее радуясь, еще раз с любовью оглядел свое новое жилье.

Потолок - белоснежный, гладкий, каких обычно не бывает в нишапурских домах, где балки перекрытия всегда на виду. Стены тоже затерты алебастром и мелом и затем ровно и густо, со знанием дела, окрашены сочной вишнево-красной охрой, по которой рассыпаны, в четком порядке белые цветы. В комнате еще утренний сумрак, стены тонут в нем, и кажется, что белые цветы неподвижно застыли в розовом воздухе.

Оттого тебе мнится, что ты, после здорового крепкого сна, очнулся в необыкновенном, сказочном саду, каких не бывает в природе.

Теперь Омар мог приступить к своей "Книге ученых".

Омар встал с тахты, повесил на гвоздь зеленый легкий домашний халат, которым укрывался на ночь, подошел, мягко ступая по изумрудно-зеленому, как луг весенний, тюркскому ковру, к одной из двух ниш в глухой стене, достал тетради с давними записями.

Здесь все, что ему известно, о больших ученых земли. Древнегреческих. Римских. Индийских. Китайских. Персидских. Арабских. Об их жизни. Об их трудах и открытиях.

Он перелистал тетради - бросил их, туманно оглядел комнату. Пожалуй, ковер не подходит по цвету к этим стенам. Сюда, может быть, нужен желтый? И тут же, забыв о ковре и стенах, он, оглушенный, покинул комнату.

В прихожей, как выйдешь из жилой комнаты, справа - каменный зимний очаг, в стенной нише напротив - две полки для посуды. Омар прикрыл за собою резную дверь, вышел на узкую террасу.

Перед ним, от нижних ступенек лестницы к высокой калитке в кирпичной ограде, пролегла прямая ровная дорожка, посыпанная розовым песком. Песок обычный, конечно,- от утреннего солнца он кажется розовым. Но радость в душе Омара, с которой он встал, уже померкла.

"Если кто-нибудь когда-нибудь назовет меня беспечным гулякой, поэтом пьянчуг, пусть знает: я плюю ему в глаза! Отсюда. Вот с этого места. Попадись он в наше время, посмотрели бы мы, что из него получилось.

Ему-то, с безопасного расстояния в пятьсот или тысячу лет, будет легко рассуждать, что я должен делать, чего не должен как поэт, ученый и человек. Мне же некогда об этом рассусоливать, коль скоро я слышу, что для меня уже где-то волокут с грохотом плаху. Не семь пядей во лбу! Успеть бы сделать хоть часть из того, что задумано".

Как взмахи меча над головой, в его мозгу четко и жутко звучали имена людей, о которых он надумал писать. Имена великих географов, астрономов, природоведов, врачей. Математиков, поэтов-философов.

Ослеплен.

Оскоплен.

Заключен в темницу.

Забит камнями.

Изгнан.

Затравлен.

Сожжен на костре.

Бежал.

Умер, нищенствуя...

Ему на миг почудилось, что он стоит на эшафоте! И он поспешил сойти по ступенькам к ручью, что бежит под террасой, омывая ее каменную основу.

Вытекающая из-под ограды соседнего, слева, двора, ручей забран в короткую керамическую трубу и выведен в небольшой круглый колодец, живописно, в нарочитом беспорядке обложенный диким камнем. Будто это природный родник: вода в нем бьется, журчит и булькает, как в горных ключах. И, как женщина - пряди волос, полощет в ней обвисшие ветви молодая плакучая ива. За ручьем, у ограды, - полоса возделанной земли с жасмином и лилиями.

Нижний, полуподвальный этаж со сводчатым входом в кладовую затейливо сложен из бесформенных глыб, щербатых и грубых, и каждая глыба ясно очерчена белой известью раствора. Выше - само жилье, молочно-белое, с плоской черепичной крышей, с лепным карнизом из ганча, четырьмя опорными столбами террасы и просторным окном с резными ставнями.

Дом-игрушка. Сказочный домик. Да, старый художник, мир его праху, любил свое жилье. Видно, строил его сам. Смолоду. Пока у него был интерес. Или - к старости, чтобы в этом уютном гнезде воплотить все несбывшиеся мечты. Омар сразу полюбил новый дом. Будто здесь родился и вырос. Видно, ни дочь художника, ни посредник не понимали всей красоты и ценности поэтической хижины. Считали ее нелепой причудой художника, на которую никакой путный человек не позарится. В пей место - лишь такому чудаку, как Омар Хайям. Здесь хорошо отдохнуть, выпить вина, стихи сочинять. А жить... Для них что? Было бы побольше комнат, сараев, кладовых, пристроек.

Ну, что ж. Будем считать, что и нам раз в жизни повезло. Спасибо. Не им, а покойному мастеру: с какой чуткой любовью он возводил забавную хижину.

Все тут сделано с толком, продуманно - и при всей игрушечности двора и дома они совсем не кажутся тесными. В них достаточно места для всего. Даже для высокой корявой каменной глыбы над родником, которую художник приволок неведомо откуда. Наверное, с соседних гор. Даже для скамьи над ручьем, вполне просторной для того, чтобы на ней есть, спать, писать.

Омар еще вчера застелил скамью легким ковриком, и сейчас присел на нее, уставился, подперев подбородок обеими руками, на живую веселую воду в роднике. Рыбки крохотные в ней мелькают.

Им хорошо. Ни сетей на них не заготовлено, ни острог, ни крючков. Кому они нужны? Разве что одна из ста попадетса случайно жуку-плавунцу. Мы - чуть крупнее. Чтобы нас извести, припасено сто разных приспособлений.

Атараксия? Хе! Она невозможна.

Она доступна лишь для отдельных, особо избранных личностей. И то лишь для тех из них, у кого обстоятельства жизни сложились удачно. Душевная невозмутимость в наш бурный век нуждается в очень толстой коже. Или в очень толстом кармане. Фердоуси был настолько богат, что не боялся даже самого султана Махмуда Газнийского. И ссора его с буйным султаном была, так сказать, внутренней ссорой, неладами в высшей касте, - столкновением своевольного вельможи с излишне требовательным царственным властителем.

Ни того, ни другого у Омара нет. С его холодным, трезвым умом, но пьяной, горячей кровью. С его чутким, легко ранимым сердцем. И низким происхождением.

Страх! Впервые в жизни он испытывал страх. От которого вымерзает улыбка, руки падают, душа чернеет. То ли бесконечные тревоги его измотали, то ли над ним и впрямь нависла большая опасность. Нависла и, тяжело угнетая, придавила к скамье у беззаботно журчащего родника.

Он заранее темнел, обмирал и негодовал, зная, что скажут о его новой книге:

- Ложь! Клевета! Посмотрите, какими он изображает правоверных. Кого восхваляет? Людей беспокойных. Бунтарей-одиночек, пусть одаренных. Безбожников, предателей веры. Кого

порицает? Кошунство! Он уязвляет, где может, закон, власть имущих, царскую власть. Он позорит свою отчизну! В чем смысл этой книги,- для чего она написана?..

Плоха та книга, смысл которой можно передать в двухтрех словах. Настоящая книга - жизнь, со всеми светлыми и темными сторонами. А кто всеобъемлюще скажет, в чем ее смысл?

Да, это будет страшная книга. Если он ее напишет. Книга-упрек. Книга-бунт. Книга-вызов.

Его тоже могут ослепить, оскопить, заключить в темницу, забить камнями, изгнать, сжечь на костре. При молчаливом попустительстве обывателей. И даже к вящему их удовольствию. В лучшем случае книгу подвергнут самой издевательской, утонченной пытке: замалчиванию. Будто ее нет и не было. Невежество мстительно.

Но ведь кто-то должен защитить память безвинно загубленных!

Тех, кто путем мучительно-трудных раздумий и горького опыта убедился: мир устроен совсем не так, как толкуют о том жрецы всех мастей, и жизнь устроена не так, как надо. Скольких терзаний им стоило вырваться из стального круга расхожих представлений и заявить свое.

Свое - вопреки общепринятому. Новое всегда вопреки старому. А что старее общепринятого? Всякое явление неизбежно ветшает, прежде чем сделаться общепринятым.

Только осел, до отвала наевшийся чертополоху, может горланить, закатив глаза, что все на земле хорошо. Хорошо, да не очень! Отнюдь не всякому.

...Может, в быту, в повседневности они были не такими, как все,- но ведь и все были не такими, как они! Определили свое время? Но кто-то должен его опережать. Хоть на десять секунд. Иначе оно остановится. И попросту исчезнет. Ведь времени, самого по себе, не существует. Оно определяется по событиям, по человеческим действиям.

Без них бы человечество еще бегало без штанов, со шкурой на плечах, дубиной помахивая, жутко покрикивая.

"Их жизнь - моя жизнь,- с горечью думал Омар.- А моя жизнь, можно сказать, зеркало нашего времени..."

Он ощутил, как тополь на ветру, движение огромных воздушных течений, историзм своего существования. Он - заклепка на железном ободе колеса истории, а заклепке на ухабистой дороге достается больше всех, потому что она выступает за край обода.

Хватит! Сколько можно молчать? Или, если уж так, давайте забудем все, что они сделали для людей, и безмолвно, довольные своей животной сытостью, вернемся в закопченные пещеры. Или посмотрим правде в глаза.

Бог? С ним у него свои счета. А люди... да простят ему люди, что он не дает им себя затоптать и, отбиваясь от них, наносит, быть может, излишне крепкие удары.

"Я не собираюсь ни на кого клеветать,- вздохнул Омар.- Любовь к отчизне вовсе не значит любовь к власти имущим. Отчизна одна и вечна. Правителей много, они часто меняются, и все последующие отвергают то, что утверждали предыдущие. Я хотел бы откровенно и честно рассказать, что было и есть. Кто-нибудь когда-нибудь прочитает мою книгу. Если я ее напишу. Задумается над нею. И, устыдившись за род человеческий, уже сам решит, как и что должно быть на земле".

В конце концов, смысл жизни - жизнь! Жизнь сознательная. Ее главное содержание и самоцель, если хотите. Это такой редкостный дар, благотворно могучий и беззащитно хрупкий, что всякий, кто посягает на чужую сознательную жизнь, должен быть объявлен буйным сумасшедшим и подлежит обезвреживанию.

Да, кто-то должен написать такую книгу! Не ради тех, кто уже уничтожен. Их не вернешь. Ради тех, кто жив - и будет жить. Ради тех, кто украшает землю: садоводов, цветоводов, строителей хороших дорог и прочных мостов, огромных и крепких запруд, полноводных

каналов. Ради художников, способных из самых заурядных подручных средств создать чудо зодчества.

Кто, если не Омар Хайям?

Пусть! Они - как умеют, я - как знаю:

Назовут меня пьяным - воистину так!

Нечестивцем, смутьяном - воистину так!

Я есть я. И болтайте себе, что хотите:

Я останусь Хайямом. Воистину так!